

КРОПОТКИН АНАРХИЯ

Предисловие С.Ю. Нечаева

Пётр Алексеевич Кропоткин

Анархия (Всемирное наследие)

Петр Кропоткин – крупный русский ученый, революционер, один из главных теоретиков анархизма, который представлялся ему философией человеческого общества. Метод познания анархизма был основан на едином для всех законе солидарности, взаимной помощи и поддержки. Именно эти качества ученый считал мощными двигателями прогресса. Он был твердо убежден, что благородных целей можно добиться только благородными средствами. В своих идеологических размышлениях Кропоткин касался таких вечных понятий, как свобода и власть, государство и массы, политические права и обязанности.

На все актуальные вопросы, занимающие умы нынешних философов, Кропоткин дал ответы, благодаря которым современный читатель сможет оценить значимость историософских построений автора.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

#1	0005
Первый русский анархист	.0006
Анархия	0024
1. Современная наука и анархия	.0024
2. Коммунизм и анархия	.0260
3. Государство, его роль в истории	.0329
4. Современное государство	.0449
Анархия, ее философия, ее идеал	.0540

Петр Кропоткин

Анархия

Предисловие и комментарии С. Ю. Нечаева

Серия «Всемирное наследие»

Дизайн серии Виктории Лебедевой

© Нечаев С. Ю., предисловие, комментарии, 2021

© Издательство АСТ, 2021

* * *

Первый русский анархист

Как известно, князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) был русским революционером, философом и публицистом, а также создателем идеологии анархо-коммунизма и одним из самых влиятельных теоретиков анархизма.

По мнению Кропоткина, анархизм происходит из того же революционного протеста, того же людского недовольства, что и социализм. Он писал: «Как и социализм, анархизм родился среди народа». И еще так: «Анархизм представляет собой творческую созидательную силу самого народа, выработавшего учреждения обычного права, чтобы лучше защититься от желающего господствовать над ним меньшинства».

Так уж получилось, что в последнее время в общественное сознание внедрился образ анархиста, неразрывно связанный с террором. Но Кропоткин не был террористом. Более того, у него нет работ, специально посвященных проблеме терроризма. Да, в принципе он не отрицал террор, однако его отноше-

ние к целесообразности этой тактики и ее эффективности было довольно сдержанным. И, кстати, борьбу террористов-народовольцев он считал обреченной на неудачу.

Результатом революции Кропоткин видел установление «безгосударственного коммунизма», то есть нового общественного строя в виде вольного федеративного союза самоуправляющихся единиц (общин, территорий, городов), и все это должно было быть основано на принципе добровольности и «безначалья».

Предполагалось коллективное ведение производства, коллективное распределение ресурсов и вообще коллективность всего, что относится к экономике, к сфере услуг, а также к человеческим взаимоотношениям.

Будучи высокообразованным человеком, Кропоткин пытался подвести под анархизм научную основу, чтобы аргументированно показать его необходимость.

Выпускник Пажеского корпуса и любимец царского двора, Кропоткин в свое время отказался от блестящей карьеры и поехал в Сибирь, чтобы путешествовать и участвовать

в реформах, в которые он тогда еще верил. Разочаровавшись в них и в государстве, он бросил службу и погрузился в науку. А затем он бросил и любимую науку – ради революции и служения народу.

Для Кропоткина анархизм представлялся философией человеческого общества. Метод его познания был основан на едином для всех законе солидарности, взаимной помощи и поддержки. Он стремился доказать, что дарвиновское положение о борьбе за существование следует понимать как борьбу между видами и взаимопомощь внутри видов. Согласно Кропоткину, взаимная помощь и солидарность – это мощные двигатели прогресса.

Кропоткин считал, что «анархисты существовали во все времена истории». Он исследовал взаимопомощь среди племен бушменов и эскимосов, выявил ее роль в создании таких форм человеческого общежития, как род и община. В период Средневековья это были цехи, гильдии и вольные города, а в Новое время – страховые общества, кооперативы, объединения людей по интересам (научные, спортивные и другие общества). В таких

человеческих организациях отсутствует какая-либо принудительная власть, а все основано на понимании и увлеченности людей своим делом.

В государстве все иначе. Но, по мнению Кропоткина, совершенно недопустимо отождествлять государство и правительство. Да, государство немыслимо без правительства, но «понятие о государстве подразумевает нечто совершенно другое, чем понятие о правительстве, – оно обнимает собою не только существование власти над обществом, но и сосредоточение управления местною жизнью в одном центре, т. е. территориальную концентрацию, а также сосредоточение многих отправлений общественной жизни в руках немногих». Государство, по словам Кропоткина, «предполагает возникновение совершенно новых отношений между различными членами общества», и весь механизм законодательства и полиции «выработан для того, чтобы подчинить одни классы общества господству других классов». В итоге, рабочий трудится более для государства, чем даже крепостной раб некогда работал на своего госпо-

дина.

Взять те же налоги – важнейшее средство создания могущества государства. Правительства великолепно знают, что налог «представляет им самый удобный способ создавать большие состояния за счет малых, делать народ бедным и обогащать некоторых, отдавать с большими удобствами крестьянина и рабочего во власть фабриканта и спекулянта, поощрять одну промышленность за счет другой и все вообще промышленности – за счет земледелия и в особенности за счет крестьянина или же всего народа».

По мнению Кропоткина, налог – это «самая удобная для богатых форма, чтобы держать народ в нищете».

Плюс государство создает привилегии и монополии «в пользу некоторых из своих подданных и к невыгоде остальных». По сути, капитал и государство – это два параллельно растущих организма, которые невозможны один без другого, и против которых поэтому нужно всегда бороться вместе. Кропоткин был уверен, что государство никогда не смогло бы приобрести силу и мощь, если бы оно

не покровительствовало росту земельного и промышленного капитала. И, конечно же, если бы оно не покровительствовало эксплуатации – сначала племен пастушеских народов, потом земледельческих крестьян и еще позднее промышленных рабочих.

Кропоткин отмечал, что через всю историю цивилизации проходят «два течения, две враждебные традиции». Это традиция власти и традиция свободы. Какое из них выбрать? Ответ Кропоткина на этот вопрос однозначен: «Наш выбор сделан. Мы пристаем к тому течению, которое еще в двенадцатом веке приводило людей к организации, основанной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной федерации тех, кто нуждается в ней».

А под свободой он понимал «возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страха голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга)».

И Кропоткин призывал в наступившем двадцатом веке, каков бы ни был новый вид

развития, к безгосударственной свободе. Почему к безгосударственной? Да потому, что не должно быть никаких властей, которые навязывают другим свою волю, никакого владычества человека над человеком. Не должно быть «никакой неподвижности в жизни, а вместо того – постоянное движение вперед, то более скорое, то замедленное, как бывает в жизни самой природы».

По мнению Кропоткина, лучшую основу для развития личности представляет собой коммунизм. Он писал: «Анархизм неизбежно ведет к коммунизму, а коммунизм – к анархизму, причем и тот и другой представляют собой не что иное, как выражение одного и того же стремления, преобладающего в современных обществах, – стремления к равенству». Но коммунизм Кропоткина – это был не коммунизм немецких теоретиков-государственников. Это был коммунизм анархический, коммунизм без правительства, коммунизм свободных людей. «Это – синтез, то есть соединение в одно двух целей, преследовавшихся человечеством во все времена: свободы экономической и свободы политической».

Но, говоря о свободе и о развитии личности, Кропоткин имел в виду не тот индивидуализм, который толкает людей на борьбу друг с другом, а «полный расцвет всех способностей человека, высшее развитие всего, что в нем есть оригинального, наибольшую деятельность его ума, чувств и воли». Таков был его идеал, но он прекрасно понимал, что во всей своей полноте это осуществится лишь в более или менее отдаленном будущем.

В данной книге собраны фрагменты различных работ Кропоткина, и характерной чертой всех из них является придание особого значения человеческой личности. По мнению Кропоткина, общество может прийти к процветанию, только учитывая интересы каждого отдельного человека и давая ему свободу самовыражения. Приводя пример империи Александра Македонского, Кропоткин писал: «Водворилось государство, которое начало выжимать жизненные соки цивилизации, пока не настала смерть». И подобных примеров бесчисленное множество.

С другой стороны – сельская община. Там у людей имеется тысяча общих интересов, и

свои проблемы люди решают сообща. Аналогична ситуация с гильдиями купцов и цехами ремесленников.

А что же государство?

По мнению Кропоткина, тут возникает неизбежная дилемма: «или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче центров» (на почве личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения), «или государство раздавит личность и местную жизнь», «принесет с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов».

Кропоткин был уверен, что необходимо отвергнуть «владычество человека над человеком, какого бы вида оно ни было», а это значит – необходимо принять принципы анархизма.

По убеждениям Кропоткина, анархия – это не хаос, а свобода личности, мысли, творчества.

Кропоткин был уверен, что общество должно «стремиться установить в своей среде известное гармоническое соответствие – не

посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь власти, которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить единообразие, а путем призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, к свободному объединению».

И свободу Кропоткин трактовал вовсе не как «осознанную необходимость» (что это за свобода, основанная на принуждении). По его мнению, «свобода есть возможность действовать, не входя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страха голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга)».

Кропоткин писал:

«Общество зиждется на сознании – хотя бы инстинктивном, – человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полусознательном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех».

Ну а что же государство?

Кропоткин приводил такой довод: «Человек существовал уже в течение целых тысячелетий, прежде чем образовались первые государства». Он был убежден, что племена людей жили вполне достойно «званию» человека разумного задолго до первых деспотических государств.

Но, и от этого никуда не деться, в человеческом обществе идет извечная борьба двух течений – «народного и начальнического». В народе постоянно вырабатываются формы взаимопомощи и единения, но этому обязательно мешают люди, стремящиеся к власти, господству над народом, желающие добиться личных привилегий за счет других.

Кстати, сам Кропоткин никогда не претендовал на роль вождя и поводыря «темных масс», несмотря на то, что из всех российских революционеров именно он был не только одним из самых образованных, но и достиг наибольших успехов в научном познании.

Интеллектуальный потенциал Кропоткина был поистине колоссальным. И у этого удивительного князя имела место страстная вера в простой народ. Жажда справедливости

не позволяла ему отрешенно мудрствовать, ведя академически бесстрастные изыскания. Каждая его книга, каждая статья – все пронизано его личными убеждениями.

Считается, что в своих философских воззрениях Кропоткин был последователем Огюста Конта и Герберта Спенсера. Он критически относился к метафизике и схоластике, считая, что на смену «отвлеченному философствованию» должен прийти «истинно научный метод». И общественным идеалом Кропоткина, как уже говорилось, был анархический (безгосударственный) коммунизм, в котором революционным путем будет полностью покончено с частной собственностью.

С другой стороны, будучи убежденным противником любой формы государственной власти, Кропоткин не принимал идею диктатуры пролетариата. По его мнению, любая диктатура, любая власть человека над человеком портит даже лучших из людей. И любые формы управления людьми, связанные с подавлением человека, противоречат природе анархизма.

После Февральской революции 74-летний

Кропоткин вернулся из вынужденной эмиграции в Россию. Но он был разочарован этой революцией и особенно встречей с российскими анархистами, которых он посчитал грубыми развязными молодыми людьми, взявшими за основу принцип вседозволенности.

Кропоткин слишком долго пробыл за пределами России, и его успели порядком подзабыть. Выросло новое поколение российских анархистов, и они хотели «всего и сразу», не утруждая себя теорией. Тот же Нестор Махно с гордостью заявлял, что он – верный ученик Кропоткина. Однако при встрече с Кропоткиным весной 1918 года у них произошло недопонимание. Махно просил у Кропоткина совета: стоит ли пробраться нелегально на Украину для революционной работы? А Кропоткин ответил: «Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете его разрешить». Но Махно понял это так: возраст ослабил волю и решимость «старика». Махно готов был рисковать своей жизнью и посылать на смерть других, а Кропоткин стоял на иной позиции. Он не раз

рисковал своей жизнью, но не смел распоряжаться судьбой кого бы то ни было.

Удивительное дело, анархистские постулаты Кропоткина зарядили революционную среду своей непримиримостью, а его идеи приобрели интерпретацию крайнего индивидуализма воинствующего толка и насильственных проявлений. Но сам Кропоткин не принимал этого, а таким людям, как Махно, более по душе в то время был, например, Троцкий с его кипящими страстями речами.

А. Ф. Керенский предложил Кропоткину войти в состав Временного правительства, но тот отказался, заявив, что не желает участвовать в работе государственного аппарата, становиться его деталью, начальствовать. Он прямо сказал: «Я считаю ремесло чистильщика сапог более честным и полезным!»

Достаточно быстро Кропоткин разочаровался и в Октябрьском революционном перевороте. При большевиках он обосновался в подмосковном Дмитрове. Там он и умер 8 февраля 1921 года. А до этого он резко критиковал марксистов за теорию государственного социализма и за раскол в Международном

товариществе рабочих. Он не менее двух раз лично встречался с В. И. Лениным, и он обвинил его в порождении класса новой бюрократии, развязывании гражданской войны и «красного террора». Кропоткин написал несколько писем Ленину, и в одном из них было сказано:

«Бросаться в красный террор, а тем более брать заложников <...> недостойно социалистической революционной партии и позорно для ее руководителей <...> Открыть эру красного террора – значит признать бессилие революции <...> Полиция не может быть строительницей новой жизни. А между тем она становится теперь верховной властью в каждом городе и деревушке. Куда это ведет Россию? К самой злостной реакции».

Кропоткин писал Ленину, что Россия стала Советской Республикой лишь по имени, что теперь в России правят не Советы, а партийные комитеты, что если такое положение продлится, то само слово «социализм» обратится в проклятье.

В ответ на подобные упреки Ленин, по воспоминанию его секретаря В. Д. Бонч-Бруевича

ча, ответил Кропоткину: «Ну, ничего не поделаешь! Революцию в белых перчатках не сделаешь».

На самом деле Ленин говорил еще более страшные вещи: «Революции в белых перчатках не делаются. Пока нет насилия над массами, нет иного пути к власти. Нужно поощрять энергию и массовидность террора. Массовые обыски. Расстрел за хранение оружия. Беспощадный террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал. Пусть 90 % русского народа погибнет, лишь бы 10 % дожили до мировой революции».

В апреле 1919 года Кропоткин написал:

«Согласно моему взгляду, попытка построить коммунистическую республику на основе строго централизованного государственного коммунизма под железным законом партийной диктатуры в конце концов потерпит банкротство. На России мы учимся, как нель-

зя вводить коммунизм даже с народом, который устал от старого режима и не оказывает активного сопротивления экспериментам новых правителей».

И он оказался прав. Это банкротство мы видели своими глазами...

П. А. Кропоткин по праву может считаться последним энциклопедистом – он разбирался во многих областях знаний, и его идеи часто не были поняты современниками. Он своей собственной жизнью доказал верность своих идеалов. У него не было расхождений между интеллектуальной и практической деятельностью, нравственными идеалами и поведением, образом мыслей и образом жизни. Он был твердо убежден: благородных целей можно добиться только благородными средствами. И в этом он актуален и сегодня, так как проблемы, рассматривавшиеся и критиковавшиеся им, никуда не делись. Ведь до сих пор существуют социальная несправедливость, кровавые войны, индустриально-капиталистическая система подавления, подчинение человека неумолимой и не зависящей от него логике рынка и мощной государственной бю-

рократии.

На все актуальные вопросы, занимающие умы нынешних философов, Кропоткин дал свои ответы. Это заставляет нас более внимательно относиться к его наследию, ведь истину далеко не всегда следует искать в чем-то новом. Иногда ее можно найти в давно забытом прошлом.

Сергей Нечаев

Анархия

1. Современная наука и анархия

I. Происхождение анархии

Два основных течения в обществе: народное и начальническое. – Сродство анархизма с народно-созидательным течением

Анархия, конечно, ведет свое происхождение не от какого-нибудь научного открытия и не от какой-нибудь системы философии. Общественные науки еще очень далеки от того момента, когда они получают ту же степень точности, как физика или химия. И если мы в изучении климата и погоды не достигли еще того, чтобы предсказывать предстоящую погоду за месяц или даже неделю вперед, то было бы нелепо претендовать, что в общественных науках, имеющих дело с явлениями гораздо более сложными, чем ветер и дождь, мы могли бы уже предсказывать научно грядущие события. Не надо забывать тем более, что ученые – такие же люди, как и все другие,

и что в большинстве они принадлежат к зажиточным классам и поэтому разделяют все предрассудки этих классов; многие из них даже находятся прямо на службе у государства. Понятно, что не из университетов идет к нам анархизм.

Как и социализм вообще и как всякое другое общественное движение, анархизм родился среди народа, и он сохранит свою жизненность и творческую силу только до тех пор, пока он будет оставаться народным.

Во все времена в человеческих обществах сталкивались в борьбе два враждебных течения. С одной стороны, народ, народные массы вырабатывали в форме обычая множество учреждений, необходимых для того, чтобы сделать жизнь в обществах возможной, – чтобы поддержать мир, улаживать ссоры и оказывать друг другу помощь во всем, что требует соединенных усилий. Родовой быт у дикарей, затем, позднее, сельская община и, еще позднее, промышленная гильдия и средневековые вольные города – республики вечавого строя, которые положили первые основания международного права, – все эти и многие

другие учреждения были выработаны не законодателями, а творческим духом самих народных масс.

С другой стороны, во все времена существовали колдуны, маги, вызыватели дождя, оракулы, жрецы. Они были первыми обладателями знания природы и первыми основателями различных религиозных культов (культ солнца, сил природы, предков и т. д.), так же как различных обрядностей, помогавших поддерживать единство союзов между отдельными племенами.

В эти времена первые зачатки изучения природы (астрономия, предсказание погоды, изучение болезней и т. д.) были тесно связаны с различными суевериями, выраженными в различных обрядностях и культах. Все искусства и ремесла имели такое же происхождение и вытекали из изучения и суеверий. И каждое из них имело свои мистические формулы, которые сообщались только посвященным и оставались старательно скрытыми от народных масс.

Рядом с этими первыми представителями науки и религии мы находим также людей,

которые, как барды, ирландские брегоны[1], сказители законов у скандинавских народностей и т. д., рассматривались как знатоки и хранители преданий и старых обычаев, к которым все должны были обращаться в случае несогласия и ссор... Они хранили законы в своей памяти (иногда при помощи знаков, которые были зачатками письма), и в случае разногласий к ним обращались как к посредникам.

Наконец, были также временные начальники боевых дружин, владевшие, как предполагалось, колдовскими чарами, при помощи которых они могли обеспечить победу; они владели также тайнами отравления оружия и другими военными секретами.

Эти три категории людей всегда, с незапамятных времен составляли между собой тайные общества, чтобы сохранять и передавать следующему поколению (после долгого и тяжелого периода посвящения) тайны их специальностей; и если иногда они боролись друг с другом, они всегда кончали тем, что приходили к взаимному соглашению. Тогда они спланивались между собой, вступали в

союз и поддерживали друг друга, чтобы господствовать над народом, держать его в повиновении, управлять им – и заставлять его работать на них.

Очевидно, что анархизм представляет собой первое из этих двух течений, то есть творческую созидательную силу самого народа, выработавшего учреждения обычного права, чтобы лучше защититься от желающего господствовать над ним меньшинства. Именно силою народного творчества и народной созидательной деятельности, опирающейся на всю мощь современной науки и техники, анархизм и стремится теперь выработать учреждения, необходимые для обеспечения свободного развития общества, – в противоположность тем, кто возлагает всю свою надежду на законодательство, выработанное правительством, состоящим из меньшинства и захватившим власть над народными массами при помощи суровой жестокой дисциплины.

В этом смысле анархисты и государственники существовали во все времена истории.

Затем во все времена происходило также то, что все учреждения, даже самые лучшие,

которые были выработаны первоначально для поддержания равенства, мира и взаимной помощи, со временем застывали, окаменевали, по мере того как они старели и дряхлели. Они теряли свой первоначальный смысл, подпадали под владычество небольшого властолюбивого меньшинства и кончали тем, что становились препятствием для дальнейшего развития общества. Тогда отдельные личности восставали против этих учреждений. Но тогда как одни из этих недовольных, восставая против учреждения, которое, устарев, стало стеснительным, старались видоизменить его в интересах всех, и в особенности низвергнуть чуждую ему власть, которая в конце концов завладела этим учреждением, – другие стремились освободиться от того или иного общественного установления (род, сельская коммуна, гильдия и т. д.) исключительно для того, чтобы стать вне этого учреждения и над ним, – чтобы господствовать над другими членами общества и обогащаться за их счет.

Все реформаторы, политические, религиозные и экономические, принадлежали к пер-

вой из этих категорий. И среди них всегда находились такие личности, которые, не дожидаясь того, чтобы все их сограждане или даже меньшинство среди них прониклись теми же взглядами, шли сами вперед и восставали против угнетения – или более-менее многочисленными группами, или совсем одни, если за ними никто не следовал. Таких революционеров мы встречаем во все эпохи истории.

Однако сами революционеры были также двух совершенно различных родов. Одни из них, вполне восставая против власти, выросшей внутри общества, вовсе не стремились уничтожить ее, а желали только завладеть ею сами. На месте власти, устаревшей и ставшей стеснительной, они стремились образовать новую власть, обладателями которой они должны были стать сами, и они обещали, часто вполне чистосердечно, что новая власть будет держать близко к сердцу интересы народа, истинной представительницей которого она явится, – но это обещание позднее неизбежно ими забывалось или нарушалось. Таким образом, между прочим, создавалась им-

ператорская власть цезарей в Риме, церковная власть в первые века христианства, власть диктаторов в эпоху упадка средневековых городов-республик и так далее. То же течение было использовано для образования в Европе королевской власти в конце феодального периода. Вера в императора-«народника», Цезаря, не угасла еще даже и в наши дни.

Но рядом с этим государственным течением утверждалось также другое течение в такие эпохи пересмотра установленных учреждений. Во все времена, начиная с Древней Греции и до наших дней, появлялись личности и течения мысли и действия, стремившиеся не к замене одной власти другой, а к полному уничтожению власти, завладевшей общественными учреждениями, не создавая вместо нее никакой другой власти. Они провозглашали верховные права личности и народа и стремились освободить народные учреждения от государственных наростов, чтобы иметь возможность дать коллективному народному творчеству полную свободу, чтобы народный гений мог свободно перестроить учреждения взаимной помощи и за-

щиты согласно новым потребностям и новым условиям существования. В городах Древней Греции и особенно в средневековых городах (Флоренция, Псков и т. д.) мы находим много примеров борьбы этого рода.

Мы можем, следовательно, сказать, что всегда существовали якобинцы[2] и анархисты между реформаторами и революционерами.

В прошлые века происходили даже громадные народные движения, запечатленные анархическим характером. Многие тысячи людей в селах и городах поднимались тогда против государственного принципа, против органов государства и его орудий – судов и законов – и провозглашали верховные права человека. Они отрицали все писанные законы и утверждали, что каждый должен повиноваться лишь голосу своей собственной совести. Они стремились создать, таким образом, общество, основанное на принципах равенства, полной свободы и труда. В христианском движении, начавшемся в Иудее в правление Августа против римского закона, против римского государства и римской тогдаш-

ней нравственности (или, вернее, безнравственности), было, без сомнения, много серьезных анархических элементов. Но понемногу оно выродилось в церковное движение, построенное по образцу древнееврейской церкви и самого императорского Рима, – и это, очевидно, убило то, что христианство имело в себе анархического в начале своего существования; оно придало ему римские формы и сделало из него в скором времени главный оплот и поддержку власти, государства, рабства и угнетения. Первые зародыши «оппортунизма», которые были введены в христианство, уже заметны в Евангелиях и в Посланиях Апостолов или, по крайней мере, в тех редакциях этих писаний, которые составляют Новый Завет.

Точно так же в движении анабаптистов[3] шестнадцатого века, которое начало и произвело Реформацию, было очень много анархического. Но раздавленное теми из реформаторов, которые под руководством Лютера соединились с принцами и князьями против восставших крестьян, это движение было задавлено ужасными кровавыми расправами над

крестьянами и «простонародьем» городов. Тогда правое крыло реформаторов выродилось понемногу и превратилось в тот компромисс со своею совестью и государством, который существует теперь под именем протестантизма.

Итак, подводя вкратце итог сказанному, — анархизм родился из того же протеста, критического и революционного, из которого родился вообще весь социализм. Только некоторые социалисты, дойдя до отрицания капитала и общественного строя, основанного на порабощении труда капиталом, остановились на этом. Они не восстали против того, что составляет, по нашему мнению, истинную силу капитала — государства и его главных оплотов: централизации власти, закона (составленного всегда меньшинством и в пользу меньшинства) и суда, созданных главным образом ради защиты власти и капитала.

Что касается анархизма, то он не останавливается на одной критике этих учреждений. Он поднимает свою святотатственную руку не только против капитала, но также против его оплотов: государства, централизации и

установленных государством законов и суда.

II. Умственное движение XVIII в.

Его основные черты: исследование всех явлений научным методом

Но если анархизм, подобно всем другим революционным направлениям, зародился среди народов, в шуме борьбы, а не в кабинете ученого, то тем не менее важно знать, какое место он занимает среди различных научных и философских течений мысли, существующих в настоящее время? Как относится анархизм к этим различным течениям? На которое из них он преимущественно опирается? Каким методом исследования он пользуется, чтобы обосновать и подкрепить свои выводы и заключения? Иначе говоря, к какой школе философии права принадлежит анархизм? И с каким из ныне существующих направлений в науке он выказывает наибольшее сходство?

Ввиду того непомерного увлечения экономической метафизикой, которое мы видели в последнее время в социалистических кругах, этот вопрос представляет известный интерес. Поэтому я постараюсь ответить на него крат-

ко и возможно просто, избегая мудреных слов там, где их можно избежать.

Умственное движение XIX в. ведет свое происхождение от работ английских и французских философов середины и начала предыдущего столетия.

Всеобщий подъем мысли, начавшийся в ту пору, воодушевил этих мыслителей желанием охватить все человеческие знания в одной общей системе – системе природы. Отбросив окончательно средневековую схоластику[4] и метафизику[5], они имели смелость взглянуть на всю природу – на звездный мир, на нашу Солнечную систему и на наш земной шар, на развитие растений, животных и человеческих существ на поверхности земли – как на ряд фактов, могущих быть изученными по такому же методу, по какому изучают естественные науки.

Широко пользуясь истинно научным, индуктивно-дедуктивным методом, они приступили к изучению всех групп явлений, какие мы наблюдаем в природе, будь то явления из мира звезд, или мира животных, или из мира человеческих верований и учреждений, – со-

вершенно так же, как если бы это были вопросы физики, изучаемые натуралистом.

Они сначала тщательно собирали факты, и когда они затем строили свои обобщения, то они делали это путем наведения (индукции). Они строили известные предположения (гипотезы), но этим предположениям они приписывали не больше значения, чем Дарвин своей гипотезе о происхождении новых видов путем борьбы за существование или Менделеев своему «периодическому закону». Они видели в них лишь предположения, которые представляют возможное и вероятное объяснение и облегчают группировку фактов и их дальнейшее изучение; но они не забывали, что эти предположения должны быть подтверждены приложением к множеству фактов и объяснены также дедуктивным путем и что они могут стать законами, т. е. доказанными обобщениями, не раньше, чем они выдержат эту проверку, и после того, как причины постоянных соотношений и закономерности между ними будут выяснены.

Когда центр философского движения XVIII века был перенесен из Англии и Шотландии

во Францию, то французские философы, с присущим им чувством стройности и системы, принялись строить по одному общему плану и на тех же началах все человеческие знания: естественные и исторические. Они сделали попытку построить обобщенное знание-философию всего мира и всей его жизни в строго научной форме, отбрасывая всякие метафизические построения предыдущих философов и объясняя все явления тех же физических (то есть механических) сил, которые оказались для них достаточными для объяснения происхождения и развития земного шара.

Говорят, что когда Наполеон I сделал Лапласу[6] замечание, что в его «Изложении системы мира» нигде не упоминается имя Бога, то Лаплас ответил: «Я не нуждался в этой гипотезе». Но Лаплас сделал лучше. Ему не только не понадобилась такая гипотеза, но, более того, он не чувствовал надобности вообще прибегать к мудреным словам метафизики, за которыми прячутся туманное непонимание и полунепонимание явлений и неспособность представить их себе в конкретной,

вещественной форме в виде измеримых величин. Лаплас обошелся без метафизики так же хорошо, как без гипотезы о творце мира. И хотя его «Изложение системы мира» не содержит в себе никаких математических вычислений и написано оно языком, понятным для всякого образованного читателя, математики смогли впоследствии выразить каждую отдельную мысль этой книги в виде точных математических уравнений, то есть в отношениях измеримых величин, – до того точно и ясно мыслил и выражался Лаплас!

Что Лаплас сделал для небесной механики, то французские философы XVIII в. пытались сделать, в границах тогдашней науки, для изучения жизненных явлений (физиологии), а также явлений человеческого познания и чувства (психологии). Они отвергли те метафизические утверждения, которые встречались у их предшественников и которые мы видим позднее у немецкого философа Канта [7]. В самом деле, известно, что Кант, например, старался объяснить нравственное чувство в человеке, говоря, что это есть «категорический императив» и что известное прави-

ло поведения обязательно, «если мы можем принять его как закон, способный к всеобщему приложению». Но каждое слово в этом определении представляет что-то туманное и непонятное («императив», «категорический», «закон», «всеобщий») вместо того вещественного, всем нам известного факта, который требовалось объяснить.

Французские энциклопедисты не могли удовольствоваться подобными «объяснениями» при помощи «громких слов». Как их английские и шотландские предшественники, они не могли для объяснения того, откуда в человеке является понятие о доброте и зле, вставлять, как выражается Гёте, «словечко там, где не хватает идеи». Они изучали этот вопрос и – так же, как сделал Гэтчесон[8] в 1725 г., а позже Адам Смит[9] в своем лучшем произведении «Происхождение нравственных чувств»[10], – нашли, что нравственные понятия в человеке развились из чувства сожаления и симпатии, которое мы чувствуем по отношению к тому, кто страдает, причем они происходят от способности, которой мы одарены, отождествлять себя с другими на-

столько, что мы чувствуем почти физическую боль, если в нашем присутствии бьют ребенка, и мы возмущаемся этим.

Исходя из такого рода наблюдений и всем известных фактов, энциклопедисты приходили к самым широким обобщениям. Таким образом, они действительно объясняли нравственное понятие, являющееся сложным явлением, более простыми фактами. Но они не подставляли вместо известных и понятных фактов непонятные, туманные слова, ничего не объяснявшие, вроде «категорического императива» или «всеобщего закона».

Преимущество метода, принятого энциклопедистами, очевидно. Вместо «вдохновения свыше», вместо неестественного и сверхъестественного объяснения нравственных чувств они говорили человеку: «Вот чувство жалости, симпатии, имевшееся у человека всегда со времени его появления на свет, использованное им в его первых наблюдениях над себе подобными и постепенно усовершенствованное, благодаря опыту общественной жизни. Из этого чувства происходят у нас наши нравственные понятия».

Таким образом, мы видим, что мыслители XVIII в. не меняли своего метода, переходя от мира звезд к миру химических реакций или даже от физического и химического мира к жизни растений и животных или к развитию экономических и политических форм общества, к эволюции религий и т. п. Метод оставался всегда тот же самый. Во всех отраслях науки они прилагали всегда индуктивный метод. И так как ни в изучении религий, ни в анализе нравственных понятий, ни в анализе мышления вообще они не встречали ни одного пункта, где бы этот метод оказался недостаточным и где был бы приложим другой метод, и так как нигде они не видели себя принужденными прибегать ни к метафизическим понятиям (Бог, бессмертная душа, жизненная сила, категорический императив, внушенный высшим существом, и т. п.), ни к диалектическому методу, то они стремились объяснить Вселенную и все явления мира при помощи того же естественно-научного метода.

В течение этих лет замечательного умственного развития энциклопедисты составили свою монументальную Энциклопедию; Ла-

плас опубликовал свою «Систему мира»[11] и Гольбах – «Систему природы»[12]; Лавуазье [13] утверждал неуничтожаемость материи и, следовательно, энергии, движения. Ломоносов в России, вдохновленный, вероятно, Бейлем[14], набрасывал уже в это время механическую теорию теплоты; Ламарк[15] объяснял появление бесконечного разнообразия видов растений и животных при помощи их приспособления к различной среде; Дидро давал объяснения нравственности, обычаев, первобытных учреждений и религий, не прибегая ни к каким внушениям свыше; Руссо старался объяснить зарождение политических учреждений путем общественного договора, то есть акта человеческой воли. Словом, не было ни одной области, изучение которой не было бы начато на почве фактов, при помощи того же естественно-научного метода индукции и дедукции, проверенного наблюдением фактов и опытом.

Конечно, были сделаны ошибки в этой огромной и смелой попытке. Там, где в то время не хватало знаний, высказывались предположения, иногда поспешные, а иногда со-

вершенно ошибочные. Но новый метод был приложен к разработке всех отраслей знания, и благодаря ему самые ошибки впоследствии были легко открыты и исправлены. Таким образом, XIX в. получил в наследство могучее орудие исследования, которое дало нам возможность построить наше миросозерцание на научных началах и освободить его, наконец, от затемнявших его предрассудков и от туманных, ничего не говоривших слов, которые были введены благодаря дурной привычке отделяться таким образом от трудных вопросов.

III. Реакция в начале XIX в.

Застой научной мысли. – Пробуждение социализма; его влияние на развитие науки. – Пятидесятые годы

После поражения Великой Французской революции Европа, как известно, пережила период всеобщей реакции: в области политики, науки и философии. Белый террор Бурбонов, Священный союз, заключенный в 1815 г. между монархами Австрии, Пруссии и России для борьбы против либеральных идей, мистицизм и «набожность» высшего европейского

общества и государственная полиция повсюду торжествовали по всей линии.

Однако основные принципы революции не должны были погибнуть. Освобождение крестьян и городских рабочих, вышедших из полурабского состояния, в котором они до тех пор пребывали, равенство перед законом и представительное правление – эти три принципа, провозглашенные революцией и пронесенные революционными армиями по всей Европе вплоть до Польши, пролагали себе путь в Европе, как во Франции. После революции, провозгласившей великие принципы свободы, равенства и братства, началась медленная эволюция, то есть медленное преобразование учреждений: приложение в повседневной жизни общих принципов, провозглашенных в 1789–1793 гг. Заметим, кстати, что такое осуществление эволюцией начал, выставленных предыдущей революционной бурей, может быть признано как общий закон общественного развития.

Хотя церковь, государство и даже наука начали топтать в грязь то знамя, на котором революция начертала свой клич: «Свобода, Ра-

венство и Братство», и хотя приспособление к существующему стало тогда всеобщим лозунгом, даже в философии, тем не менее великие принципы свободы проникали всюду в жизнь. Правда, крепостные обязательства крестьян, так же как и инквизиция, уничтоженные революционными армиями в Италии и Испании, были восстановлены. Но им был уже нанесен смертельный удар, от которого они никогда не оправались.

Волна освобождения дошла сначала до Западной Германии, потом она докатилась до Пруссии и Австрии и распространилась по полуостровам Испании, Италии и Греции; идя на восток, она достигла в 1861 г. до России и в 1878 г. до Балкан. Рабство исчезло в Америке в 1863 г. В то же время идеи равенства всех перед законом и представительного правления распространились также с запада на восток, и к концу столетия одна только Россия и Турция оставались еще под игом самодержавия, впрочем, уже весьма ослабевшего.

Более того, на рубеже двух столетий, XVIII–XIX вв., мы встречаем уже громко про-

возглашенные идеи экономического освобождения. Сейчас же после низложения королевской власти населением Парижа 10 августа 1792 г., и в особенности после свержения жирондистов[16] 2 июня 1793 г., мы видим в Париже и по всей стране подъем коммунистических настроений; революционные «секции» больших городов и многих муниципалитетов маленьких городов во Франции действуют в этом направлении.

Интеллигентные люди нации заявляли, что равенство должно перестать быть пустым словом – оно должно претвориться в факт. А так как тяжесть войны, которую революция должна была вести против «королей-заговорщиков», падала прежде всего на бедных, то народ заставлял комиссаров Конвента[17] проводить коммунистические меры в смысле уравнивания всех граждан.

Сам Конвент принужден был действовать в коммунистическом направлении и принял несколько мер, имевших целью «уничтожение бедности» и «уравнивание состояний». После того как жирондисты были изгнаны из правительства во время восстания 31 мая – 2

июня 1793 г., Конвент был даже принужден провести законы, имевшие в виду национализацию не только земли, но также и торговли, по крайней мере, торговли предметами первой необходимости.

Это движение, очень глубокое, продолжалось вплоть до июля 1793 г., когда буржуазная реакция жирондистов, войдя в сношение с монархистами, взяла верх 9-го термидора[18]. Но, несмотря на короткий срок, оно придало XIX в. свой явный отпечаток – коммунистическое и социалистическое направление наиболее передовых элементов.

Пока движение 1793–1794 гг. продолжалось, оно находило для своего выражения народных ораторов. Но среди писателей того времени не было во Франции никого, кто мог бы дать литературное выражение этим идеям (которые называли тогда «дальше Марата») и произвести длительное впечатление на умы.

И только в Англии, уже в 1793 г., выступил Годвин[19], опубликовав свой поистине замечательный труд «Исследование политической справедливости и ее влияния на общественную нравственность» (Enquiry

concerning Political Justice and its influence on general virtue and happiness), где он явился первым теоретиком социализма без правительства, то есть анархизма, а с другой стороны Бабеф[20], под влиянием, по-видимому, Буонарроти[21], выступил в 1795 г. во Франции в качестве первого теоретика централизованного социализма, т. е. государственного коммунизма, который почему-то в Германии и России приписывают теперь Марксу.

Затем, разрабатывая принципы, уже намеченные, таким образом, в конце XVIII в., появляются в XIX в. Фурье[22], Сен-Симон[23] и Роберт Оуэн[24] – три основателя современного социализма в его трех главных школах; а еще позднее, в 40-х годах, явился Прудон[25], который, не зная работ Годвина, положил сызнова основы анархизма.

Научные основы социализма как государственного, так и безгосударственного были таким образом разработаны еще в начале XIX в. с полнотою, к сожалению, неизвестной нашим современникам. Современный же социализм, считающий свое существование со времени Интернационала[26], пошел дальше

этих основателей только в двух пунктах, правда, очень важных: он стал революционным, и он порвал с идеей о «социалисте и революционере Христе», которую любили выставлять до 1848 г.

Современный социализм понял, что, для того чтобы осуществить его идеалы, нужна социальная революция, не в том смысле, в котором употребляют иногда слово «революция», говоря о «революции промышленной» или «революции в науках», но в точном, ясном смысле этого слова, – в смысле всеобщей и немедленной перестройки самых основ общества. С другой стороны, современный социализм перестал смешивать свои воззрения с весьма неглубокими и сентиментальными реформами, о которых говорили некоторые христианские реформаторы. Но это последнее – это нужно помнить – уже было сделано Годвином, Фурье и Робертом Оуэном. Что же касается до администрации, централизации и культа власти и дисциплины, которыми человечество обязано особенно духовенству и римскому императорскому закону, то эти «пережитки» темного прошлого, как их прекрас-

но охарактеризовал П. Л. Лавров[27], до сих пор еще удержались полностью среди многих социалистов, которые, таким образом, еще не достигли уровня своих французских и английских предшественников.

Было бы трудно говорить здесь о том влиянии, которое оказала на развитие наук реакция, господствовавшая после Великой Революции. Достаточно будет сказать, что все, чем так гордится в настоящее время современная наука, было уже намечено, и часто более чем намечено – иногда высказано, – в точной научной форме еще в конце XVIII в. Механическая теория теплоты, неуничтожаемость движения (сохранение энергии), изменяемость видов под непосредственным влиянием окружающей среды, физиологическая психология, понимание истории, религии и законодательства как естественных последствий жизни людей в тех или других условиях, законы развития мышления – одним словом, все естественно-научное миросозерцание, так же как синтетическая философия (т. е. философия, охватывающая все физические, химические, жизненные и общественные явления

как одно целое), были уже намечены и отчасти разработаны в XVIII в.

Но с реакцией, воцарившейся после конца Великой Революции в течение целого полувека, началось течение, стремившееся подавить эти открытия. Ученые-реакционеры обзывали их «малонаучными». Под предлогом изучения сначала «фактов» и собирания «научного материала» ученые общества отвергали даже такие исследования, которые сводились к точным измерениям, как, например, определение Сегеном-старшим[28] (Seguin) и затем Джоулем[29] (Joule) механического эквивалента теплоты (т. е. количества механического трения, необходимого для получения данного количества теплоты); «Королевское общество» в Англии, которое является Английской академией наук, отказалось даже напечатать труд Джоуля по этому вопросу, найдя его «ненаучным». Что же касается замечательной работы Грова[30] (Grove) о единстве всех физических сил, написанной им в 1843 г., то она была оставлена без внимания до 1856 г.!

Только знакомясь с историей научного

развития в первой половине XIX века, понимаешь ту густоту мрака, которая охватила Европу после поражения Французской революции...

Завеса была порвана сразу, к концу 50-х годов, когда на Западе началось либеральное движение, которое привело к восстанию Гарибальди[31], освобождению Италии, уничтожению рабства в Америке, либеральным реформам в Англии и т. д. То же движение вызвало в России уничтожение крепостного права, кнута и шпицрутенгов, опрокинуло в нашей философии авторитеты Шеллинга[32] и Гегеля[33] и дало начало смелому отрицанию умственного рабства и преклонения перед всякого рода авторитетами, известному под именем нигилизма.

Теперь, когда мы можем проследить историю умственного развития этих годов, для нас очевидно, что именно пропаганда республиканских и социалистических идей, которая велась в 30-х и 40-х годах, и революция 1848 г. помогли науке разорвать душившие ее узы.

Действительно, не вдаваясь в детали, здесь достаточно будет заметить, что Сеген, имя ко-

того мы уже упомянули, Огюстен Тьерри [34] (историк, который первый положил основы изучения вечевоего строя коммун и идей федерализма в Средних веках) и Сисмонди [35] (историк свободных городов в Италии) были учениками Сен-Симона, одного из трех основателей социализма в первой половине XIX в. Альфред Р. Уоллес [36], пришедший одновременно с Дарвином к теории происхождения видов при помощи естественного подбора, был в юности убежденным последователем Роберта Оуэна; Огюст Конт [37] был сенсимонист; Рикардо [38], так же как Бентам [39], был оуэнист; материалисты Карл Фохт [40] и Д. Люис [41], так же как Гров, Милль, Герберт Спенсер и многие другие, находились под влиянием радикально-социалистического движения в Англии 30-х и 40-х годов. В этом движении они почерпнули свое мужество для научных работ.

Появление на коротком протяжении пяти или шести лет, с 1856 г. по 1862 г., работ Грова, Джоуля, Вертело, Гельмгольца и Менделеева в физических науках; Дарвина, Клода Бернара [42], Спенсера, Молешотта [43] и Фохта в на-

уках естественных; Лайеля[44] о происхождении человека; Бэна и Милля в науках политических и Бюрнуфа[45] в происхождении религий – одновременное появление всех этих работ произвело полную революцию в основных воззрениях ученых того времени – наука сразу рванулась вперед на новый путь. Целые отрасли знания были созданы с поразительной быстротой.

Наука о жизни (биология), о человеческих учреждениях (антропология и этнология), о разуме, воле и чувствах (физическая психология), история права и религий и т. д. образовались на наших глазах, поражая ум смелостью своих обобщений и революционным характером своих выводов. То, что в прошлом веке было только неопределенными предположениями, часто даже догадкой, явилось теперь доказанным на весах и под микроскопом и проверенным тысячью наблюдений и в приложениях на практике. Самая манера писать совершенно изменилась, и ученые, которых мы только что назвали, все вернулись к простоте, точности и красоте стиля, которые так характерны для индуктивного метода и кото-

рыми обладали в такой степени те из писателей XVIII в., которые порвали с метафизикой.

Предсказать, по какому направлению пойдет в будущем наука, конечно, невозможно. Пока ученые будут зависеть от богатых людей и от правительств, их наука будет неизбежно носить известный отпечаток и они смогут всегда задерживать развитие знаний, как они это сделали в первой половине XIX в. Но одно ясно. Это то, что в науке, как она складывается теперь, нет более надобности ни в гипотезе, без которой мог обойтись Лаплас, ни в метафизических «словечках», над которыми смеялся Гёте. Мы можем уже читать книгу природы, понимая под этим развитие органической жизни и человечества, не прибегая ни к творцу, ни к мистической «жизненной силе», ни к бессмертной душе, ни к гегелевской триаде и не скрывая нашего незнания под какими-либо метафизическими символами, которым мы сами приписали реальное существование. Механические явления, становясь все более и более сложными по мере того, как мы переходим от физики к явлениям жизни, но оставаясь всегда теми же механическими

явлениями, достаточны нам для объяснения всей природы и жизни органической, умственной и общественной.

Без сомнения, остается еще много неизвестного, темного и непонятого в мире; без сомнения, всегда будут открываться новые пробелы в нашем знании по мере того, как прежние пробелы будут заполняться. Но мы не видим области, в которой нам будет невозможно найти объяснения явлениям при помощи тех же простейших физических фактов, наблюдаемых нами вокруг, как, например, при столкновении двух шаров на бильярде, или при падении камня, или при химических реакциях. Этих механических фактов нам пока достаточно для объяснения всей жизни природы. Нигде они нам не изменили, и мы не видим даже возможности открыть такую область, где механические факты будут недостаточны. И пока, до сих пор, ничто не позволяет нам даже подозревать существование такой области.

**IV. Позитивная, т. е. положительная,
философия Конта**
Попытка Огюста Конта построить

синтетическую философию. – Причины неполной его удачи: религиозное объяснение нравственности в человеке

Очевидно, что как только наука начала достигать таких результатов, должна была быть сделана попытка построения синтетической философии, которая охватывала бы все эти результаты. Были естественны попытки построить философию, которая являлась бы систематической, объединенной, обоснованной сводкой всего нашего знания, причем эта философия не должна была больше останавливаться на плодах нашего воображения, которыми философы угощали когда-то наших отцов и дедов, вроде различных «сущностей», «мировых идей», «назначения жизни» и тому подобных символических выражений; не должна была она также прибегать и к антропоморфизму, т. е. придавать природе и физическим силам человеческие свойства и намерения. Поднимаясь постепенно от простого к сложному, эта философия должна была бы изложить основные начала жизни Вселенной и дать ключ к пониманию природы во всем ее

целом. Этим она дала бы нам могучее орудие исследования, которое помогло бы открыть новые отношения между различными явлениями, т. е. новые законы природы, и внушило бы нам в то же время уверенность в справедливости наших заключений, как бы они ни противоречили установившимся ходячим воззрениям.

Много попыток подобного рода было действительно сделано в XIX в., и попытки Огюста Конта и Герберта Спенсера заслуживают особенно нашего внимания.

Необходимость синтетической философии была, правда, понята даже в XVIII в. энциклопедистами в их «Энциклопедии», Вольтером в его превосходном «Философском словаре», который до сих пор остается монументальным трудом, а также экономистом Тюрго[46] и позднее, в еще более ясной форме, Сен-Симоном. Но в первой половине XIX в. Огюст Конт предпринял тот же труд в строго научной форме, отвечающей последнему прогрессу естественных наук.

Известно, что, насколько дело касается математики и точных наук вообще, Конт выпол-

нил свою задачу замечательным образом. Всеми также признается, что он был вполне прав, введя науку о жизни (биологию) и науку о человеческих обществах (социологию) в круг наук положительных. Наконец, известно, какое громадное влияние позитивная философия Конта имела на большинство мыслителей и ученых второй половины XIX в.

Но почему, спрашивают себя поклонники великого философа, почему Конт оказался так слаб, когда он принялся в своей «Позитивной политике» за изучение современных учреждений, и в особенности за изучение этики, т. е. науки о нравственных понятиях?

Каким образом такой широкий позитивный ум мог дойти до того, чтобы сделаться основателем религии и культа, как это сделал Конт в конце своей жизни?

Многие из его учеников стараются примирить эту религию и этот культ с его предыдущими работами и утверждают, против всякой очевидности, что философ следовал одному и тому же методу в обеих своих работах: «Позитивной философии» и «Позитивной политике». Но два столь выдающихся позити-

вистских философа, как Дж. С. Милль[47] и Литтре[48], сходятся на том, что они не признают «Позитивной политики» частью философии Конта. Они не видят в ней ничего другого, как продукт ослабевшего уже ума.

И, однако, противоречие, существующее между обоими произведениями Конта – «Философией» и «Политикой», – в высшей степени характерно и бросает яркий свет на самые важные вопросы нашего времени.

Когда Конт кончил свой «Курс позитивной философии», он должен был, конечно, заметить, что его философия не коснулась еще самого главного происхождения нравственного чувства в человеке и влияния этого чувства на человеческую жизнь и общество. Он должен был, конечно, показать, откуда явилось это чувство в человеке, и объяснить его влиянием тех же причин, которыми он объяснял жизнь вообще. Он должен был показать, почему человек чувствует потребность повиноваться этому чувству или по крайней мере считаться с ним.

В высшей степени замечательно, что Конт был на правильной дороге, – по той же дороге

шел впоследствии Дарвин, когда этот великий английский натуралист пытался объяснить в своем труде «Происхождение человека» происхождение нравственного чувства. Действительно, Конт написал в «Позитивной политике» много замечательных страниц, показывающих общение и взаимопомощь у животных, и этическая важность этого явления не ускользнула от его внимания.

Но чтобы извлечь из этих фактов надлежащие позитивные заключения, знания по биологии в то время были еще недостаточны, и Конту не хватало смелости. Тогда он отвергнул Бога, божество позитивных религий, которому человек должен был поклоняться и молиться, чтобы быть нравственным, и на его место поставил Человечество с прописной буквой. Перед этим новым идолом он нам велит поклоняться и обращать к нему наши молитвы, чтобы развить в нас нравственное чувство.

Но раз этот шаг был сделан, раз было признано необходимым поклоняться чему-то, стоящему вне и выше личности, чтобы удержать зверя в человеке на пути добродетели,

то все остальное вытекло само собою. Даже обрядность религии Конта сложилась вполне естественно по образцу старых религий, пришедших с Востока.

В самом деле, Конт был приведен к этому невольно, раз он не признал, что нравственное чувство в человеке, так же как общительность и даже само общество, были явлениями дочеловеческого происхождения; раз он не усмотрел в этом дальнейшего развития той же общительности, которая наблюдается у животных и которая укрепилась в человеке благодаря его наблюдению природы и жизни человеческих обществ.

Конт не понял, что нравственное чувство человека зависит от его природы в той же степени, как и его физический организм; что и то и другое являются наследством от весьма долгого процесса развития эволюции, которая длилась десятки тысяч лет. Конт прекрасно заметил чувства общительности и взаимной симпатии у животных, но, находясь под влиянием крупного зоолога Кювье[49], который в то время считался высшим авторитетом, он не признал того, на что Бюффон[50] и

Ламарк[51] уже пролили свет, – именно изменяемость видов. Он не признал эволюции, переходящей от животного к человеку. Поэтому он не видел того, что понял Дарвин, – что нравственное чувство человека есть не что иное, как развитие инстинктов, привычек взаимопомощи, существовавших во всех животных обществах задолго до появления на земле первых человекоподобных существ.

В результате Конт не видел, как мы это видим теперь, что, каковы бы ни были безнравственные поступки отдельных личностей, нравственное начало необходимо будет жить в человечестве как инстинкт, – пока род человеческий не начнет склоняться к упадку; что поступки, противные происходящему отсюда нравственному чувству, должны неизбежно вызывать реакцию со стороны других людей, – точно так же, как механическое действие вызывает реакцию в физическом мире. И он не заметил, что в этой способности реагировать на противообщественные поступки отдельных лиц коренится естественная сила, которая неизбежно поддерживает нравственное чувство и привычки общительности в че-

ловеческих обществах, – точно так же, как она поддерживают их в животных обществах без всякого вмешательства извне; причем эта сила бесконечно более могуча, чем повеления какой бы то ни было религии или каких бы то ни было законодателей. Но раз Конт этого не признал, он должен был невольно изобрести новое божество – Человечество – и новый культ, новое поклонение, для того чтобы эта религия приводила человека на путь нравственной жизни.

Как Сен-Симон, как Фурье, он таким образом заплатил также дань своему христианскому воспитанию. Если не допустить борьбу между началом Зла и началом Добра, которые по силе равны друг другу, и если не допускать, что человек обращается к представителю начала Добра, чтобы укрепить себя в борьбе против представителя Зла, то без этого христианство не может существовать. И Конт, проникнутый этой христианской идеей, вернулся к ней, как только он встретился на своем пути с вопросом о нравственности и о средствах укрепления нравственного в наших чувствах и понятиях. Поклонение чело-

вечеству должно было служить ему орудием для избавления человека от губительного влияния Зла.

V. Пробуждение в 1856–1862 гг.

Расцвет точных наук в 1856–1862 гг. – Выработка механического мирозерцания, охватывающего также развитие человеческих понятий и учреждений

Если Огюсту Конту не удалось его исследование человеческих учреждений и в особенности нравственных понятий, – то не следует забывать, что он написал свою «Философию» и «Политику» задолго до упомянутых уже нами 1856–1862 гг., которые так внезапно расширили горизонт науки и подняли уровень мирозерцания каждого образованного человека.

Появившиеся за эти пять-шесть лет работы в различных отраслях науки произвели такой полный переворот в наших взглядах на природу, на жизнь вообще и в частности на жизнь человеческих обществ, что подобную ей нельзя найти во всей истории наук за время свыше 20 столетий.

То, что энциклопедисты только предвидели или, скорее, предчувствовали, то, что лучшие умы XIX столетия выясняли с таким трудом до тех пор, выявилось теперь внезапно во всеоружии знания. И все это было разработано так полно и так всесторонне благодаря индуктивно-дедуктивному методу естественных наук, что всякий другой метод исследования сразу оказался несовершенным, ложным и бесполезным.

Остановимся, однако, на одно мгновение на результатах, достигнутых наукой за это время, чтобы быть в состоянии лучше оценить последующую попытку построения синтетической философии, сделанную Гербертом Спенсером.

В течение этих шести лет Гров, Клаузиус [52], Гельмгольц [53], Джоуль и целый ряд физиков и астрономов (включая сюда Кирхгофа [54], который благодаря своему открытию химического спектрального анализа дал нам возможность узнать химический состав звезд, то есть самых отдаленных от нас солнц) совершенно разбили те рамки, которые не позволяли ученым в течение более по-

ловины XIX в. пускаться в смелые и широкие обобщения в области физики. В течение нескольких лет они доказали и установили единство природы во всем неорганическом мире. С тех пор говорить о каких-то таинственных «жидкостях», теплородных, магнетических, электрических или других, к которым физики прибегали раньше для объяснения различных физических сил, стало совершенно невозможным.

Было доказано, что механические движения частиц, вроде тех движений, которые дают нам волны в морях или которые мы открываем в дрожании колокола или металлической пластинки, вполне достаточны для объяснения всех физических явлений: теплоты, света, звука, электричества, магнетизма.

Более того, мы научились измерять эти невидимые движения, эти дрожания частиц – взвешивать, так сказать, их энергию – таким же образом, как мы измеряем энергию падающего камня или движущегося поезда. Физика, таким образом, стала отраслью механики.

Кроме того, в течение все тех же нескольких лет было доказано, что в самых отдален-

ных от нас небесных телах, включая бесчисленные солнца, которые мы видим в неизмеримом количестве в Млечном Пути, наблюдаются абсолютно те же простые химические тела или элементы, которые известны нам на нашей Земле, и что абсолютно те же дрожания частиц происходят там, с теми же физическими и химическими результатами, что и на нашей планете. Даже массовые движения небесных тел, звезд, несущихся в пространстве по закону всемирного тяготения, являются, по всему вероятно, не чем иным, как результатом всех этих колебаний, передающихся на миллиарды и триллионы верст в междузвездном пространстве Вселенной.

Те же тепловые и электрические колебания достаточны для объяснения химических явлений. Химия есть лишь глава молекулярной механики. И даже жизнь растений и животных, во всех ее бесчисленных проявлениях, есть не что иное, как обмен частиц или, скорее, атомов во всем этом обширном ряду очень сложных и поэтому очень неустойчивых химических тел, из которых слагаются живые ткани всех живых существ. Жизнь

есть не что иное, как ряд химических разложений и вновь возникающих соединений из очень сложных молекул – ряд «брожений», возникающих под влиянием ферментов (бродил) химических, неорганических.

Кроме того, в то же время было понято, а в течение 1890–1900 гг. признано и доказано, как жизнь клеток нервной системы и способность их передавать каждое раздражение от одной к другой дают механическое объяснение передачи раздражения в растениях и в нервной жизни животных. В результате этих исследований мы можем теперь, не выходя из области чисто физических наблюдений, понять, как образы и вообще впечатления запечатлеваются в нашем мозгу, как они действуют одно на другое и как от них происходят понятия, идеи.

Мы также можем теперь понять «ассоциацию идей» – то есть каким образом каждое впечатление вызывает накопленные раньше впечатления. Мы схватываем, следовательно, самый механизм мышления.

Конечно, мы остаемся еще бесконечно далеко от открытия «всего» в этом направлении.

нии; мы сделали только первые шаги, и нам остается открывать бесконечно многое. Наука, едва освободившаяся от душившей ее метафизики, только приступает к исследованию этой громадной области – физической психологии. Но солидная база уже заложена для дальнейших исследований. Старое деление на две совершенно отдельные области, которые пытался установить немецкий философ Кант, – область явлений, которую мы исследуем, по его словам, «во времени и пространстве» (физическая область), и другая, которая может быть исследована только «во времени» (область явлений духа), это деление ныне отпадает. И на вопрос, который однажды был поставлен русским профессором-материалистом Сеченовым[55]: «Куда отнести и как изучать психологию?», ответ уже дан: «К физиологии, физиологическим методам». В самом деле, новейшие исследования физиологов уже пролили более света относительно механизма мышления, происхождения впечатлений, их закрепления в памяти и передачи, чем все изящные рассуждения, которые подносили нам до сих пор метафизики.

Таким образом, даже в этой крепости, которая принадлежала без всяких споров метафизике, она теперь побеждена. Область психологии захвачена естественными науками и материалистической философией, которые двигают наши знания относительно механизма мышления в этой области с невиданной дотоле быстротой.

Однако среди работ, которые появились в продолжение тех же пяти-шести лет, есть одна, затмившая собой все остальные. Это книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов».

Уже в прошлом столетии Бюффон и на рубеже двух столетий Ламарк решились утверждать, что различные виды растений и животных, которые мы встречаем на земле, не представляют собой неподвижных форм: они изменчивы и постоянно изменяются под влиянием среды. Разве самое семейное сходство, наблюдающееся между различными видами, принадлежащими к той или иной группе, не доказывает, говорили они, что эти виды происходят от общих предков? Так, различные виды лютиков, которые мы находим в наших лугах и в болотах, должны быть потомками

одного вида общих предков, – потомками, которые видоизменились в зависимости от изменений и приспособлений, которым они подвергались в различных условиях существования. Точно так же теперешние породы волка, собаки, шакала, лисицы не существовали раньше, но вместо них существовала порода животных, которая в течение столетий постепенно дала происхождение волкам и собакам, шакалам и лисицам. Относительно лошади, осла, зебры и т. п. уже доподлинно известно, что у них существовал общий предок, скелет которого открыт в древних геологических пластах.

Но в XVIII в. рискованно было высказывать такие ереси. За гораздо меньшее, чем это, Бюффону даже угрожало преследование перед церковным трибуналом, и он был принужден напечатать в своей «Естественной истории» отречение от своих слов. Церковь в это время была еще очень сильна, и натуралисту, осмеливавшемуся поддерживать такие неприятные для епископов ереси, грозили тюрьма, пытка или сумасшедший дом. Вот почему «еретики» высказывались тогда

очень осторожно.

Но теперь, после революций 1848 г., Дарвин и Уоллес осмелились утверждать ту же ересь, а Дарвин даже имел мужество прибавить, что человек также развивался путем медленной физиологической эволюции; что он произошел от породы обезьяноподобных животных; что «бессмертный дух» и «нравственная душа» человека развивались тем же путем, как ум и общественные привычки у обезьяны или муравья.

Известно, какие громы были обрушены тогда стариками на голову Дарвина и в особенности на голову его смелого ученого и интеллигентного апостола Гэксли[56] за то, что он резко подчеркивал те из заключений дарвинизма, которые более всего приводили в ужас духовенство всех религий.

Борьба была жестокая, но дарвинисты вышли из нее победителями. И с тех пор перед нашими глазами выросла совершенно новая наука биология – наука о жизни во всех ее проявлениях.

Работа Дарвина дала в то же время новый метод исследования для понимания явлений

всякого рода: в жизни физической материи, в жизни организмов и в жизни обществ. Идея «непрерывного развития», то есть эволюции и постепенного приспособления особей и обществ к новым условиям, по мере того как изменяются эти условия, – эта мысль нашла себе гораздо более широкое приложение, чем одно объяснение происхождения новых видов. Когда она была введена в изучение природы вообще, а также людей, их способностей и их общественных учреждений, она открыла новые горизонты и дала возможность объяснить самые непонятные факты в области всех отраслей знания. Основываясь на этом начале, столь богатым последствиями, возможно было перестроить не только историю организмов, но также историю человеческих учреждений.

В руках Спенсера биология показала нам, как все виды растений и животных, обитающих на земном шаре, могли развиваться, происходя от нескольких простейших организмов, населявших землю вначале; и Геккель [57] мог начертить правдоподобный набросок родословного дерева различных видов жи-

вотных, включая сюда человека. Это было уже огромно. Но стало также возможно заложить некоторые первые научные основания для истории нравов, обычаев, верований и человеческих учреждений, чего совершенно не хватало XVIII в. и Огюсту Конту. Эту историю мы можем писать теперь, не прибегая к метафизическим формулам Гегеля и не останавливаясь ни на «врожденных идеях», ни на «субстанциях» Канта, ни на вдохновении свыше. Вообще мы можем проследить ее, не имея нужды в формулах, которые убивали дух исследования и за которыми, как за облаками, скрывалось всегда все то же невежество, то же старое суеверие, та же слепая вера.

Благодаря, с одной стороны, трудам натуралистов и, с другой стороны, работе Генри Мэна[58] и его последователей, в том числе М. М. Ковалевского[59], которые приложили тот же индуктивный метод к изучению первобытных учреждений и вытекавших из них законов, история развития человеческих учреждений могла быть поставлена, в течение этих последних пятидесяти лет, на столь же твердое основание, как и история разви-

тия любого вида растений или животных.

Без сомнения, было бы несправедливо забывать о работе, проделанной уже в 30-х годах XIX столетия школой Огюстена Тьерри во Франции и школой Маурера[60] и «германистов» в Германии, продолжателями которых в России были Костомаров[61], Беляев[62] и многие другие. Метод эволюции прилагался, конечно, уже раньше, со времени энциклопедистов, к изучению нравов и учреждений, а также языков. Но получить правильные научные результаты стало возможным лишь после того, как научились смотреть на собранные исторические факты так же, как натуралист смотрит на постепенное развитие органов растения или нового вида.

Метафизические формулы помогали, конечно, в свое время делать некоторые приблизительные обобщения. Они будили сонную мысль, они волновали ее своими неопределенными намеками на единство и вечную жизнь природы. В эпоху реакции, подобную той, которая царила в первые десятилетия XIX в., когда индуктивные обобщения энциклопедистов и их английских и шотландских

предшественников стали забываться, особенно в эпоху, когда требовалось нравственное мужество, чтобы осмелиться говорить перед лицом торжествующего мистицизма о единстве физической и «духовной» природы (а этого мужества не хватало философам), туманная метафизика немцев, без сомнения, поддерживала вкус к обобщениям.

Но обобщения того времени, установленные либо диалектическим методом, либо полусознательной индукцией, отличались поэтому отчаянною неопределенностью. Первые из них основывались, в сущности, на весьма наивных умозаклучениях, подобно тому как некоторые греки древности доказывали, что планеты должны двигаться в пространстве по кругам, так как круг – самая совершенная кривая. Только наивность этих утверждений и отсутствие доказательств прикрывались неопределенными рассуждениями, туманными словами, а также неясным и до смешного тяжелым стилем. Что же касается до обобщений, вытекавших из полусознательной индукции, то они всегда основывались на крайне ограниченном количе-

стве наблюдений – как, например, весьма широкие и мало обоснованные обобщения Вейсмана[63], которые недавно наделали столько шума. Так как индукция была в этом случае несознательная, то ценность ее догадочных заключений легко преувеличивалась и их выставляли как бесспорные законы, между тем как они, в сущности, были лишь предположениями, гипотезами, зачатками обобщений, которые нужно было еще подвергнуть элементарной проверке, сравнив полученные результаты с фактами, наблюденными в действительности.

Наконец, все эти обобщения были выражены в столь отвлеченной и столь туманной форме – как, например, «тезис, антитезис и синтезис» Гегеля, – что они давали полный произвол мыслителям, когда они желали вывести практические заключения. Таким образом, из них можно было выводить (и это делалось на самом деле) и революционный дух Бакунина вместе с Дрезденской революцией[64], и революционный якобинизм Маркса, и «разумность существующего» Гегеля, которая привела многих к «примирению с действи-

тельностью», то есть с самодержавием. Даже в наши дни достаточно вспомнить о многочисленных экономических ошибках, в которые на наших глазах впали недавно социалисты вследствие их пристрастной склонности к диалектическому методу и метафизике в экономической науке, к которым они прибегли, вместо того чтобы обратиться к изучению реальных фактов экономической жизни народов.

VI. Синтетическая философия Спенсера

Возможность новой синтетической философии. – Попытка Спенсера. – Почему она не вполне удалась. – Метод не выдержан. – Неверное понимание «борьбы за существование»

С тех пор как антропологию – то есть физиологическое развитие человека и историю его религий и его учреждений – стали изучать таким же путем, как изучают и все другие естественные науки, стало наконец возможным понять главные существенные черты истории человечества. Так же стало возможно отделаться навсегда от метафизики,

мешавшей изучению истории, как библейские предания мешали когда-то изучению геологии.

Казалось бы поэтому, что, когда Герберт Спенсер, в свою очередь, принялся за построение «Синтетической философии»[65] во второй половине XIX в., он мог бы сделать это, не впадая в ошибки, которые встречаешь в «Позитивной политике» Конта. И, однако, «Синтетическая философия» Спенсера, представляя собой шаг вперед (в этой философии нет места для религии и религиозных обрядов), содержит еще в своей социологической части столь же крупные ошибки, как и работа Конта.

Дело в том, что, дойдя до психологии обществ, Спенсер не сумел остаться верным своему строго научному методу при изучении этой отрасли знания и не решился признать всех выводов, к которым его приводил этот метод. Так, например, Спенсер признавал, что земля не должна быть частною собственностью. Землевладелец, пользуясь своим правом повышать по своему усмотрению арендную плату за землю, может мешать тем, кто

работает на земле, извлекать из нее все то, что они могли бы извлечь посредством усиленной обработки; или даже он может оставить землю без всякой обработки, ожидая того времени, когда цена за десятину его земли поднимется достаточно высоко вследствие того только, что другие земледельцы будут трудиться вокруг на своей земле. Подобная система – Спенсер поспешил признать это – вредна для общества и полна опасностей. Но, признавая это зло относительно земли, он не решился сделать то же заключение относительно других накопленных богатств – ни даже относительно рудников и доков, не говоря уже о фабриках и заводах.

Или также он поднял голос против вмешательства государства в жизнь общества и даже придал одной из своих книг заглавие, представлявшее целую революционную программу, – «Личность против государства». Но мало-помалу, под предлогом сохранения охранительной деятельности государства, он кончил тем, что восстановил государство полностью, как оно есть теперь, поставив ему только несколько робких ограничений.

Можно объяснить, без сомнения, эти и другие противоречия того же рода тем, что Спенсер построил социологическую часть своей философии под влиянием английского радикального движения гораздо раньше, чем он написал естественно-научную часть. Действительно, он напечатал свою «Статику» в 1851 г., то есть в эпоху, когда антропологическое изучение человеческих учреждений было еще в зародыше. Но во всяком случае результат был тот, что так же, как Конт, Спенсер не изучал человеческие учреждения сами по себе, без предвзятых идей, заимствованных из чуждой науке области. Кроме того, как только Спенсер дошел до философии общественной, он начал пользоваться новым, самым обманчивым методом – именно методом сходств (аналогий), которым он, конечно, не пользовался при изучении физических фактов. Этот метод позволил ему оправдать целую массу предвзятых идей. В результате мы до сих пор не имеем еще настоящей синтетической философии, построенной по одному и тому же методу в обеих своих частях: естественно-научной и социологической.

Нужно сказать, что Спенсер был наименее подходящим человеком для изучения первобытных учреждений дикарей. В этом отношении он даже преувеличивал обычную для большинства англичан ошибку – именно неспособность понимать нравы и обычаи других народов. «Мы – люди римского права, а ирландцы – люди обычного права; вот почему мы не понимаем друг друга», – сказал мне однажды Джемс Ноульз[66], очень умный и очень проницательный англичанин. Но эта неспособность понимать другую цивилизацию становится еще более очевидной, когда дело идет о тех, кого англичане называют «низшими расами». Так было со Спенсером. Он был совершенно неспособен понять дикаря с его почитанием своего племени, «с его кровной мезтью», которая считалась долгом у героев исландских саг, и он так же был неспособен понять бурную, полную борьбы и гораздо более близкую нам жизнь средневековых городов. Понятия права, встречающиеся в эти эпохи, были совершенно чужды Спенсеру. Он видел в них только дикость, варварство, жестокость, и в этом отношении он делал реше-

тельно шаг назад по сравнению с Огюстом Конттом, который понимал важную роль Средних веков в прогрессивном развитии учреждений, – идея, с тех пор слишком забываемая во Франции.

Мало того – и это была самая важная ошибка, – Спенсер, подобно Гэкли и многим другим, понял идею «борьбы за существование» совершенно неправильным образом. Он представлял ее себе не только как борьбу между различными видами животных (волки поедают зайцев, многие птицы питаются насекомыми и так далее), но и как ожесточенную борьбу за средства существования и место на земле внутри каждого вида, между особями одного и того же вида. Между тем подобная борьба не существует, конечно, в тех размерах, в каких воображали ее себе Спенсер и другие дарвинисты.

Насколько сам Дарвин виноват в таком неправильном понимании борьбы за существование, мы не будем разбирать здесь [67]. Но достоверно, что, когда двенадцать лет спустя после появления «Происхождения видов» Дарвин напечатал «Происхождение челове-

ка», он понимал уже борьбу за существование в гораздо более широком и метафорическом смысле, чем как отчаянную борьбу внутри каждого вида. Так, в своем втором сочинении он писал, что «те животные виды, в которых наиболее развиты чувства взаимной симпатии и общности, имеют больше шансов сохранить свое существование и оставить после себя многочисленное потомство». И он развивал даже ту идею, что социальный инстинкт у каждой особи более силен и более постоянен и активен, чем инстинкт самосохранения. А это уже совсем не то, что говорят нам некоторые «дарвинисты».

Вообще главы, посвященные Дарвином этому вопросу в «Происхождении человека», могли бы стать основанием для разработки чрезвычайно богатого выводами представления о природе и развитии человеческих обществ (Гёте уже догадывался об этом на основании одного или двух фактов). Но эти главы прошли незамеченными. И только в 1879 г. в речи русского зоолога Кесслера[68] мы находим ясное понимание существующих в природе отношений между борьбой за существо-

вание и взаимной помощью. «Для прогрессивного развития вида, – сказал он, приводя несколько примеров, – закон взаимной помощи имеет гораздо большее значение, чем закон взаимной борьбы».

Год спустя Ланессан[69] выступил со своей лекцией «Борьба за существование и ассоциация в борьбе», и в то же время Бюхнер[70] напечатал свой труд «Любовь», в котором он показал важность симпатии между животными для развития первых нравственных понятий; но только опираясь главным образом на семейную любовь и взаимное сочувствие, он напрасно ограничил круг своих изысканий.

Мне легко было доказать и развить в 1890 г. в моей книге «Взаимная помощь» идею Кесслера и распространить ее на человека, опираясь на точные наблюдения природы и на последние исследования по истории человеческих учреждений. Взаимная помощь действительно есть не только самое могучее орудие для каждого животного вида в его борьбе за существование против враждебных сил природы и других враждующих видов, но она есть также главное орудие прогрессивно-

го развития. Даже самым слабым животным она дает долголетие (и, следовательно, накопление опыта), обеспечивает их потомство и умственное развитие. В результате те животные виды, которые больше практикуют взаимопомощь, не только выживают лучше других, но они занимают первое место каждый во главе своего класса (насекомые, птицы, млекопитающие) благодаря превосходству своего физического строения и умственного развития.

Этого основного факта природы Спенсер не замечал. Борьбу за существование внутри каждого вида, борьбу отчаянную, «клювом и когтями», из-за каждого куска пищи он принял как принцип, не требующий доказательств, как аксиому. Природа, «обагренная кровью гладиаторов», как ее рисует английский поэт Теннисон[71], – таково было его представление животного мира. И только в 1890 г. в статье в журнале «Nineteenth Century» он начал понимать до некоторой степени важность взаимной помощи (или, скорее, чувства симпатии) в животном мире и начал собирать факты и производить на-

блюдения в этом направлении. Но до самой его смерти первобытный человек остался для него воображаемым диким зверем, который только и выжил благодаря тому, что рвал «зубами и когтями» последний кусок у своего ближнего.

Очевидно, что, усвоив в качестве основания для своих выводов такую ложную посылку, Спенсер не мог построить своей синтетической философии без того, чтобы не впасть в целый ряд ошибок и заблуждений.

VII. О роли закона в обществе

Ложное учение «мир во зле лежит». – Государственное насаждение того же взгляда на «коренную испорченность человека». – Взгляды современной науки. Выработка форм общественной жизни «массами» и закон. – Его двойственный характер

Спенсер, впадая в эти ошибки, был, однако, не один. Верная Гоббсу[72], вся философия XIX в. продолжала рассматривать первобытных людей как стадо диких зверей, которые жили отдельными маленькими семьями и дрались между собой из-за пищи и из-за сво-

их жен до тех пор, пока не появилось благодетельное начальство, которое водворило среди них мир. Даже такой натуралист, как Гэкли, продолжал повторять все то же фантастическое утверждение Гоббса и заявил (в 1885 г.), что вначале люди жили, борясь «каждый против всех», до тех пор, пока благодаря нескольким передовым людям эпохи не было «основано первое общество». Таким образом, даже ученый дарвинист, как Гэкли, не догадывался, что общество, вместо того чтобы быть созданным человеком, существовало задолго до появления человека среди животных. Такова сила укоренившегося предрассудка.

Если проследить историю этого предрассудка, то легко можно заметить, что он черпает свое происхождение в религиях, в церквях. Тайные общества колдунов, вызывателей дождя, шаманов, а позднее ассирийских и египетских жрецов, а еще позднее христианских священников всегда стремились убедить людей, что «мир погряз в грехе»; что только благодетельное вмешательство шамана, колдуна, святого или священника мешает силе зла овладеть человеком; что только они могут

умолить злое божество, чтобы оно не насылало на человека всякие несчастья в наказание за его грехи.

Первобытное христианство, несомненно, стремилось ослабить этот предрассудок относительно священника, но христианская церковь, опираясь на слова самих евангелий о «вечном огне», только усилила его. Самая идея о Боге Сыне, пришедшем умереть на земле, чтобы искупить грехи мира, также подтверждает этот взгляд. Именно это-то и позволило впоследствии «святой инквизиции» предавать свои жертвы самым жестоким пыткам и сжиганию на медленном огне – этим она давала им возможность раскаяться, чтобы спастись от вечных мук на том свете. Кроме того, не одна католическая церковь действовала таким образом; все христианские церкви, верные тому же принципу, соперничали между собой в изобретении новых мук или ужасов, чтобы исправить людей, погрязших в «пороке». До сих пор 999 человек из тысячи еще верят, что разные естественные невзгоды – засухи, землетрясения и различные болезни посылаются свыше неким бо-

жеством, чтобы привести грешное человечество на стезю добродетели.

В то же время государство в своих школах и своих университетах поддерживало и продолжает поддерживать ту же веру в естественную испорченность человека. Доказать необходимость какой-то силы, находящейся выше общества и работающей над тем, чтобы вдохнуть нравственный элемент в общество посредством наказаний, налагаемых за нарушение «нравственного закона» (который посредством ловкой передержки отождествляется с писанным законом), убедить людей, что эта власть необходима, – все это вопрос жизни или смерти для государства. Потому что, если люди начнут сомневаться в необходимости насаждения нравственных начал силою власти, они скоро потеряют веру в высокую миссию своих правителей.

Таким образом, все наше воспитание – религиозное, историческое, юридическое и социальное – проникнуто мыслью, что человек, предоставленный самому себе, становится диким зверем. При отсутствии власти люди грызлись бы между собой; от «толпы» нельзя

ожидать ничего другого, кроме животности и войны каждого против всех.

Эта человеческая толпа погибла бы, если бы над ней не были избранники: священник, законодатель и судья с своими помощниками – полицейским и палачом. Именно они не допускают всеобщей драки всех против всех; это именно они воспитывают людей в уважении к закону, учат их дисциплине и ведут их твердой рукой к тем грядущим дням, когда лучшие понятия созреют в «ожесточенных сердцах» людей и сделают кнут, тюрьму и виселицу менее необходимыми, чем теперь.

Мы смеемся над тем королем, который, уезжая в изгнание в 1848 г., говорил: «Бедные мои подданные! Они погибнут без меня!» Мы потешаемся над английским купцом, который убежден, что его соотечественники происходят от потерявшегося колена Израилева и что на основании этого судьба предназначила им дать хорошее правительство «низшим расам».

Но разве не то же преувеличенное мнение о себе мы находим в любом другом народе у громадного большинства людей, которые

учились «чему-нибудь и как-нибудь»?

Между тем научное изучение развития человеческих обществ и учреждений приводит нас к совершенно другим выводам. Оно нам показывает, что обычаи и приемы, созданные человечеством в целях взаимной помощи, защиты и мира вообще, были выработаны именно «толпой» без имени. И именно эти обычаи позволили человеку, как и существующим в наше время животным видам, выжить в борьбе за существование. Наука показывает нам, что так называемые руководители, герои и законодатели человечества ничего не внесли в течение истории, кроме того, что было уже выработано в обществе обычным правом. Лучшие среди них только дали форму и санкцию этим учреждениям. Но очень многие из этих мнимых благодетелей человечества стремились все время либо уничтожить те из учреждений обычного права, которые мешали образованию личной власти, либо преобразовать их в своих личных интересах или в интересах своей касты.

Уже в самой глубокой древности, теряющейся во мраке ледникового периода, люди

жили обществами. И в этих обществах был выработан целый ряд свято соблюдавшихся обычаев и учреждений, чтобы сделать возможной жизнь сообща. Позднее, в течение дальнейшего развития человечества, та же творческая сила безыменной толпы всегда помогала вырабатывать новые формы общественной жизни, взаимной помощи и охраны мира, по мере того как создавались новые условия.

С другой стороны, современная наука показывает с полной очевидностью, что всякий закон, каково бы ни было его предполагаемое происхождение, говорят ли нам, что он исходит от Бога или мудрого законодателя, никогда не делал ничего иного, как только закреплял, кристаллизовывал в постоянную форму или распространял обычаи, уже существовавшие раньше. Все своды законов древности были только собранием обычаев и преданий, записанных или нацарапанных на камне, чтобы сохранить их для следующих поколений. Только делая это, свод законов прибавлял всегда к обычаям, уже принятым всеми, несколько новых правил, сделанных в инте-

ресак богатых, вооруженных и воинов, – и этими правилами закреплялись нарождавшиеся обычаи неравенства и порабощения, выгодные для меньшинства.

«Не убий, – гласил, например, закон Моисеев, – не укради, не лжесвидетельствуй». Но к этим прекрасным правилам поведения он прибавлял также: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни осла его», – и этим самым узаконял надолго рабство и ставил женщину на один уровень с рабом или вьючным животным. «Люби ближнего твоего» – говорило позднее христианство и тут же спешило прибавить устами апостола Павла: «Рабы да повинуются господам своим» и «Несть власти чаще не от Бога», – узаконяя таким образом, обожествляя разделение на господ и рабов и освящая власть негодяев, царивших тогда в Риме.

Самые Евангелия, проповедуя высшую идею прощения, которая является главной сутью христианства, говорят, однако, все время о боге-мстителе и проповедуют этим месть.

То же самое было в сводах законов так называемых варваров – галлов, лангобардов,

германцев, саксонцев, славян – после падения Римской империи. Они узаконили, несомненно, хороший обычай, распространившийся в это время: обычай платить вознаграждение за нанесение раны и убийство, вместо того чтобы практиковать бывший раньше в ходу закон возмездия (око за око, зуб за зуб, рана за рану, смерть за смерть). Таким образом, варварские законы представляли собой прогресс по сравнению с законом возмездия, господствовавшим в родовом быту. Но в то же время они установили также деление свободных людей на классы, которое в эту эпоху намечалось.

Такое-то вознаграждение, говорили эти своды законов, следует платить за раба (оно платилось его господину), такое-то за свободного человека и такое-то за начальника – в этом случае вознаграждение было так велико, что для убийцы обозначало рабство до самой смерти. Первоначальной мыслью этих различий было, без сомнения, то, что семья князя, убитого в драке, теряла в нем гораздо больше, чем семья простого свободного человека в случае смерти своего главы; поэтому

она имела право, по тогдашним взглядам, на большее вознаграждение, чем последняя. Но обращая этот обычай в закон, узаконялось этим навсегда деление людей на классы и узаконялось так прочно, что до сих пор мы не можем отделаться от этого.

То же самое мы встречаем в законодательствах всех времен, вплоть до наших дней: притеснение предыдущей эпохи всегда переносится посредством закона на последующие эпохи. Несправедливость Персидской империи передалась Греции; несправедливость Македонии перешла к Риму; насилие и жестокость Римской империи и восточных тираний передалось молодым зарождавшимся варварским государствам и христианской церкви. Так налагает прошедшее, посредством закона, свои цепи на будущее.

Все необходимые гарантии для жизни в обществах, все формы общественной жизни в родовом быту, в сельской общине и средневековом городе, все формы отношений между отдельными племенами и позднее между республиками-городами, послужившие впоследствии основанием для международного пра-

ва, – одним словом, все формы взаимной поддержки и защиты мира, включая сюда суд присяжных, были созданы творческим гением безымянной народной толпы. Между тем как все законы, от самых древних до наших дней, состояли всегда из следующих двух элементов: первый утверждал и закреплял известные обычные формы жизни, признанные всеми полезными, а второй являлся приставкой, часто даже простой, но хитрой манерой выразить словами существующий уже обычай, но эта приставка всегда имела целью насадить или укрепить зарождающуюся власть господина, воина, царька и священника, укрепить и освятить их власть, их авторитет.

Именно к этому нас приводит научное изучение развития обществ, изучение, проделанное в течение последних сорока лет многими добросовестными учеными. Правда, очень часто ученые сами не осмеливались формулировать столь еретические заключения, как приведенные выше. Но вдумчивый читатель придет неизбежно к тому же, читая их работы.

VIII. Положение учения об анархии в

современной науке
Его стремление выработать синтетическое (объемлющее) понимание всего мира. – Его цель

Какое положение занимает анархия в великом умственном движении XIX в.?

Ответ на этот вопрос намечается уже тем, что было сказано в предыдущих главах. Анархия есть мирозерцание, основанное на механическом понимании явлений (лучше было бы сказать кинетическом, так как этим выразилось бы постоянное движение частиц вещества; но это выражение менее известно), охватывающее всю природу, включая сюда и жизнь человеческих обществ. Ее метод исследования – метод естественных наук; этим методом должно быть проверено каждое научное положение. Ее тенденция – основать синтетическую философию, т. е. философию, которая охватывала бы все явления природы, включая сюда и жизнь человеческих обществ, и их экономические, политические и нравственные вопросы, но не впадая, однако, в ошибки, сделанные Контом и Спенсером вследствие вышеуказанных причин.

Очевидно, что анархия поэтому должна дать на все вопросы, поставленные современной жизнью, другие ответы и занять иную позицию, чем все политические, а также, до известной степени, и социалистические партии, которые еще не отделились от старых метафизических верований.

Конечно, выработка полного механического понятия природы и человеческих обществ едва началась в его социологической части, изучающей жизнь и развитие обществ. Однако то немногое, что было сделано, носит уже – иногда, впрочем, бессознательно – характер, который мы только что указали. В философии права, в теории нравственности, в политической экономии и в изучении истории народов и учреждений анархисты уже доказали, что они не будут довольствоваться метафизическими заключениями, а будут искать естественно-научное обоснование для своих заключений.

Они отказываются подчиняться метафизике Гегеля, Шеллинга или Канта, считаются с комментаторами римского права и церковного права, с учеными профессорами государ-

ственного права и с политической экономией метафизиков, – и они стараются отдать себе ясный отчет во всех вопросах, поднятых в этих областях знания, основываясь на массе работ, сделанных в течение этих последних сорока или пятидесяти лет, с точки зрения натуралиста.

Подобно тому как метафизические понятия о «всемирном духе», «созидательной силе природы», «любовном притяжении материи», «воплощении идеи», «цели природы и смысле ее существования», о «непознаваемом», «человечестве», понимаемом в смысле существа, одухотворенного «дуновением духа», и тому подобные понятия отброшены ныне философией материалистической (механической или, скорее, кинетической), а зачатки обобщений, скрывающихся позади этих слов, переводятся на конкретный язык фактов, – так точно мы пробуем поступать, когда обращаемся к фактам общественной жизни.

Когда метафизики желают убедить натуралиста, что умственная и чувственная жизнь человека развивается согласно «имманентным законам духа», натуралист пожима-

ет плечами и продолжает терпеливо заниматься своим изучением жизненных, умственных и чувственных явлений, чтобы доказать, что все они могут быть сведены к физическим и химическим явлениям. Он старается открыть их естественные законы.

Точно так же, когда анархисту говорят, что, согласно Гегелю, всякая эволюция представляет собой «тезис, антитезис и синтезис» [73], или что «право имеет целью водворение справедливости, которая является материальным овеществлением высшей идеи», или когда у него спрашивают, какова, по его мнению, «цель жизни», анархист тоже пожимает плечами и спрашивает себя: «Как это возможно, что, несмотря на современное развитие естественных наук, находятся еще старики, продолжающие верить в эти “жупелы”, и остальные люди, говорящие языком примитивного дикаря, который “очеловечивал” природу и представлял ее себе как нечто, управляемое существами человеческого вида?»

Анархисты не поддаются таким «звучным словам», потому что знают, что эти слова служат всегда прикрытием или незнания – то

есть незаконченного исследования, – или, что еще хуже, суеверия. Поэтому, когда им говорят такие слова, они проходят мимо, не останавливаясь; они продолжают свое изучение общественных понятий и учреждений прошлого и настоящего, следуя естественно-научному методу. И они находят, очевидно, что развитие жизни человеческих обществ в действительности бесконечно сложнее (и интереснее для практических целей), чем можно было бы думать, если судить по этим формулам.

Мы много слышали за последнее время о диалектическом методе, который рекомендуют нам социал-демократы для выработки социалистического идеала. Мы совершенно не признаем этого метода, который также не признается ни одной из естественных наук. Для современного натуралиста этот «диалектический метод» напоминает что-то давно прошедшее, пережитое и, к счастью, давно уже забытое наукой. Ни одно из открытий XIX в. – в механике, астрономии, физике, химии, биологии, психологии, антропологии – не было сделано диалектическим методом.

Все они были сделаны единственно-научным индуктивным методом. И так как человек есть часть природы, а его личная и общественная жизнь есть так же явление природы, как и рост цветка или развитие общественной жизни у муравьев и пчел, то нет основания, переходя от цветка к человеку или от поселения бобров к человеческому городу, оставлять метод, который до сих пор так хорошо служил нам, и искать другой в арсенале метафизики.

Индуктивный метод, употребляемый нами в естественных науках, так хорошо доказал свою силу, что XIX век мог двинуть науки в течение ста лет больше, чем они подвинулись в течение двух предыдущих тысячелетий. И когда во второй половине XIX в. его начали прилагать к изучению человеческих обществ, то нигде не встретилось ни одного пункта, где было бы необходимо отбросить его и вернуться к средневековой схоластике, возрожденной Гегелем. Более того, когда натуралисты, платя дань своему буржуазному воспитанию, желали учить нас, основываясь якобы на научном методе дарвинизма, и гово-

рили: «Дави всякого, кто слабее тебя: таков закон природы», – то нам было легко доказать при помощи того же научного метода, что эти ученые шли по ложному пути; что такого закона не существует; что природа учит нас совершенно другому и что подобные заключения ни с какой стороны не научны. То же самое можно сказать про утверждение, которое желало бы заставить нас поверить, что неравенство имуществ есть «закон природы» и что капиталистическая эксплуатация представляет собой самую выгодную форму общественной организации. Именно приложение метода естественных наук к экономическим фактам и позволяет нам доказать, что так называемые «законы» буржуазных общественных наук – включая сюда и политическую экономию, – вовсе не законы, а простые утверждения или даже предположения, которые никогда не проверялись на практике.

Прибавим еще несколько слов. Научное исследование бывает плодотворно только при условии, что оно имеет определенную цель, и только тогда, когда оно предпринято с намерением найти ответ на определенный,

точно поставленный вопрос. Каждое исследование тем более плодотворно, чем яснее понимаются отношения, существующие между поставленным к разрешению вопросом и основными линиями нашего мирозерцания. Чем лучше этот вопрос входит в наше мирозерцание, тем легче его разрешить.

И вот вопрос, который ставит себе анархия, мог бы быть выражен следующими словами: «Какие общественные формы лучше обеспечивают в данном обществе и, следовательно, в человечестве вообще наибольшую сумму счастья, а потому и наибольшую сумму жизненности?» – «Какие формы общества позволяют лучше этой сумме счастья расти и развиваться качественно и количественно; то есть позволяют счастью стать более полным и более общим?» Это, между прочим, дает нам и формулу прогресса. Желание помочь эволюции в этом направлении определяет характер общественной, научной, артистической и т. д. деятельности анархиста.

IX. Анархический идеал

Его происхождение. – Предшествующие революции. – Как он выраба-

ТЫВАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ МЕТО- ДОМ

Анархия, как мы уже сказали, родилась из указаний практической жизни.

Годвин[74], современник Великой революции 1789–1793 гг., видел своими собственными глазами, как правительственная власть, созданная во время Революции и силами Революции, сделалась в свою очередь препятствием к развитию революционного движения. Он знал также то, что происходило в Англии под прикрытием парламента: грабеж общинных земель, продажа выгодных правительственных должностей, охота на детей бедняков, которые отнимались специальными агентами, разъезжавшими для этого по Англии, и посылались на фабрики в Ланкашир, где они гибли массаами; и так далее. Годвин понял, что правительство, будь это даже правительство «Единой и Нераздельной Республики» якобинцев, никогда не сможет совершить необходимую социальную, коммунистическую революцию; что даже революционное правительство уже по одному тому, что оно является охранителем государства и

привилегий, которое всякое правительство должно защищать, само становится скоро препятствием для революции. Он понял и высказал основную анархическую мысль, что для торжества революции люди должны прежде всего отделаться от своих верований в закон, власть, порядок, собственность и другие суеверия, унаследованные ими от рабского прошлого.

Второй теоретик анархии, пришедший после Годвина, – Прудон пережил неудавшуюся революцию 1848 г. Он также видел своими глазами преступления, совершенные республиканским правительством, и в то же время он мог убедиться в бессилии государственного социализма Луи Блана[75]. Под свежим еще впечатлением того, что он пережил во время движения 1848 г., он написал свою «Общую идею революции», где смело провозгласил уничтожение государства и анархию.

Наконец, в Интернационале анархическая идея созрела также после революции, то есть после Парижской Коммуны 1871 г. Полное революционное бессилие совета Коммуны, который имел, однако, в своей среде в справед-

ливой пропорции представителей всех революционных фракций того времени (якобинцев, бланкистов и интернационалистов), а также неспособность Генерального совета Интернационала, заседавшего в Лондоне, и его столь же нелепые, сколько вредные претензии управлять парижским движением посредством приказов, посылаемых из Англии, – эти два урока открыли глаза многим. Они заставили многих членов Интернационала, считая в том числе Бакунина, задуматься над злом всякой власти, даже если она избрана свободно, как это было в Коммуне и в рабочем Интернационале.

Несколько месяцев спустя решение Генерального совета Интернационала, принятое на тайной конференции, созванной в Лондоне в 1871 г. вместо ежегодного конгресса, сделало еще более очевидным неудобство правительства в Международном союзе рабочих. После этой несчастной резолюции силы рабочего союза, до сих пор направлявшиеся на экономически-революционную борьбу, на прямую, открытую борьбу рабочих союзов против капитализма хозяев, были брошены в

политическое, избирательное и парламентарное движение, где они могли только обесцветиться, распылиться и погибнуть.

Это решение вызвало открытое восстание латинских федераций – Испанской, Итальянской, Юрской и отчасти Бельгийской – против Генерального Лондонского совета (во Франции Интернационал был строго запрещен), и с этого восстания начинается анархическое движение, которое продолжается до наших дней.

Таким образом, анархическое движение начиналось каждый раз под впечатлением какого-нибудь большого практического урока. Оно зарождалось из уроков самой жизни. Но раз начавшись, оно стремилось также немедленно найти свое теоретическое, научное выражение и обоснование – научное не в том смысле, чтобы усвоить себе непонятный большинству язык, и не в смысле обращения к отвлеченной метафизике, а в том смысле, что оно находило свое обоснование в естественных науках данного времени и само становилось одной из отраслей естественных наук.

В то же время анархисты работали над развитием своего идеала: своего понимания будущего строя жизни.

Никакая борьба не может иметь успеха, если она остается бессознательной, если она не отдает себе конкретного, реального отчета в своих целях. Никакое разрушение существующего невозможно без того, чтобы уже в момент разрушения и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что займет место того, что желают разрушить. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя уже себе в уме более или менее определенный образ того, что желают видеть на месте существующего. Сознательно или бессознательно идеал – понятие о лучшем – рисуется в уме каждого, кто критикует существующие учреждения.

Это особенно относится к человеку действия. Сказать людям: «Давайте сначала разрушим капитализм или самодержавие, а потом мы увидим, что поставить на их место», – значило бы просто обманывать себя и других. Но силы нельзя создать обманом. И действительно, даже тот, кто говорит таким образом,

имеет какое-нибудь представление о том, что он желал бы увидеть на месте того, на что он нападает. Так, например, работая над разрушением в России самодержавия, одни рисуют себе в близком будущем конституцию на английский или немецкий лад. Другие мечтают о республике, подчиненной, может быть, могучей диктатуре их партии, о монархической республике, как во Франции, или о федеративной республике, как в Соединенных Штатах Америки. Наконец, другие думают об еще большем ограничении власти государства – о еще большей свободе городов, коммун, рабочих союзов и всяких групп, соединившихся между собой федеральными узами.

Точно так же каждый, кто нападает на капитализм, имеет какое-нибудь определенное или неясное представление о том, что он желал бы видеть на месте существующего буржуазного капитализма: государственный капитализм, или какой-нибудь род государственного коммунизма по плану Бабефа, или, наконец, федерацию более или менее коммунистических ассоциаций для производства, обмена и потребления того, что они доставля-

ют из земли, или того, что они производят в промышленности.

Каждая партия имеет, таким образом, свое представление о будущем, свой идеал, который помогает ей судить обо всех фактах политической и экономической жизни народов, а также и находить способы действия, которые подходят к ее идеалу и позволяют ей лучше идти к своей цели.

Вполне естественно, что, хотя анархия родилась среди каждодневной борьбы, она также работала над выработкой своего идеала; и этот идеал, эта цель, эти стремления скоро отделили анархистов в их способах действия от всех других политических партий, а также, в большинстве случаев, от социалистических партий, которые верили в возможность удержать старинный римско-церковный идеал государства и перенести его в будущее общество своих мечтаний.

Х. Анархия

Краткий обзор ее основных начал. – Закон. – Нравственность. Экономические понятия. – Государство

В силу различных исторических, политических и экономических данных, а также в силу уроков новейшей истории у анархистов сложился, как мы уже сказали, свой взгляд на общество, совершенно иной, чем у всех политических партий, стремящихся к захвату государственной власти в свои руки.

Мы представляем себе общество в виде организма, в котором отношения между отдельными его членами определяются не законами, наследием исторического гнета и прошлого варварства, не какими бы то ни было властителями, избранными или же получившими власть по наследию, а взаимными соглашениями, свободно состоявшимися, равно как и привычками и обычаями, также свободно признанными. Эти обычаи, однако, не должны застывать в своих формах и превращаться в нечто незыблемое под влиянием законов или суеверий. Они должны постоянно развиваться, применяясь к новым требованиям жизни, к прогрессу науки и изобретений и к развитию общественного идеала, все более разумного, все более возвышенного.

Таким образом – никаких властей, кото-

рые навязывают другим свою волю, никакого владычества человека над человеком, никакой неподвижности в жизни, а вместо того – постоянное движение вперед, то более скорое, то замедленное, как бывает в жизни самой природы. Каждому отдельному лицу предоставляется, таким образом, свобода действий, чтобы оно могло развить все свои естественные способности, свою индивидуальность, т. е. все то, что в нем может быть своего, личного, особенного. Другими словами – никакого навязывания отдельному лицу каких бы то ни было действий под угрозой общественного наказания или же сверхъестественного мистического возмездия: общество ничего не требует от отдельного лица, чего это лицо само не согласно добровольно в данное время исполнить. Наряду с этим – полнейшее равенство в правах для всех.

Мы представляем себе общество равных, не допускающих в своей среде никакого принуждения, и, несмотря на такое отсутствие принуждения, мы нисколько не боимся, чтобы в обществе равных вредные обществу поступки отдельных его членов могли бы при-

нять угрожающие размеры. Общество людей свободных и равных сумеет лучше защитить себя от таких поступков, чем наши современные государства, которые поручают защиту общественной нравственности полиции, сыщикам, тюрьмам – т. е. университетам преступности, – тюремщикам, палачам и судам. В особенности сумеет оно предупреждать самую возможность противообщественных поступков путем воспитания и более тесного общения между людьми.

Ясно, что до сих пор нигде еще не существовало общества, которое применяло бы на деле эти основные положения. Но во все времена в человечестве было стремление к их осуществлению. Каждый раз, когда некоторой части человечества удавалось хоть на время свергнуть угнетавшую его власть или же уничтожить укоренившиеся неравенства (рабство, крепостное право, самодержавие, владычество известных каст или классов); всякий раз, когда новый луч свободы и равенства проникал в общество, всегда народ, всегда угнетенные старались хотя бы отчасти провести в жизнь только что указанные ос-

новные положения.

Поэтому мы вправе сказать, что анархия представляет собой известный общественный идеал, существенно отличающийся от всего того, что до сих пор восхвалялось большинством философов, ученых и политиков, которые все хотели управлять людьми и давать им законы. Идеалом господствующих классов анархия никогда не была. Но зато она часто являлась более или менее осознанным идеалом масс.

Однако было бы ошибочно сказать, что анархический идеал общества представляет собою утопию. Всякий идеал представляет стремление к тому, что еще не осуществлено, тогда как слову «утопия» в обыденной речи придается значение чего-то неосуществимого.

В сущности, слово «утопия» должно было бы применяться только к таким представлениям об обществе, которые основаны лишь на том, что писателю представляется теоретически желательным, и никогда не должно прилагаться к представлениям, основанным на наблюдении того, что уже совершается в

обществе. Таким образом, в число утопий должны быть включены: Республика Платона, Всемирная Церковь, о которой мечтали папы, наполеоновская Империя, мечтания Бисмарка, мессианизм поэтов, ожидающих появления Спасителя, который возвестит миру великие идеи обновления. Но совершенно ошибочно применять слово «утопия» к предвидениям, которые, подобно анархии, основаны на изучении направлений, уже обозначающихся в обществе в его теперешнем развитии. Здесь мы выходим из области утопических мечтаний и вступаем в область положительного знания – научного предвидения.

В данном случае тем более ошибочно говорить об утопии, что отмеченные нами стремления играли уже не раз чрезвычайно важную роль в истории человечества, потому что именно они послужили основанием для так называемого обычного права – права, господствовавшего в Европе среди миллионов людей с пятого по шестнадцатое столетие. Эти стремления стали теперь вновь проявляться в образованных обществах, после того как в течение трех столетий Европа производила у

себя опыты с государственною формою общежития. И на этом наблюдении, важность которого не ускользнет от внимания всякого, кто изучал историю цивилизации, основывается наша уверенность в том, что анархия представляет собою идеал возможный, осуществимый.

Нам, конечно, говорят, что от идеала далеко до его осуществления. Несомненно, так. Но не мешает помнить, что в конце XVIII столетия, в то самое время, когда созидались Соединенные Штаты Северной Америки, среди очень умных людей в Европе желание создать известной величины общество с республиканским строем правления считалось бессмыслицей: республика, говорили тогда, может существовать только маленькая, как Швейцария или Штаты Голландии[76]. А между тем республики Северной и Южной Америки, а затем Франция доказали, что «утописты» были не со стороны республиканцев, а со стороны монархистов.

«Утопистами» были всегда те, кто в силу своих личных желаний не хотел принимать во внимание новые, уже намечавшиеся тен-

денции, новые направления; те, кто приписывал слишком большую устойчивость тому, что уже стало достоянием прошлого, не замечая, что это прошлое было последствием переходящих исторических условий, заменившихся новыми условиями жизни.

Мы уже сказали в начале настоящего очерка, что, изучая происхождение анархического течения мысли, мы всегда наталкиваемся на два главных его источника: с одной стороны, критика государственных, иерархических организаций и представлений о власти вообще, а с другой стороны, разбор тех направлений, которые постоянно намечались и намечаются в поступательном движении человечества в прошлом и особенно в настоящее время.

С самых отдаленных времен каменного века дикари должны были видеть, какие происходят плачевные последствия, как только люди позволяют завладеть властью кому-нибудь из своей среды, хотя бы то был самый умный, самый храбрый, самый мудрый из них. Вот почему наши предки уже в самые отдаленные времена старались выработать такие учреждения, которые мешали бы отдельным

лицам захватывать власть. Их племена, их роды, а в более поздний период деревенская община, средневековые цехи (цехи доброго соседства, цехи ремесел и искусств, купцов, охотников и т. п.) и, наконец, вольные города или «народоправства» (как их совершенно верно называл Костомаров) с XII по XVI в. – все это были учреждения, возникшие среди народа. Они установлены были не предводителями и не вожаками, а самим народом, чтобы противодействовать захвату власти иноземными завоевателями или отдельными членами своего же рода, племени или города.

То же направление народной мысли проявилось в религиозных движениях народных масс во всей Европе во время движения гуситов в Богемии и анабаптистов в западной части Европы. Эти движения, носившие в себе зачатки анархической противогосударственной мысли, послужили, как известно, предтечами, подготовлением протестантской Реформации и крестьянских восстаний XVI в.

Гораздо позже, в 1793–1794 гг., во Франции мы снова видим проявление такого же народного творчества и такой же независимо на-

родный образ действий в удивительно плодотворной деятельности «секций», т. е. «отделов» города Парижа и других больших городов, равно как и целого ряда маленьких общин во время Великой Революции (см. подробно об этом в моей книге о Французской революции).

И наконец, еще позже мы встречаем тот же дух в рабочих союзах, образовавшихся в Англии и Франции, как только стала развиваться в этих странах современная промышленность, причем эти союзы слагались и действовали, несмотря на драконовские законы, направленные против них. И здесь мы снова наталкиваемся на тот же народный дух, который старается защитить себя – на этот раз от насилия капиталистов и их пособников – церкви и государства.

***Понятия анархизма у древних;
в Средние века; в конце XVIII и в
середине XIX в: Годвин. – Прудон. –
Штирнер***

Народные движения – плод народного творчества – не могли не отразиться в литературе. Действительно, мы встречаем анархи-

ческие мысли уже у древних философов, а именно у Лао-цзы[77] в Китае и у некоторых древнейших греческих философов, каковы Аристипп[78] и циники, а также у Зенона[79] и некоторых стоиков. Впрочем, так как анархическая мысль рождалась главным образом среди масс, а не среди немногочисленной аристократии ученых, и эти последние чувствовали мало симпатии к народным движениям, то мыслители обыкновенно и не старались выяснить ту глубокую мысль, которой всегда вдохновлялись народные движения. Во все времена философы и ученые предпочитали покровительствовать государственному направлению мысли и духу иерархической подчиненности. Еще в те времена, когда только занималась заря науки, их любимым предметом изучения было искусство управления людьми, а потому нечего удивляться, что так редко были философы с анархическим направлением мысли.

Однако одним из таковых был греческий стоик Зенон. Он проповедовал свободную общину без правительства и противопоставлял ее утопии государственного направления –

Республике Платона. Зенон уже указывал на инстинкт общности в человеке, который, по его словам, природа развила как противовес эгоистическому инстинкту самосохранения. Он предвидел то время, когда люди соединятся, невзирая на границы, и составят «Космос», Вселенную, не нуждаясь больше ни в законах, ни в судах, ни в храмах, ни в деньгах, чтобы обмениваться взаимными услугами. Даже его выражения, по-видимому, поразительно сходны с выражениями, употребляемыми теперь анархистами.

Епископ Альбский, Марк Джироламо Вида [80], исповедовал в 1553 г. подобные же взгляды против государства, против его законов и его «высшей несправедливости». Те же мысли мы встречаем также у гуситов [81] (особенно у Хоецкого в XV столетии) и у первых анабаптистов, так же как и у их предшественников IX в., армянских рационалистов.

Рабле [82] в первой половине XVI в., Фенелон [83] к концу XVII столетия и главным образом энциклопедист Дидро во второй половине XVIII в. развивали те же мысли, которые, как мы уже сказали, начали применяться до

некоторой степени в независимой деятельности отделов (секций) и коммун (общин) во время Великой Французской революции.

Но первым изложил политические и экономические положения анархизма англичанин Уильям Годвин в 1793 г. в своем «Исследовании относительно Политической Правды и ее влияния на общую нравственность и счастье». Он не употреблял слова «анархия», но очень хорошо излагал ее основные положения, нападая на законы, доказывая ненужность государства и говоря, что только с уничтожением судов будет достигнуто настоящее правосудие – единственное настоящее основание всякого общества. Что касается собственности, то он прямо требовал коммунизма.

Прудон первый употребил слово «анархия»[84] в смысле общественного строя без правительства и первый подверг строгой критике тщетные усилия людей дать себе правительство, которое мешало бы богатым угнетать бедных и вместе с тем оставалось бы под контролем управляемых. Тщетные попытки, делавшиеся во Франции начиная с 1793 г.,

чтобы дать себе конституцию, которая отвечала бы этой двойственной цели, и неудача революции 1848 г. доставили ему, конечно, богатый материал для такой критики.

Прудон был врагом всяких форм государственного социализма; коммунисты же того времени (тридцатые и сороковые годы XIX в.) являлись одной из разновидностей государственного социализма, а потому Прудон беспощадно разбирал и отрицал все планы подобной революции. Принимая за основание «чеки труда» [85], предложенные Робертом Оуэном, он развивал понятие о взаимности (мютюэлизме), которое сделало бы излишним всякое политическое правительство.

Так как, говорил Прудон, меновая ценность всех товаров может быть измеряема только количеством труда, необходимого в данное время в обществе для производства каждого товара, то весь обмен товаров в обществе может производиться при посредстве Национального банка, который принимал бы в уплату за товары «чеки труда». Clearing House, т. е. особая счетная контора, как это теперь делается банками, определял бы каж-

дый день разницу между приходом и следуемыми платежами всех отделений Национального банка.

Услуги, которыми таким образом обменивались бы различные лица, были бы равнозначными, т. е. представляли бы одинаковые ценности. Кроме того, Национальный банк был бы в состоянии дать займы производителям, объединенным в производительные союзы, суммы, необходимые для их производства, – но не деньгами, а чеками труда. В результате по этим займам не приходилось бы платить процентов, так как вместо частного капиталиста займодателем являлась бы нация, весь народ, оказывающий друг другу кредит при посредстве Национального банка. А чтобы покрыть издержки по управлению Банком, достаточно было бы платить один процент в год с одолженной суммы или даже меньше полпроцента. При таких условиях беспроцентных займов капитал потерял бы свой вредный характер; он перестал бы быть средством эксплуатации. Прибавим, что Прудон подробно развил свою систему взаимности, доказывая фактами свои мысли о ненуж-

ности и вреде государства и правительства. Вероятно, он не знал своих английских предшественников, но факт тот, что экономическая часть его программы была еще раньше, в 1829 г., развита в Англии Уильямом Томпсоном[86], очень известным экономистом, который проповедовал взаимность раньше, чем сделался коммунистом. Ту же мысль развивали потом английские продолжатели Томпсона – Джон Грэй (John Gray, 1825–1831), Ходжскин (Hodgskin, 1825–1832) и И. Т. Брэй (J. T. Bray, 1839). Хотя названные авторы не формулировали анархии, как это сделал Прудон и его продолжатели, тем не менее верно – как заметил английский профессор Фоксвелл [87] (Foxwell) в своем введении к английскому переводу замечательной книги А. Менгера «Право на цельный продукт труда» (*Droit au produit integral du travail*. Vienne, 1886), – что течение анархической мысли дает себя чувствовать во всем английском социализме этих годов.

В Соединенных Штатах то же направление было представлено Джошуа Уорреном[88] (Joshua Warren), который, бывши сначала

членом колонии Оуэна «Новая Гармония», сделался противником коммунизма и основал в 1826 г. в Цинциннати «склад», где продукты обменивались на основании ценности, измеряемой часами труда и «чеками труда» (трудовыми марками). Подобные учреждения существовали еще в 1865 г. под названием справедливых складов, справедливых домов и справедливых деревень.

Ту же мысль об обмене произведенных полезностей, измеряя ценность каждой из них количеством труда, потребного для ее производства, проповедовали в Германии в 1843–1845 гг. Моисей Гесс и Карл Грюн, а в Швейцарии – Вильгельм Марр. Они, таким образом, боролись против учения о государственном коммунизме, которое проповедовал Вейтлинг в своих кружках, очевидно являвшихся преемниками французских последователей Бабефа (бабувистов).

С другой стороны, в Германии, в противовес государственному коммунизму Вейтлинга, находившему довольно многочисленных сторонников среди рабочих, один немецкий гегелианец, Макс Штирнер[89] (его настоящее

имя было Иоанн Каспар Шмидт), опубликовал в 1845 г. свою работу «Единственный и его достояние», которая несколько лет тому назад была, так сказать, вновь открыта Маккаем[90] (Maskau) и произвела большой шум в наших анархических кругах, где некоторые смотрели на нее как на своего рода манифест анархистов-индивидуалистов.

Работа Штирнера представляет собой возмущение против государства и новой тирании, которая установилась бы, если бы государственному коммунизму удалось восторжествовать. Рассуждая как истый метафизик-гегельянец, Штирнер проповедовал возрождение человеческого «Я» и «Главенство» отдельной личности. Таким образом, он приходил к проповеди «аморали», т. е. отсутствия нравственности, и «сообщества эгоистов».

Ясно, однако, как на это уже указывали писатели-анархисты и еще недавно французский профессор В. Баш[91] (Basch) в своем интересном труде «Анархический индивидуализм: Макс Штирнер» (Париж, 1904 г.), что этот род индивидуализма, требуя «полного развития» – не для всех членов общества, но

только для тех, которые будут признаны самими способными, не заботясь о развитии всех, является скрытым возвратом к существующей теперь монополии досуга, обеспеченности и образования в пользу небольшого количества людей под покровительством государства. Это не что иное, как «право на полное развитие» для привилегированного меньшинства, т. е. право, которое только и может существовать при условии обеспечения этого права государством.

Действительно, допустивши даже, что подобная монополия желательна – что было бы совершенно нелепо, – она не могла бы существовать без покровительства подобающего законодательства, без власти, организованной в государстве. Таким образом, требования индивидуалистов вроде Штирнера обязательно приводят их обратно к идее государства и власти, которую они сами так хорошо критикуют. Их положение подобно положению Спенсера или школы буржуазных экономистов, известной под именем манчестерской, которые также начинают с суровой критики государства, но кончают признанием

его отправлений для поддержания монополии собственности, которой лучшим покровителем всегда было государство. Без государства монополия личной собственности и всяких «Я», воображающих себя «сверхчеловеками», невозможна.

XI. Анархия (продолжение)

Дальнейшее ее развитие. – Способы действия. – Международный союз рабочих (Интернационал). – Коммунисты-государственники и мютюэлисты (прудонианцы). – Сенсимонизм

Мы вкратце ознакомились с развитием анархической мысли, начиная с Французской революции и Годвина и дойдя до Прудона. Ее дальнейшее развитие происходило в Международном союзе рабочих, союзе, внушившем столько надежд рабочим и столько страха буржуазии в 1868–1870 гг., как раз перед началом франко-немецкой войны.

Что этот союз не был основан Марксом, как это любят утверждать марксисты, – это ясно. Известно, что он был следствием встречи делегации французских рабочих, приехавших в 1862 г. в Лондон для осмотра Второй

Всемирной выставки, с представителями английских профессиональных союзов (тред-юнионов[92]), которые вместе с присоединившимися к ним несколькими английскими радикалами встречали эту делегацию. Связь, установившаяся с этого посещения, еще более окрепла по случаю митинга сочувствия Польше в 1863 г., и в сентябре следующего 1864 г. на митинге в Сент-Мартинс Холле Союз был основан окончательно. Марксу поручили составить воззвание Союза, которое было напечатано в конце года особою брошюрою, вместе с Временным Уставом Интернационала, выработанным особым комитетом.

Уже в 1830 г., в то время, когда основывался в Англии Великий Национальный Союз всех ремесел (The Great National Trades Union), Роберт Оуэн пытался устроить Международный Союз всех ремесел.

Но скоро эту мысль пришлось оставить, так как английское правительство стало яростно преследовать Национальный Союз. Однако мысль Интернационала не была потеряна; она тлела под пеплом в Англии, нашла сторонников во Франции, и после поражения,

которое потерпела революция 1848 г., та же мысль была перенесена французскими изгнанниками в Соединенные Штаты и распространялась там французскою газетою «Интернационал».

Французские рабочие, посетившие Лондон в 1862 г., были большею частью прудонисты, т. е. мютюэлисты[93]; английские же члены рабочих союзов принадлежали главным образом к школе Роберта Оуэна. Английский оуэнизм таким образом соединился с французским мютюэлизмом вне влияния политической буржуазии; и следствием этого союза было основание сильной международной организации рабочих с целью вести борьбу, главным образом на экономической почве, и раз и навсегда порвать со всякими радикальными, чисто политическими партиями.

Этот союз двух главных направлений среди рабочих-социалистов того времени нашел поддержку в лице Маркса и других – у остатков тайной политической организации коммунистов; в нее входило тогда все, что еще оставалось от тайных обществ Барбеса[94] и Бланки[95], которые, подобно немецким тай-

ным коммунистическим обществам Вейтлинга, вели свое начало из заговора государственных коммунистов, организованного Бабефом в 1794–1795 гг.

В одной из предыдущих глав (гл. V) читатель видел, что 1856–1862 гг. были отмечены необыкновенным подъемом естественных наук и философии. Это были также годы почти всеобщего политического пробуждения радикальных идей в Европе и Америке. Оба эти движения пробуждали и рабочие массы, которые начали понимать, что им самим предстоит задача подготовить народную пролетарскую революцию. После поражения политической революции 1848 г. выступила мысль о необходимости приготовления экономической революции в среде самих рабочих. На Международную выставку 1862 г. смотрели как на великий праздник мировой промышленности, и она сделалась отправным пунктом развития в борьбе труда за свое освобождение; и когда Международный союз рабочих громко заявил о своем разрыве со всеми старыми политическими партиями и о решении рабочих взять в свои руки дело сво-

его освобождения, он повсеместно произвел глубокое впечатление.

Действительно, Интернационал начал быстро распространяться в латинских странах. Его боевая сила скоро достигла угрожающих размеров, тогда как конгрессы его федераций и ежегодные конгрессы всего Интернационала давали рабочим возможность самим обсуждать, в чем должна состоять социальная революция и как могла бы она совершиться. Они, таким образом, побуждали созидательные силы рабочих масс изыскивать новые формы объединения для производства, потребления и обмена.

В ту пору повсеместно думали, что в Европе скоро разразится великая революция, а между тем представления, более или менее ясного, относительно политических форм, которые могла бы принять революция, и относительно ее первых шагов – не существовало. Напротив того, в самом Интернационале встречались и сталкивались несколько совершенно противоположных течений социализма.

Господствующей мыслью в союзе рабочих

была мысль о прямой, непосредственной борьбе труда против капитала на экономической почве, т. е. освобождение труда не при помощи законодательства, на которое согласилась бы буржуазия, а самими рабочими, которые силою будут вырывать у капиталистов и в конце концов заставят их сдать-ся вполне. «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих!» – гласило основное правило Интернационала, и теперь это основное начало снова возродилось в синдикалистском движении, которое тоже принимает интернациональный характер.

Но как, в какой форме совершится освобождение труда из-под ига капиталистов? Какую новую форму могло бы принять устройство производства и обмена? По этому вопросу социалисты 1864–1870 гг. были так же несогласны между собой, как и в 1848 г., когда представители различных социалистических учений встретились в Париже, в Учредительном собрании провозглашенной в феврале 1848 г. Республики.

Подобно своим французским предшественникам 1848 г., которых стремления так хоро-

шо изложил Консидеран[96] в своей книге «Социализм перед лицом Старого Света», социалисты Интернационала точно так же не могли сойтись под одним знаменем. Они колебались в выборе между различными решениями, и ни одно из них не было ни достаточно правильно, ни достаточно очевидно, чтобы объединить умы; причем объединение было тем более трудно, что сами социалисты еще не расстались со своим уважением к капиталу и государственной власти.

Бросим же беглый взгляд на эти различные течения. В Интернационале встречались, во-первых, прямые наследники якобинства Великой Французской революции – т. е. заговора Бабефа – в лице тайных обществ французских «коммунистов» (бланкистов) и немецкого Коммунистического Союза, основанного Вейтлингом[97]. И те и другие жили традициями ярого якобинства 1793 г. Известно, что в 1848 г. они все еще мечтали завладеть в один прекрасный день политической властью в государстве посредством заговора – может быть, также при помощи диктатора – и установить «диктатуру пролетариата» по

образцу якобинских обществ 1793 г., но на этот раз в пользу рабочих. Эта диктатура, думали они, установит коммунизм посредством законодательства.

Правительству, говорили они, достаточно будет провести законодательством всевозможные стеснительные законы и налоги, которые сделают существование собственников настолько затруднительным, что они сами скоро будут счастливы избавиться от собственности и передать ее государству. Тогда государство будет посылать «армии земледельцев», чтобы обрабатывать поля. Промышленные заведения, устроенные по тому же полувоенному образцу, будут тоже вестись государством[98].

Такие же взгляды были распространены среди социалистов и во время основания Интернационала, и они продолжали находить сторонников позднее: во Франции среди бланкистов и в Германии – у лассальянцев и у социал-демократов.

С другой стороны, английские рабочие школы Роберта Оуэна держались взглядов, прямо противоположных этим якобинским

воззрениям. Они положительно отказывались рассчитывать на силу государства как для совершения революции, так и в деле созидания социалистического строя. Они рассчитывали, главным образом, на деятельность объединенных рабочих союзов (тредюнионов). При этом английские последователи Оуэна не стремились к государственному коммунизму. Подобно французским последователям Фурье, они придавали большое значение свободно составленным и объединенным между собой общинам и группам, которые сообща владели бы землей и фабриками, но сами организовали бы свое производство и сдавали бы то, что сработают, в общественные склады для продажи.

Вообще, производители могли бы работать как большими или малыми группами, так и в одиночку, сообразно требованиям производства. Вознаграждение же за работу в общинах и группах, так же как и обмен между общинами, производились бы марками труда. Эти марки, или чеки, означали бы количество рабочих часов, проведенных в работе на общинных полях или на фабриках и в мастерских, и

каждая община оплачивала бы такими марками продукты, произведенные индивидуально и сданные каждым производством в общинные склады для обмена.

Та же мысль вознаграждения марками труда была, как мы уже видели, принята Прудоном и мютюэлистами в их планах преобразования общества. Они так же отрицали вмешательство государственной власти в обществе, которое родилось бы из революции. Они говорили, что социальная революция сделает хозяйственную деятельность государства ненужной, так как весь обмен может производиться Национальными банками и расчетными конторами (Clearing House), а воспитание, санитарные мероприятия, пути сообщения, промышленные предприятия и т. д. были бы в руках независимых общин.

Наконец, та же мысль о марках труда, заменяющих деньги при обмене, но уже в государстве, ставшем собственником всех земель, копей, железных дорог, заводов, проводилась в 1848 г. двумя замечательными писателями, Пеккером и Видалем[99], которые называли свою систему коллективизмом. Оба упорно

замалчиваются теперь социалистами, тем легче, что их труды, изданные в конце сороковых годов, сохранились лишь в весьма небольшом количестве экземпляров[100]. Видаль был секретарем Люксембургской Комиссии, а Пеккер был членом Учредительного собрания 1848 г. и написал тогда об этом предмете замечательный трактат. Он в нем подробно изложил свою систему – даже в виде законов, которые собранию достаточно было бы, по его словам, провести, чтобы совершить социальную революцию[101].

Во время основания Интернационала имена Пеккера и Видаля, по-видимому, были совершенно забыты даже их современниками, но мысли их были очень распространены, и скоро они стали еще более распространяться, в особенности в Германии, под именами «научного социализма», «марксизма» и «коллективизма»[102].

Социалистические воззрения в Интернационале. – Сенсимонизм

Наряду с только что упомянутыми школами социализма была также, как известно, школа сенсимонистов. Главной своей силы

она достигла, правда, в 30-х гг. XIX в., но и гораздо позже продолжалось ее глубокое влияние на социалистические воззрения членов Интернационала.

Многие блестящие писатели – мыслители, политики, историки, романисты, а также промышленники развились в 30-х и 40-х годах под влиянием сенсимонизма. Достаточно назвать здесь Огюста Конта в философии, Огюстена Тьерри между историками и Сисмонди среди экономистов. Все социальные реформаторы середины XIX в. испытали на себе влияние этой школы.

Движение человечества вперед, говорили сенсимонисты, до сих пор состояло в том, что рабский труд превратился в крепостной труд, а крепостной – в наемный. Но недалеко время, когда станет необходимо уничтожить и денежную зависимость труда, а с этим вместе, в свою очередь, должна будет исчезнуть и частная собственность на все необходимое для производства. В этом, прибавляли они, не надо видеть ничего невозможного, потому что Собственность и Власть уже претерпели немало изменений в исторические времена.

Новые изменения оказываются нужными, и они обязательно должны совершиться.

Уничтожение частной собственности, говорили сенсимонисты, могло бы произойти постепенно, при помощи ряда мероприятий (напомним, что Великая Французская революция уже положила им начало). Эти мероприятия позволили бы, например, государству при помощи больших налогов на наследство брать себе все большую и большую часть собственности, передаваемой одним поколением другому. Таким образом количество собственности, переходящей в частные руки, постоянно уменьшалось бы, и постепенно частная собственность исчезла бы, так как сами богатые убедились бы, что им выгодно отказаться от преимуществ, созданных в их пользу исчезающей цивилизацией. Тогда добровольный отказ богатых от собственности и уничтожение наследования законодательным путем превратили бы сенсимонистское государство в единственного собственника земли и промышленности, в высшего распорядителя работами, никому не подчиненного начальника и направителя искусств, науки и

промышленности.

Каждый член общества работал бы в одной из этих областей и был бы «чиновником» сенсимонистского государства. Управление же представляло бы из себя иерархию, т. е. лестничную организацию «лучших людей», – лучших в науках, искусствах и промышленности.

Распределение продуктов происходило бы согласно такому положению: «Каждому – согласно его способностям, каждому таланту – согласно его произведениям».

Кроме этих планов будущего сенсимонистская школа и получившая в ней свое начало позитивная философия дали XIX веку ряд замечательнейших исторических трудов, в которых происхождение власти, частной собственности и государства рассматривались с действительно научной точки зрения. Эти работы и до сих пор сохранили все свое значение.

В то же время сенсимонисты подвергли строгому разбору политическую экономию так называемой классической школы, т. е. школы Адама Смита и Рикардо, которая поз-

же стала известна под именем «Манчестерской школы» и проповедовала так называемое «невмешательство государства».

Наконец, Огюст Конт, основатель «позитивной», т. е. естественно-научной философии, охватывающей все явления как в жизни природы, так и в постепенном развитии (эволюции) человечества, был сперва учеником и последователем Сен-Симона.

Но, борясь против промышленного индивидуализма и конкуренции, сенсимонисты впадали в ту же ошибку, против которой они боролись вначале, когда выступили против военного государства и его иерархических ступеней. Они кончили признанием всемогущества государства и основывали свой порядок, как это уже заметил Консидеран, на неравенстве и власти: на правительственной иерархии, которой они даже хотели придать духовный характер.

Таким образом, сенсимонисты 40-х годов, признавая верховную власть государства так же, как признавали ее якобинские коммунисты, отличались от них только той долей личного участия, которую они предоставляли

производителю в общем производстве товаров. Несмотря на прекрасные работы по политической экономии, сделанные многими из них, они еще не дошли до представления, что богатства производятся обществом – всеми вместе, а не отдельными лицами. Иначе они поняли бы, что нет возможности справедливо определить, какая часть из общего количества произведенных богатств должна быть предоставлена каждому отдельному производителю.

По этому пункту существовало глубокое разногласие между коммунистами и сенсимонистами, но зато они вполне сходились в том, что ни те ни другие не придавали значения отдельной личности, ее правам и желаниям. Все, что предоставляли ей коммунисты, ограничивалось правом избрания своих чиновников и правителей, и сенсимонисты тоже нехотя признали это право после 1848 г. Раньше же они не признавали даже права выборов. Но для коммунистов, как и для сенсимонистов, равно как и для современных нам коллективистов и социал-демократов, всякое отдельное лицо есть только чиновник госу-

дарства.

В лице Кабе, написавшего «Путешествие в Икарию»[103] и основавшего коммунистические колонии в Америке, якобинский коммунизм и подавление личности нашли полнейшее выражение. Действительно, в «Путешествии» Кабе мы везде встречаем власть, государство – вплоть до кухни в каждом хозяйстве. Не довольствуясь составлением «поваренного руководства», которое будет получать каждая семья, Икарийская Республика утверждает список одобренных съестных продуктов, заставляет своих земледельцев и рабочих производить их и раздает их своим подданным. «А так как, – писал Кабе, – никто не может иметь других съестных припасов, кроме раздаваемых республикою, то ты понимаешь, что никто не может есть ничего, что не было бы одобрено ею» («Путешествие в Икарию», 5-е французское издание, 1848 г., с. 52).

Заботливость правительства доходит до того, что Комитет определяет, сколько раз в день должно есть, в какое время и как долго, и назначает количество кушаний, их состав и

порядок, в котором они должны подаваться. Что же касается одежды, то она заказывается Комитетом по определенным образцам, причем каждый носит форму, соответствующую его общественному положению. Рабочие, всегда делающие одну и ту же вещь, составляют полк. «До такой степени господствуют порядок и дисциплина!» – восклицает с восторгом Кабе.

Нечего и говорить, что никто ничего не может печатать, не получив на это разрешение Республики, и то только после сдачи соответствующего экзамена и полученного по всем правилам разрешения быть писателем.

Сомнительно, чтобы утопия Кабе, вся в целом, имела многочисленных сторонников в Интернационале, но дух ее оставался. Положительно верно – и мы сами очень хорошо это чувствовали во время споров, которые вели с государственниками, в особенности с немецкими коммунистами, – что даже строгий регламент, о котором мы только что упоминали и который нам теперь кажется таким бессмысленным, был тогда принимаем (в 70-е гг., особенно немцами) за выражение глубо-

кой мудрости. На наши возражения нам отвечали словами Кабе:

«Конечно, коммуна непременно образом связывает и лишает свободы действий, но это потому, что ее главная обязанность – дать богатство и счастье. Чтобы избежать двойной затраты труда и напрасных убытков, чтобы достигнуть возможно большей производительности в земледелии и промышленности при возможно меньшей затрате труда, необходимо, чтобы общество все имело в своих руках, все бы направляло и всем бы распоряжалось; надо, чтобы оно подчиняло своим правилам, своим порядкам, своей дисциплине все воли, все действия». Добрый гражданин должен даже «удерживаться от всего, что не предписано» («Путешествие в Икарию», 5-е французское издание, с. 403).

Хуже всего то, что у государственников оставалось еще убеждение, что в конце концов, как сказал Кабе, «коммунизм так же возможен при монархе, как при президенте республики». Эта-то мысль и уготовила путь для государственного переворота Наполеона III и затем, много позже, позволяла социали-

стам-государственникам относиться так легко к буржуазной реакции.

Наконец, мы должны также упомянуть о школе Луи Блана, которая во время основания Интернационала имела многочисленных сторонников во Франции и Германии, где она была представлена сплоченною массою лас-сальянцев. Эти социалисты, такие же сторонники государства, как и предыдущие, считали, что переход промышленной собственности из рук капитала в руки труда может произойти, если правительство, порожденное революцией и вдохновляемое социалистическими воззрениями, поможет рабочим устроить обширные рабочие производительные кооперативы, которым правительство же даст займы необходимые средства. Эти кооперативы были бы соединены в обширную систему национального производства. Как временная мера могло бы быть принято денежное вознаграждение, равное для всех, но конечною целью было бы распределение продуктов согласно потребностям каждого производителя.

В сущности, мы видим, что социализм Луи

Блана был, как говорит совершенно верно Консидеран, «коммунистический сенсимо-низм», управляемый демократическим государством.

Опираясь на обширную систему национального кредита, поддерживаемые государственными заказами, рабочие кооперативы, которые хотел основать Луи Блан, получая деньги займы от государства по очень низкому проценту, были бы в состоянии конкурировать с капиталистической промышленностью. Они скоро вытеснили бы капиталистов из производства и сами стали бы на их место.

Они также могли бы развиваться и в земледелии. Что же касается до рабочих, то они никогда не должны были бы терять из виду этого экономического, социалистического идеала и не должны были бы увлекаться просто демократическим идеалом буржуазных политиков.

Все эти воззрения, выработавшиеся под влиянием социалистической пропаганды в сороковые года, равно как под влиянием февральского и июньского восстаний 1848 г., бы-

ли, с различными изменениями в подробностях, широко распространены в Международном союзе рабочих. Различия в воззрениях были большие, но, как мы уже видели, сторонники всех этих школ сходились в одном: все они признавали, что в основании будущей революции должно будет лежать сильное правительство, которое будет держать в своих руках хозяйственную жизнь страны. Все они признавали централизованное и иерархическое устройство государства.

К счастью, наряду с этими якобинскими воззрениями, в противовес им, существовало также и учение фурьеристов, к разбору которого мы теперь перейдем.

XII. Анархия (продолжение)

Социалистические воззрения в Интернационале. – Фурьеризм

Фурье, современник Великой Революции, уже не был в живых, когда основывался Интернационал. Но его мысли были так широко распространены его последователями – в особенности Консидераном, который придал им известный научный характер, – что сознательно или бессознательно самые обра-

зованные члены Интернационала находились под влиянием фурьеризма[104].

Что же касается программы практических действий в «Коммунистическом Манифесте», то, как это показал профессор Андлер, образцом для нее послужила программа тайных коммунистических обществ, французских и немецких, которые продолжали дело тайных обществ Бабефа и Буонарроти. Изучение книги Консидерана «Социализм перед лицом старого света» (*Le Socialisme devant le vieux monde*) нельзя не порекомендовать серьезному вниманию современных социалистов.

Чтобы понять влияние фурьеризма в те годы, надо заметить, что господствующею мыслью Фурье не было объединение капитала, труда и таланта для производства богатств, как это обыкновенно утверждается в книгах по истории социализма. Его главной целью было положить конец частной торговле, которая ведется в целях наживы и которая неизбежно приводит к крупным, недобросовестным спекуляциям. Чтобы достигнуть этого, он предлагал создать свободную национальную организацию для обмена всяких

продуктов. Таким образом, Фурье вновь поднял мысль, которую уже пыталась осуществить Великая Революция в 1793–1794 гг., после того как парижский народ изгнал жирондистов из Конвента и Конвент принял закон о максимуме цен на предметы первой необходимости.

Как говорил Консидеран в своей книге «Социализм перед лицом старого света», Фурье видел средство для прекращения всех безобразий современной эксплуатации «в установлении непосредственных сношений между производителем и потребителем, – в устройстве общинных посреднических агентур, являющихся складами, но не владельцами продуктов, которые они получают непосредственно с места их производства и передают непосредственно потребителям».

В таких условиях цена товаров перестала бы служить предметом спекуляции. Она могла бы повышаться только на то, во что обойдутся «издержки по перевозке, хранению и управлению, тяжесть которых почти нечувствительна» (Консидеран, с. 39).

Уже ребенком Фурье, помещенный родите-

лями в торговое заведение, принес клятву ненависти к торговле, худые стороны которой он близко узнал из собственного опыта. И с тех пор он дал себе слово бороться против нее. Позже, во время Великой Революции, он был свидетелем ужасающих спекуляций сперва при продаже и покупке национальных имений, отобранных у церкви и дворян, а потом – в невероятном повышении цен на все продукты во время войн Революции против европейских монархий. Он также знал из опыта, что ни якобинский Конвент, ни террор с его беспощадной гильотиной не в силах были прекратить эти спекуляции. Тогда он понял, что отсутствие национальной, общественной организации обмена, по крайней мере для предметов, необходимых для жизни, могло сделать недействительными для народа все благодетельные последствия экономической революции, произведенной отобранием земель у духовенства и дворянства в пользу демократии. Тогда же он должен был увидеть необходимость национализации торговли и оценить попытку, сделанную в этом направлении народом, «санкюлотами», в

1793–1794 гг. Он сделался ее апостолом (...).

Свободная община – хранительница продуктов, произведенных ее членами, даст, по его мнению, разрешение великой задачи устройства обмена и распределения предметов первой необходимости. Но община не должна быть собственницей складочных магазинов, подобно теперешним кооперативам. Она должна быть только хранительницей – агентством, куда продукты сдаются для их распределения, без всякого права взимать подать с потребителей и без права спекуляции на изменениях цен.

Мысль Фурье разрешить социальную задачу, организуя потребление и обмен на общественном начале, уже делает из него одного из самых глубоких социалистических мыслителей.

Но он не остановился на этом. Он, кроме того, предположил, что все члены земледельческой или промышленной, или, вернее сказать, смешанной земледельческо-промышленной общины, составят фалангу. Они соединят в одно свои земли, рабочий скот, инструменты и машины и будут обрабатывать

земли или работать на фабриках, считая, что земли, машины, фабрики и т. д. принадлежат им всем сообща, — но ведя при этом строгий счет, насколько каждое отдельное лицо увеличило общий капитал.

Два главных правила, говорил он, должны быть соблюдаемы в фаланге. Во-первых, не должно быть неприятных работ. Всякая работа должна быть так оборудована, так распределена и настолько разнообразна, чтобы всегда быть привлекательной. Во-вторых, в обществе, устроенном на основаниях свободного сотрудничества, не должно быть допущено никакого принуждения, да и не будет причин, делающих нужным принуждение.

При наличности сколько-нибудь внимательного, вдумчивого отношения к личным нуждам каждого члена фаланги и при некоторой снисходительности к особенностям различных характеров, а также соединяя труд земледельческий, промышленный, умственный и художественный, члены фаланги скоро убедятся, что даже людские страсти, которые, при современном устройстве, являются часто злом и опасностью (что в свою очередь всегда

приводится в оправдание применения силы), могут быть источником дальнейшего развития прогресса. Достаточно ближе узнать сущность этих страстей и найти им общественное применение. Новые предприятия, опасные приключения, общественное возбуждение, жажда перемены и т. д. дадут этим страстям необходимый выход. Действительно, всякий знает, насколько страсть к азарту и непривычка к регулярному труду бывают причинами воровства, грабежа и других поступков, наказываемых теперь уголовными законами. В разумно устроенном обществе самые эти страсти нашли бы себе лучший исход.

Правда, что Фурье платил еще дань государственным идеям. Таким образом он признавал, что для того, чтобы сделать опыт с его сообществом, чтобы испытать сперва «простую гармонию», которая будет предтечей «настоящей гармонии, представитель верховной власти мог бы сослужить службу». «Можно было бы, например, предоставить главе Франции честь вывести род человеческий из социального хаоса, ставши основателем гар-

монии и освободителем земного шара», – говорил он в своем первом сочинении, и ту же мысль он повторил позже, в 1808 г., в своей «Теории четырех движений». Впоследствии он даже обращался с этой целью к королю Людовику Филиппу (Пелларэн Ш. Фурье, его жизнь и его учение; 4-е французское издание, с. 114). Но все это относилось только к первому подготовительному опыту.

Что же касается того общества, которое он называл «настоящею гармониею» или всемирною гармониею, то в ней он не давал места никакому правительству. Эта гармония, говорил он, не может быть вводимая «по частям». Превращение должно произойти одновременно в общественных, политических, хозяйственных и нравственных отношениях людей. Когда Фурье начинал разбирать идею государства, он был так же последователен в своей критике, как и мы теперь. «Политический беспорядок, – говорил он, – является одновременно и следствием, и выражением хозяйственного (социального) беспорядка. Неравенство становится крайнею несправедливостью. Государство, во имя которого действует

власть, по происхождению и по основным своим началам является, несомненно, слугою привилегированных классов и их защитником против остального населения». И так далее.

Вообще в «Гармоническом обществе» Фурье, которое будет создано полным проведением в жизнь его мыслей, нет места принуждению.

Фурье писал непосредственно после поражения Великой Революции и потому неизбежно склонялся к мирным разрешениям социального вопроса. Он настаивал на необходимости признать в принципе совместную деятельность капитала, труда и таланта. Вследствие этого ценность каждого продукта, произведенного фалангой, должна была быть разделена на три части, из которых одна часть (половина или же семь двенадцатых всей суммы) служила бы вознаграждением труда, вторая часть (три двенадцатых) поступала бы в пользу капитала, а третья часть (две или три двенадцатых) – в пользу таланта.

Однако большинство приверженцев Фурье

в Интернационале не придавали большого значения этой части его системы. Они понимали, что тут сказывалось влияние того времени, когда он писал. И наоборот, они особенно помнили следующие основные положения учения Фурье:

1. Свободная община, т. е. небольшое земельное пространство, вполне независимое, делается основанием, единицей в новом социальном обществе.

2. Община является хранительницей всех продуктов, произведенных внутри ее, и посредницей при всякого рода обмене с другими общинами. Она также представляет собой союз потребителей, и весьма возможно, что в большинстве случаев она будет также единицей производства, которую, впрочем, может быть и профессиональная группировка (т. е. рабочий союз) или же союз нескольких производительных артелей.

3. Общины свободно объединяются между собой, чтобы составить федерацию, область, народ.

4. Труд должен быть сделан привлекательным: без этого он всегда ведет к рабству. И

раньше, чем это будет сделано, невозможно никакое решение социального вопроса. Достигнуть же этого вполне возможно (две глубокие истины, слишком легко забываемые теперь). Труд должен и может быть гораздо производительнее, чем теперь.

5. Для поддержания порядка в подобного рода общинах не требуется никакого принуждения: вполне достаточно влияния общественного мнения.

Что касается распределения произведенных продуктов и потребления, то относительно этого мнения еще очень разделялись.

После основания Интернационала социалистические идеи имели успех прежде всего на конгрессах в Брюсселе в 1868 г. и в Базеле в 1869 г. Интернационал высказался громадным большинством за коллективную собственность на землю, годную к обработке, на леса, железные дороги, каналы, телеграфы и т. д., рудники, а также машины. Приняв коллективную собственность и экспроприацию как средство ее достижения, члены Интернационала – противогосударственники приняли название коллективистов, чтобы ясно от-

делить себя от государственного и централизаторского коммунизма Маркса и Энгельса и их сторонников и от такого же направления французских коммунистов, державшихся государственных традиций Бабефа и Кабе[105].

В брошюре «Мысли о социальной организации», опубликованной в 1876 г. Джеймсом Гильомом, который сам принимал активное участие в пропаганде коллективизма, а также в его главном сочинении «Интернационал. Документы и воспоминания» (4 тома, появившихся в Париже в 1905–1910 гг.) и, наконец, в его статье «Коллективизм в Интернационале», которую Гильом написал недавно для «Синдикалистской энциклопедии», интересующиеся могут найти все детали о точном смысле, который придавали слову «коллективизм» наиболее деятельные члены федералистского Интернационала – Варлен, Гильом, Де-Пап, Бакунин и их друзья. Они объявили, что в противоположность государственному коммунизму они подразумевают под словом «коллективизм» коммунизм негосударственный, федералистский, или анархический. И называя себя коллективистами, они прежде

всего подчеркивали, что они противогосударственники. Они не желали предрешать форму, которую примет потребление в обществе, совершившем экспроприацию. Для них было важно стремление не замыкать общество в суровые рамки, они желали сохранить для более передовых групп самую широкую свободу в этом отношении. К несчастью, идеи о коллективной собственности, брошенные в Интернационале, не имели времени распространиться в рабочих массах, когда разразилась франко-немецкая война, десять месяцев спустя после Базельского конгресса, – так что ни одной серьезной попытки в этом направлении не было сделано во время Парижской Коммуны. А после того как Франция и Коммуна были раздавлены, федералистский Интернационал должен был сосредоточить все свои силы на поддержании главной своей идеи – противогосударственной организации рабочих сил в целях непосредственной борьбы труда против капитала, чтобы прийти к социальной революции. Волей-неволей вопросы будущего должны были остаться на втором плане, и если идеи коллективизма, понимае-

мого в смысле анархического коммунизма, продолжали распространяться некоторыми приверженцами, то они наталкивались, с одной стороны, на понятия государственного коллективизма, развитые марксистами после того, как они начали пренебрегать идеями «Коммунистического Манифеста», и с другой стороны – на государственный коммунизм бланкистов и на весьма распространенные предрассудки против коммунизма вообще, укрепившиеся в рабочих массах латинских стран после 1848 г. под влиянием сильной критики государственного коммунизма, выдвинутой Прудоном. Это сопротивление было так сильно, что в Испании, например, где федералистский Интернационал был в тесных сношениях с широкой федерацией рабочих профессиональных союзов, в то время и гораздо позже коллективизм истолковывали как подтверждение коллективной собственности, просто прибавляя к нему слова «и анархия» (*anarquía* у *colectivismo*), чтобы только подкрепить противогосударственную идею, не предвещая, каков будет способ распределения – коммунистический или иной, –

который мог быть принят каждой отдельной группой производителей и потребителей.

Наконец, что касается способа перехода от современного общества к обществу социалистическому, то деятели Интернационала не придавали большого значения тому, что по этому поводу говорил Фурье. Они чувствовали, что в Европе развивается положение дел, ведущее к революции, и видели, что приближается революция более глубокая и более общая, чем революция 1848 г. И когда она начнется, говорили они, рабочие должны сделать все от них зависящее, чтобы отнять у капитала захваченные им монополии и передать их в руки самих производителей, т. е. рабочих, не дожидаясь приказов правительства.

Толчок, данный Парижской Коммуной. – Бакунин

Из короткого обзора, данного в предшествующих главах, уже можно представить себе, на какой почве развивались анархические идеи в Интернационале.

Мы видели, какую смесь централистического и государственного якобинства с стремлением к местной независимости и федера-

ции представляли тогда понятия деятелей Международного союза рабочих. И то и другое течение мысли – мы теперь это знаем – имело своим источником Великую Французскую революцию. Централистические идеи происходили по прямой линии от якобинства 1793 г., а идеи местной независимой деятельности были наследием крупной созидательной и разрушительной революционной работы коммун (общин) 1793–1794 гг. и их отделов (секций) в больших городах.

Надо сказать, однако, что из этих двух течений якобинское, без сомнения, преобладало. Почти все буржуазные интеллигенты, вошедшие в Интернационал, мыслили как государственники-якобинцы, а рабочие находились под их влиянием.

Нужно было, чтобы совершилось событие такой громадной важности, как провозглашение Парижской Коммуны и геройская борьба парижского народа против буржуазии, чтобы дать новое направление революционной мысли, по крайней мере в латинских странах, особенно в Испании, Италии и части французской Швейцарии.

В июле 1870 г. началась ужасная франко-прусская война, в которую бросились Наполеон III и его советники, чтобы спасти Империю от неизбежной республиканской революции. Война привела к жестокому разгрому Франции, к гибели Империи, к временному правительству Тьера и Гамбетты и к Парижской Коммуне, за которой последовали подобные же попытки в Сент-Этьене, Нарбонне и других южных городах Франции и, позднее, в Барселоне и Картагене в Испании.

Для Интернационала – по крайней мере, для тех его членов, которые умели мыслить и извлекать пользу из уроков жизни, – происшедшие события послужили уроком. Общинные (коммунальные) восстания были настоящим откровением. Социалисты видели, как отдельные города объявили свою независимость от государства и свое право самим начинать новую жизнь, не дожидаясь, пока вся нация с ее отсталыми областями согласится тоже выступить на новый путь; и они поняли, что, совершаясь под красным знаменем социальной революции, которое парижские рабочие ценой своей жизни отчаянно защи-

щали на баррикадах, восстания городов указали, какую должна быть, какую, вероятно, будет политическая форма будущей революции среди латинских народностей.

Не демократическая республика, как то думали в 1848 г., а Община свободная, независимая и, весьма вероятно, коммунистическая.

Понятно, что спутанность мысли, царившая тогда в умах относительно того, какие политические и экономические меры нужно принять во время народной революции, чтобы обеспечить ей успех, дала себя почувствовать и во время Парижской Коммуны. Там царила та же умственная неопределенность, которую мы видели в Интернационале.

Якобинцы, т. е. правительственные централисты, с одной стороны, и коммунисты-федералисты, т. е. общинники, с другой, были одинаково представлены в парижском восстании, и очень скоро в Коммуне между ними стали происходить несогласия. Самый воинствующий элемент находился среди якобинцев и бланкистов. Но Бланки сидел в тюрьме, а среди бланкистских главварей буржуа по большей части – уже немного оста-

лось от коммунистических идей их предшественников, последователей Бабефа. Для них экономический вопрос был чем-то таким, чем надо будет заняться потом, после того как восторжествует Коммуна, а так как это мнение было с самого начала очень распространено, то народные коммунистические стремления не успели развиться настоящим образом. Тем более что и сама Коммуна, провозглашенная, когда немецкие армии стояли вокруг Парижа, просуществовала всего 70 дней [106].

При таких условиях поражение не заставило себя ждать, и беспощадная месть трусливой, напуганной и злобной буржуазии еще раз доказала, что торжество народной коммуны может быть достигнуто только в том случае, если народные массы, побуждаемые потребностью завоеваний на экономической почве, со страстью вступят в движение.

Чтобы общинная политическая революция могла восторжествовать, надо уметь провести одновременно революцию экономическую.

Что Парижская Коммуна сделала невоз-

возможным восстановление монархии, которого хотела буржуазия, – в этом нет сомнения. Но в то же время она дала другой важный урок – она сделала то, что революционный пролетариат латинских стран стал яснее понимать с тех пор истинное положение вещей.

Свободная община[107] – такова политическая форма, которую должна будет принять социальная революция. Пускай вся страна, пускай все соседние страны будут против такого образа действий, но раз жители данной общины и данной местности решат ввести обобществление потребления предметов, необходимых для удовлетворения их потребностей, а также обобществление обмена этих продуктов и их производства – они должны осуществить это сами, у себя, на деле, не дожидаясь решений в этом смысле национального парламента. И если они это сделают, если они направят свои силы на это великое дело, то они найдут внутри своей общины такую силу, которой они никогда бы не нашли, если бы захотели увлечь за собой всю страну со всеми ее частями – отсталыми, враждебными или безразличными. Лучше открыто бороться

против них, чем тянуть их за собой, как ядро, привязанное к ногам революции.

Более того, мы также считаем, что если не нужно центральное правительство, чтобы приказывать свободным общинам, если национальное правительство уничтожается и единство страны достигается помощью свободной федерации общин, – в таком случае таким же лишним и вредным является и центральное городское управление. Дела, которые приходится решать внутри отдельной общины, даже в большом городе, в действительности гораздо менее сложны, интересы граждан менее разнообразны и противоположны, чем внутри страны, хотя бы она была не больше Швейцарии или одного из ее кантонов. Федеративный принцип, т. е. вольное объединение кварталов, промышленных союзов потребления и обмена и т. д., вполне достаточен, чтобы установить внутри общины согласие между производителями, потребителями и другими группами граждан.

Парижская Коммуна дала ответ еще на один вопрос, который мучил каждого истинного революционера. Два раза Франция дела-

ла попытку провести социальную революцию, оба раза при помощи центрального правительства: первый раз в 1793–1794 гг., когда после изгнания жирондистов из Конвента Франция попробовала ввести «действительное равенство», т. е. равенство настоящее, экономическое – при помощи строгих законодательных мер, и второй раз в 1848 г., когда она попробовала дать себе через Национальное собрание «социал-демократическую республику». И оба раза она потерпела полнейшую кровавую неудачу.

Теперь сама жизнь нам подсказывала новое решение – «Свободная община». Община сама должна произвести революцию в своих пределах в то же время, когда она будет освобождаться от центрального государства. И по мере того как выяснилось в умах это решение, стал развиваться новый идеал: анархия [108].

Мы тогда поняли, что в книге Прудона «Общее понятие о революции в девятнадцатом веке» заключалась глубоко практичная мысль: идея анархии. И мысль передовых людей латинских народностей начала работать

В этом направлении.

Увы, только в латинских странах – во Франции, Испании, Италии, в романской Швейцарии и в валлонской части Бельгии. Немцы, наоборот, вынесли из своей победы над Францией совсем другое заключение: они пришли к преклонению перед государственной централизацией. Они еще остаются запутанными в робеспьеровской фазе и преклоняются перед Клубом якобинцев, как его описывают (наперекор действительности) якобинские историки.

Государство с сильно сосредоточенною в нем властью и враждебное всякому намеку на национальную независимость, сильная лестничная централизация чиновничества и сильное правительство – вот к каким выводам пришли немецкие социалисты и радикалы. Они не хотели даже понять, что их победа над Францией была победой многочисленной армии (свыше миллиона солдат), возможной при всеобщей воинской повинности, над малочисленной французской армией (420 000), собранной при существовавшем тогда во Франции рекрутском наборе; что победа была

одержана главным образом над разлагающею Вторую империю, когда ей уже угрожала революция, – революция, которая принесла бы пользу всему человечеству, если бы ей не помешало вторжение немцев во Францию.

Таким образом, Парижская Коммуна дала толчок идее анархизма среди латинских народов.

С другой стороны, государственные стремления в Главном совете Интернационала, обозначаясь все сильнее и угрожая всему Интернационалу, укрепили этим анархические течения; независимость национальных федераций была в нем основным началом, причем Главный совет, существовавший только для облегчения сношений, не должен был иметь никакой власти. Между тем в 1872 г., после поражения Франции и Коммуны, Главный совет Интернационала под руководством Маркса и Энгельса, которых поддержали в этом французские бланкисты, эмигрировавшие в Лондон после Парижской Коммуны, воспользовался данными ему правами, чтобы произвести насильственный переворот.

Созвавши вместо всеобщего, международ-

ного съезда небольшую «Конференцию» из своих приверженцев, Совет заменил в программе действий Союза прямую борьбу труда против капитала агитацией в буржуазных парламентах. Этот переворот убил Интернационал, но открыл многим глаза. Даже самые доверчивые увидали, как глупо поручать ведение своих дел правительству, хотя бы оно было избрано на таких демократических началах, как это было при избрании Главного совета Интернационала. Таким образом, федерации Испанская, Итальянская, Юрская, Валлонская и одна английская секция восстали против власти Главного совета.

В лице Бакунина анархическое направление, начавшее развиваться в Интернационале, нашло могучего и страстного защитника. Вокруг Бакунина и его юрских друзей быстро сплотился небольшой круг молодых швейцарцев, итальянцев и испанцев, который дал более широкое развитие его мыслям.

Пользуясь своими широкими познаниями в истории и философии, Бакунин дал обоснование современному анархизму в целом ряде сильных брошюр, статей и писем.

Он храбро выступил с мыслью о совершенном уничтожении государства со всем его устройством, его идеалом и его целями. В свое время, в прошлом, государство являлось исторической необходимостью. Это было учреждение, роковым образом развивавшееся из влияния, приобретенного религиозными кастами. Но теперь полнейшее уничтожение государства является в свою очередь исторически необходимым, потому что государство — это отрицание свободы и равенства; потому что оно только портит все, за что принимается, даже тогда, когда хочет провести в жизнь то, что должно служить на пользу всем.

Каждый народ, как бы мал он ни был, каждая община, а в общине все профессиональные, производительные и потребительные союзы должны иметь возможность свободно устроиться, как они это понимают, поскольку они не угрожают своим соседям. То, что на политическом наречии называется «федерализмом» и «автономией», еще не достаточно; это только слова, которые прикрывают власть централизованного государства. Полнейшая независимость общины, союз свободных об-

щин и социальная революция внутри общины, т. е. корпоративные группировки людей для производства, которые заменят государственную организацию существующего теперь общества, – вот идеал, который, как показал Бакунин, встает теперь перед нашею общественностью по мере того, как мы выходим из мрака прошедших веков. Человек начинает понимать, что он не будет совершенно свободен, пока в такой же степени не будет свободно все вокруг него.

В своих экономических взглядах Бакунин был полнейшим коммунистом, но, по уговору со своими друзьями федералистами из Интернационала, он называл себя анархическим коллективистом, отдавая дань недоверию, которое вызвали к себе во Франции коммунисты-государственники. Однако его коллективизм, конечно, не был коллективизмом Видаля, Пеккера, ни их нынешних последователей, которые стремятся просто к государственному капитализму. Для него, как и для его друзей, коллективизм означал общее владение всем, что служит для производства, не определяя заранее, в какой форме будет про-

изводиться вознаграждение труда среди различных групп производителей: примут ли они коммунистическое решение, или же предпочтут марки труда, или равную для всех поденную заработную плату, или какое-либо другое решение.

При своих анархических взглядах он был одновременно горячим пропагандистом социальной революции, скорое пришествие которой в то время предвидело большинство социалистов и которую он горячо проповедовал в своих письмах и сочинениях.

XIII. Анархия (продолжение) ***Анархическое учение в его современном виде***

Если накануне 1848 г. и в последующие годы, вплоть до Интернационала, возмущение против государства принимало форму возмущения отдельной личности против общества и его условной нравственности и проявлялось главным образом среди молодого поколения буржуазии, то теперь, в рабочей среде, оно приняло более серьезный характер. Оно преобразилось в искание новой формы общества, свободного от притеснений и

эксплуатации, которым теперь способствует государство.

Интернационал, по мысли основавших его рабочих, должен был быть, как мы видели, обширным Союзом (федерацией) рабочих групп, которые являлись бы началом того, чем сможет стать общество, обновленное социальной революцией; общество, в котором современный правительственный механизм и капиталистическая эксплуатация должны исчезнуть и уступить место новым отношениям между федерациями производителей и потребителей.

При этих условиях идеал анархизма не мог более быть личным, как у Штирнера: он становился идеалом общественным.

По мере того как рабочие обеих частей света ближе знакомились между собою и вступали в непосредственные сношения, невзирая на разделявшие их границы, они начинали лучше разбираться в социальном вопросе и с большим доверием относились к своим собственным силам.

Они предвидели, что если бы землю стал владеть народ и если бы промышленные ра-

бочие, завладев фабриками и мастерскими, стали бы сами управлять промышленностью и направлять ее на производство всего необходимого для жизни народа, то тогда нетрудно было бы широко удовлетворять все основные потребности общества. Недавние успехи науки и техники являлись залогом успеха. И тогда производители различных наций сумели бы установить международный обмен на справедливых основаниях. Для тех, кто был близко знаком с фабриками, заводами, копиями, земледелием и торговлею, это не подлежало ни малейшему сомнению.

В то же время все больше росло число рабочих, которые понимали, что государство, со своей чиновничьей иерархией и с тяжестью лежащих на нем исторических преданий, не может не быть тормозом нарождению нового общества, свободного от монополий и эксплуатации.

Само историческое развитие государства было вызвано не чем иным, как возникновением земельной собственности и желанием сохранить ее в руках одного класса, который таким образом стал бы господствующим. Ка-

кие же средства может доставить государство для уничтожения этой монополии, если сами трудящиеся не смогут найти этих средств в своих собственных силах и в своем объединении? В течение XIX в. государство неимоверно усилилось в смысле утверждения монополий промышленной собственности, торговли и банков в руках вновь разбогатевших классов, которым оно доставляло дешевые рабочие руки, отнимая землю у деревенских общин и сокращая крестьян непосильными налогами. Какие преимущества может доставить государство, чтобы уничтожить эти самые привилегии, если у крестьян не будет сил объединиться и добиться этого самим? Государственный механизм, развиваясь, имел своей целью созидание и укрепление привилегий – как же может он послужить их уничтожению? Разве такая новая деятельность не потребует новых исполнительных органов? И разве эти исполнительные органы не должны быть созданы теперь самими рабочими, внутри их союзов, их федераций, без всякого отношения к государству?

Тогда, когда падут созданные и поддержи-

аемые государством преимущества для отдельных лиц и классов, существование государства потеряет всякий смысл. Совершенно новые формы общежития должны будут возникнуть, раз отношения между людьми перестанут быть отношениями между эксплуатируемыми и эксплуататорами. Жизнь упростится, когда станет излишним механизм, существующий для того, чтобы помогать богатым еще более богатеть за счет бедных.

Представляя себе мысленно свободные общины, сельские и городские (т. е. земельные союзы людей, связанных между собой по месту жительства), и обширные профессиональные и ремесленные союзы (т. е. союзы людей по роду их труда), причем общины и профессиональные и ремесленные союзы тесно переплетаются между собою, – представляя себе такое устройство взаимных отношений между людьми, анархисты могли уже составить себе определенное конкретное представление о том, как может быть организовано общество, освободившееся от ига капитала и государства. К этому им оставалось прибавить, что рядом с общинами и профессиональными

союзами будут появляться тысячами бесконечно разнообразные общества и союзы: то прочные, то эфемерные, возникающие среди людей в силу сходства их личных наклонностей. Мало ли у людей общих интересов, общественных, религиозных, художественных, ученых, в целях воспитания, исследования или даже просто развлечения! Такие союзы, вне всяких политических или хозяйственных целей, создаются уже теперь во множестве; число их, несомненно, должно расти, и они будут тесно переплетаться с другими союзами как земельными, так и союзами для производства, для потребления и для обмена продуктов.

Эти три рода союзов, сеть покрывающих друг друга, дали бы возможность удовлетворять всем общественным потребностям: потребления, производства и обмена, путей сообщения, санитарных мероприятий, воспитания, взаимной защиты от нападений, взаимопомощи, защиты территории; наконец – удовлетворения потребностей художественных, литературных, театральных, а также потребностей в развлечениях и т. п. Все это – полное

жизни и всегда готовое отвечать на новые запросы и на новые влияния общественной и умственной среды и приспособляться к ним.

Если бы общество такого рода развивалось на достаточно обширной и достаточно населенной территории, где самые различные вкусы и потребности могли бы проявить себя, то всем скоро стала бы ясна ненужность каких бы то ни было начальственных принуждений. Беспольные для поддержания экономической жизни общества, эти принуждения были бы столь же бесполезны для того, чтобы помешать большинству противообщественных деяний.

И в самом деле, в современном государстве самой большой помехой развитию и поддержанию нравственного уровня, необходимого для жизни в обществе, является отсутствие общественного равенства. Без равенства – «без равенства на деле», как выражались в 1793 г., – чувство справедливости не может сделаться общим достоянием. Справедливость должна быть одинакова для всех, а в нашем обществе, расслоенном на классы, чувство равенства терпит поражения каждую

минуту, на каждом шагу. Чтобы чувство справедливости по отношению ко всем вошло в нравы и в привычки общества, надо, чтобы равенство существовало на деле. Только в обществе равных мы найдем справедливость.

Тогда потребность в принуждении или, вернее, желание прибегать к принуждению перестало бы проявляться. Всякому стало бы ясно, что нет нужды стеснять личную свободу, как это делается теперь, то страхом наказания, судебного или свыше, то подчинением людям, признанным высшими, то преклонением перед метафизическими существами, созданными страхом или невежеством. Все это в современном обществе ведет только к умственному рабству, к принижению личной предприимчивости, к понижению нравственного уровня людей, к остановке движения вперед.

В среде равных человек мог бы с полным доверием предоставить собственному разуму направлять себя, ибо разум, развиваясь в такой среде, необходимо должен был бы нести на себе печать общительных привычек среды. В таких условиях – и только в таких усло-

виях – человек мог бы достичь полного развития своей личности, между тем как восхваляемый в наше время буржуазией индивидуализм, якобы являющийся для «высших натур» средством достижения полного развития человеческого существа, – есть только самообман. Восхваляемый ими индивидуализм, наоборот, является самой верной помехой для развития всякой ярко выраженной личности.

В нашем обществе, которое преследует личное обогащение и тем самым осуждено на всеобщую бедность в своей среде, самый способный человек осужден на жестокую борьбу ради приобретения средств, необходимых для поддержки его существования. Как бы ни были скромны его требования, он работает как вол шесть дней из семи, только чтобы добыть себе кров и пищу. Что же касается тех в сущности очень немногих лиц, которым удастся отвоевать, кроме того, известный досуг, необходимый для свободного развития своей личности, то современное общество разрешает им пользоваться этим досугом только под одним условием: надеть на себя ярмо законов и обычаев буржуазной посредственности и ни-

когда не потрясать основ этого царства посредством ни слишком едкой критикой, ни личным возмущением.

«Полное развитие личности» разрешается только тем, кто не угрожает никакой опасностью буржуазному обществу, — тем, кто для него занимателен, но не опасен.

Как мы уже сказали, анархисты основывают свои предвидения будущего на данных, добытых путем наблюдения.

В самом деле, если мы будем разбирать направления мысли, преобладающие в образованных обществах с конца XVIII в., мы должны признать, что направление централистское и государственное еще очень сильно среди духовенства, буржуазии и тех рабочих, которые получили буржуазное образование и сами стремятся войти в буржуазию; тогда как направление противогосударственное, противцентралистское и противовоенное, так же как и учение о свободном соглашении, имеет многочисленных сторонников среди рабочих и среди хорошо образованной, более или менее свободомыслящей части интеллигентной буржуазии.

В самом деле, как я на это уже указывал в моих работах («Хлеб и Воля», «Взаимопомощь»), в настоящее время замечается сильное стремление к созиданию, помимо государства и церкви, тысяч и тысяч небольших союзов для удовлетворения всевозможных потребностей: экономических (железнодорожные общества, рабочие синдикаты и синдикаты предпринимателей, кооперативы, товарищества земледельческие, для вывоза продуктов и т. д.), политических, умственных, художественных, воспитательных, для пропаганды и так далее. То, что прежде было неоспоримо обязанностью государства и церкви, теперь составляет отрасль деятельности свободных организаций. Это направление делается все более и более видимым. Достаточно было, чтобы дуновение свободы немного обуздало церковь и государство, чтобы свободные организации начали появляться тысячами. И можно предвидеть, что, как только права этих двух вековых врагов свободы будут еще более ограничены, сейчас же еще шире разовьют свою деятельность свободные организации.

Будущее и прогресс лежат в этом направлении, а анархия есть выражение того и другого.

Отрицание государства

Надо, конечно, признать, что на экономических понятиях анархистов сказалось влияние хаотического состояния, в котором еще пребывает наука о политической экономии. Среди них, как и среди социалистов-государственников, мнения по этому предмету делятся.

Подобно всем тем членам социалистических партий, которые остались социалистами, анархисты считают, что существующая теперь частная собственность на землю и на все необходимое для производства точно так же, как теперешняя система производства, преследующая цели наживы и являющаяся его следствием, есть зло; что современные наши общества должны уничтожить эту систему, если они не хотят погибнуть, как погибло уже множество древних цивилизаций.

Что же касается тех средств, при помощи которых могла бы произойти эта перемена, то тут анархисты находятся в полном противо-

речи со всеми фракциями социалистов-государственников. Они отрицают возможность разрешить задачу при помощи государственного капитализма, т. е. захвата государством всего общественного производства или же его главных отраслей. Передача почты, железных дорог, рудников, земли в руки современного государства, т. е. в управление назначаемых парламентом министров и их чиновничьих канцелярий, не является для нас идеалом. Мы в этом видим только новую форму закрепощения рабочих и эксплуатации рабочего капиталистом. И мы, конечно, не верим, чтобы государственный капитализм был путем к уничтожению закрепощения и эксплуатации или же одной из переходных ступеней на пути к этой цели.

Таким образом, пока социализм понимался в его настоящем и широком смысле, как освобождение труда от эксплуатации его капиталом, анархисты шли в согласии с теми, кто тогда были социалистами. И те и другие предвидели социальную революцию и желали ее наступления; причем анархисты надеялись, что революция породит новую безгосу-

дарственную форму общества, тогда как социалисты, из которых весьма многие были тогда еще коммунистами, не стремились точно определить, в какой форме они представляли себе будущий переворот, а многие из них согласились, что надо непременно ослабить центральную власть.

Но анархистам пришлось окончательно отмежеваться, когда если не большинство, то очень сильная фракция социалистов-государственников прониклась мыслью, что совсем не требуется уничтожать капиталистическую эксплуатацию, что для нашего поколения и для той ступени экономического развития, на которой мы находимся, не требуется ничего другого, как уменьшить эксплуатацию, заставив капиталистов подчиниться известным законодательным ограничениям.

С этим анархисты не могли согласиться. Мы утверждаем, что если мы в будущем хотим достичь уничтожения капиталистической эксплуатации, то уже теперь, с сегодняшнего же дня мы должны направлять наши усилия к уничтожению этой эксплуатации. Уже теперь мы должны стремиться к

непосредственной передаче всего, что служит для производства, – угольных копей, рудников, заводов, фабрик, путей сообщения и в особенности всего необходимого для жизни производителей – из рук личного капитала в группы производителей, стремиться к этому и действовать соответственным образом.

Кроме того, мы должны очень беречься от передачи средств существования и производства в руки современного буржуазного государства. В то время как социалистические партии во всей Европе требуют передачи железных дорог, производства соли, рудников и угольных копей, банков (в Швейцарии) и монополии спирта буржуазному государству в современном его виде, мы видим в этом захвате общественного достояния буржуазным государством одно из самых больших препятствий, какие только можно воздвигнуть, чтобы помешать переходу этого достояния в руки трудящихся, производителей и потребителей.

Мы в этом видим средство к усилению капиталиста, к росту его сил, направленных на борьбу против возмущившегося рабочего.

Наиболее проникательные из среды капиталистов прекрасно это понимают. Они понимают, что их капиталы, например, будут гораздо сохраннее и их дивиденды гораздо надежнее, если они будут вложены в железные дороги, принадлежащие государству и управляемые государством по военному образцу. Для тех, кто привык задумываться над социальными явлениями в их совокупности, нет ни тени сомнения относительно следующего положения, которое может считаться общественной аксиомой: «Нельзя готовить социальные перемены, не делая никаких шагов в направлении желательных перемен. Мы будем удаляться от нашей цели, если пойдем этим путем». И в самом деле, это значило бы удаляться от момента, когда производители и потребители станут сами хозяевами производства, если начать с передачи производства и обмена в руки парламентов, министерств, современных чиновников, которые теперь не могут быть не чем иным, как орудиями крупного капитала, так как все государство теперь зависит от него.

Нельзя уничтожить созданные в прошлом

монополии, создавая новые монополии, всегда в пользу тех же прежних монополистов.

Мы не можем также забыть, что церковь и государство были той политической силой, к которой привилегированные классы – в ту пору, когда они еще только начинали утверждаться, – прибегали, чтобы сделаться законными обладателями всяких привилегий и прав над остальными людьми. Государство было именно тем учреждением, которое укрепило уверенность с обеих сторон в праве пользования этими привилегиями. Оно было выработано, создано веками с тем, чтобы утвердить господство привилегированных классов над крестьянами и рабочими. И вследствие этого ни церковь, ни государство не могут теперь сделаться тою силою, которая послужила бы к уничтожению этих привилегий. Тем более ни государство, ни церковь не могут быть той формой общественного устройства, которая возникнет, когда уничтожены будут эти привилегии. Наоборот, история нас учит, что каждый раз, когда в недрах нации зарождалась какая-нибудь новая хозяйственная форма общежития (например,

замена рабства крепостным правом или крепостного права – наемным трудом), всегда в таких случаях приходилось вырабатывать новую форму политического общежития.

Точно так же, как церковь никогда не может быть использована, чтобы освободить человека из-под ига старых суеверий или чтобы дать ему новую, свободно признанную, высшую нравственность; точно так же, как чувства равенства, тесной сплоченности и единения всех людей хотя и проповедаются всеми религиями, но широко распространятся в человечестве только тогда, когда примут формы, совершенно различные от тех, которые им давались церквями, потому что церкви завладевали ими, чтобы использовать их в пользу духовенства, точно так же и экономическое освобождение произойдет только тогда, когда будут разбиты старые политические формы, нашедшие свое выражение в государстве. Человек будет вынужден найти новые формы для всех общественных отправлений, которые теперь государство распределяет между своими чиновниками. Орудие угнетения, порабощения, рабской подчиненности

не может стать орудием освобождения. Вольный человек сумеет найти новые формы жизни взамен рабской иерархии чиновников. Эти формы уже намечаются. И пока они не выработаются самою жизнью освобождающихся людей, самою освободительною революцией, до тех пор ничего не будет сделано.

Анархия работает именно для того, чтобы этим новым формам общественной жизни легче было пробить себе путь, а пробьют они его себе, как это всегда бывало в прошлом, в момент великих освободительных движений. Их выработает созидательная сила народных масс при помощи современного знания.

Вот почему анархисты отказываются от роли законодателей и от всякой другой государственной деятельности. Мы знаем, что социальную революцию нельзя произвести законами. Потому что законы, если даже они приняты Учредительным собранием под влиянием улиц (хотя как могут быть они приняты, когда в палате приходится согласовать представителей самых разнообразных требований?), даже после того, как они приняты палатой, законы суть не что иное, как просто

приглашение работать в известном направлении, как поощрение лицам, живущим среди народа, чтобы они использовали свою энергию, свою изобретательность, свои организаторские и созидательные таланты для проведения в жизнь известных направлений. Но для этого требуется, чтобы на местах были силы, готовые и способные перевести формулы и пожелания закона в реальную действительность[109].

В силу тех же причин, с самого возникновения Интернационала и вплоть до наших дней, многие анархисты постоянно принимали деятельное участие в рабочих организациях, создавшихся для прямой борьбы труда против капитала. Такая борьба скорее, чем всякая косвенная, политическая агитация, помогает рабочим достигнуть некоторых улучшений их участи; она открывает им глаза на то зло, которое приносит обществу капиталистическое устройство и поддерживающее его государство, и в то же время она заставляет их задуматься над вопросом о том, как организовать потребление, производство и непосредственный обмен между заинтересован-

ными сторонами, не прибегая к помощи ни капиталиста, ни государства.

Что касается до формы распределения труда в обществе, освободившемся от вмешательства капитала и государства, то тут, как мы это уже видели, мнения анархистов расходятся.

Все сходятся в отрицании той новой формы заработной платы, которая появилась бы, если б государство взяло в свои руки орудия производства и обмен, подобно тому, как оно уже завладело железными дорогами, почтой, образованием, взаимным страхованием и защитой территории. Вновь приобретенное промышленное могущество вместе с уже существующим (налоги, защита территории, государственная церковь и т. п.) создало бы новое могучее орудие власти на службе у тирании.

Поэтому большинство анархистов присоединяются в настоящее время к тому решению вопроса, которое дается анархистами-коммунистами. Постепенно среди думающих об этом вопросе складывается убеждение, что коммунизм – по крайней мере, по от-

ношению к предметам первой необходимости – представляет решение, к которому идут современные общества, и что в цивилизованном обществе единственно возможной формой коммунизма является та, которую предлагают анархисты, т. е. безначальный коммунизм. Всякий другой коммунизм невозможен. Мы переросли его. Коммунизм, по существу своему, предполагает равенство всех членов коммуны и отрицает поэтому всякую власть. С другой стороны, немыслимо никакое анархическое общество известной величины, которое не начало бы с обеспечения всем хотя бы некоторого уровня жизненных удобств, добываемых всеми сообща.

Таким образом, понятия коммунизма и анархии необходимо дополняют друг друга.

Но наряду с коммунистическими течениями продолжает существовать также и другое направление, которое видит в анархии осуществление полного индивидуализма. Об этом течении мы скажем теперь несколько слов.

Индивидуалистическое направление

Индивидуалистическое направление в

анархии представляется пережитком давно прошедших времен, когда средства производства не достигли еще такой степени совершенства, какую придают им современная наука и прогресс техники, и когда вследствие недостаточности всего производства в коммунистическом обществе видели неизбежность общей нищеты и общего порабощения.

Индивидуалистическое направление в анархии имеет, конечно, главным своим основанием желание сохранить в полноте независимость личности. В этом оно идет вполне рука об руку с коммунистическим направлением. Оба стремятся к тому, чтобы никакие общественные цепи – вроде тех, которые налагала старозаветная семья, или городская община, или цех (гильдия) в то время, когда они уже вымирали, – не стесняли свободного развития личности. В этом одинаково заинтересованы и коммунист-анархист, и индивидуалист вообще.

Но индивидуалистский анархизм является также противником коммунистского анархизма, и тогда несогласие между ними бывает основано, по нашему мнению, на недоразу-

мении.

Всего каких-нибудь пятьдесят или шестьдесят лет тому назад самый скромный достаток и возможность располагать частью своего свободного времени были достоянием лишь весьма небольшого числа людей, эксплуатирующих труд других и живших трудом рабочих, крестьян или рабов. Поэтому те, кому дорога была экономическая независимость, со страхом ждали дня, когда им нельзя будет принадлежать к небольшой привилегированной кучке людей. В личной собственности они видели тогда единственное спасение для обеспечения человеку достатка, досуга, свободы. Не надо забывать, что в то время Прудон оценивал все производство Франции всего в пять су, т. е. в 12 копеек в день на человека.

Однако теперь это затруднение перестало существовать. При наличности огромной производительности человеческого труда, которая достигнута нами в земледелии и промышленности (см., например, мою работу «Поля, фабрики и мастерские»), не подлежит никакому сомнению, что очень высокая степень достатка для всех могла бы быть достиг-

нута легко и в короткое время при помощи умно организованного коммунистического труда; причем от каждого отдельного лица потребовалось бы не более 4–5 часов работы в день, а это дало бы возможность иметь по крайней мере пять совершенно свободных часов в день после удовлетворения всех главных потребностей: жилья, пищи и одежды.

Таким образом, возражение о всеобщей бедности при коммунизме, а следовательно, и подавлении всех тяжелою работою совершенно отпадает. Остается только желание, совершенно справедливое желание, сохранить для личности наибольшую свободу рядом с выгодами общественной жизни, т. е. возможность каждой личности полностью развивать свои личные таланты и особенности.

Как бы то ни было, анархический индивидуализм, т. е. направление, ставящее во главу своих желаний полную независимость личности без всякой заботы о том, как сложится общество, – это направление в настоящее время подразделяется на две главные ветви. Во-первых, есть чистые индивидуалисты толка Штирнера, которые в последнее время нашли

подкрепление в художественной красоте писаний Ницше. Но мы не станем долго на них останавливаться, так как в одной из предыдущих глав уже указали, насколько «утверждение личности» метафизично и далеко от действительной жизни; насколько оно оскорбляет чувство равенства – основу всякого освобождения, т. к. нельзя освободиться, желая господствовать над другими; и насколько оно приближает тех, кто зовет себя «индивидуалистами», к привилегированному меньшинству: к духовенству, буржуа, чиновникам и т. п., которые также считают себя стоящими выше толпы и которым мы обязаны государством, церковью, законами, полицией, военщиной и всевозможными вековыми притеснениями.

Другая ветвь «анархистов-индивидуалистов» состоит из «мютюэлистов», т. е. последователей взаимности Прудона. Эти анархисты ищут разрешения социальной задачи в свободном, добровольном союзе тысяч мелких союзов, который ввел бы обмен продуктами при помощи «марок труда». Марки труда обозначали бы число рабочих часов, необходи-

мых для производства известного предмета, или же число часов, которые были потрачены отдельным лицом на производство общественно необходимой работы.

Но, в сущности, такое устройство общества вовсе не индивидуализм, оно вовсе не является презрением общественности и возвеличением личности в противность обществу. Напротив того, оно является, подобно коммунизму, одною из высших форм общественности по сравнению с теперешним строем. Его можно упрекнуть только в том, что оно представляет сделку (компромисс) между коммунизмом и индивидуализмом, так как проповедует коммунизм – во владении всем, что служит для производства, и индивидуализм, т. е. сохранение теперешней заработной платы, личный расчет, – в вознаграждении за труд.

Эта двойственность и является, по нашему мнению, непреодолимым препятствием для введения такой формы общежития. Невозможно обществу организовать, следуя двум противоположным началам: с одной стороны, превращение в общую собственность всего, что было произведено до известного дня,

а с другой – строгое сохранение личной собственности на то, что будет сработано лично стью при помощи общественных орудий и запасов, причем такое личное право было бы не только на предметы роскоши, относительно которых вкусы и спрос разнятся до бесконечности, но также и на те предметы необходимости, на которые в каждом обществе установилось известное однообразие оценки.

Не надо также упускать из виду огромного разнообразия в машинах и в способах производства в различных местностях, когда в большом обществе развивается промышленность. Вследствие этого разнообразия мы постоянно видим, что с такою-то машиною и с таким-то оборудованием производства удастся произвести, при той же затрате труда и времени, вдвое или втрое больше, чем когда работают более отсталыми машинами. Так, например, в ткацком деле в настоящее время употребляются такие разнообразные станки, что число станков, которыми может управлять один человек, разнится от трех до двенадцати и до двадцати (в Америке). Затем не следует также упускать из виду разницу в му-

скульной и мозговой силе, которую приходится расходовать отдельным рабочим в различных отраслях производства. И если принять во внимание все эти различия, то невольно приходится спросить себя – сможет ли когда-нибудь рабочий час служить мерилom для торгового обмена продуктами?

Современный торговый обмен в капиталистическом обществе понятен, но нельзя понять торгового обмена, основанного на числе рабочих часов, потребных для производства данного товара в обществе тогда, когда рабочий час перестанет уже иметь торговую ценность; если рабочая сила перестанет быть продажным товаром. Рабочий час мог бы служить мерилom для установления равноценности продуктов (или, скорее, для приблизительной оценки) только в обществе, которое уже приняло бы коммунистический принцип для большинства предметов первой необходимости.

Если же в виде уступки идее личного вознаграждения было бы введено, кроме вознаграждения за «простой» рабочий час, еще особое вознаграждение за «квалифицирован-

ный» труд, требующий предварительного обучения, или же если бы люди вздумали принимать во внимание «возможности повышения» в иерархии промышленных служащих, то этим были бы восстановлены те самые отличительные черты современной заработной платы со всеми ее недостатками, которые нам хорошо известны и которые заставляют нас искать средства, чтобы избавиться от нее. Нужно, впрочем, прибавить, что прудоновская идея «взаимности» имела некоторый успех среди фермеров в Соединенных Штатах, где эта система продолжает, по видимому, существовать среди нескольких довольно больших фермерских организаций.

К мютюэлистам же приближаются и те американские анархисты-индивидуалисты, которые в 50-х годах XIX века были представлены С. П. Эндрюсом (S. P. Andrews), В. Грином (W. Green) и в особенности очень талантливым мыслителем Лизандром Спунером (Lysander Spooner), а в самое недавнее время – Веньямином Тэккером (Tucker), многолетним издателем журнала «Liberty» (Свобода)[110].

Их учение идет от Прудона, но также (у

Тэккера) и от Герберта Спенсера. Они исходят из положения, что для анархиста существует один только принудительный закон – это заниматься самому своими собственными делами. Поэтому каждая отдельная личность и группа имеют «право» поступать как им угодно – даже подчинить себе все человечество, если у них хватит на это сил. Если бы эти начала, говорит Тэккер, нашли бы себе всеобщее применение, они не представляли бы никакой опасности, потому что могущество каждого отдельного лица было бы ограничено равными «правами» всех других.

Но рассуждать подобным образом, по нашему мнению, значит отдавать слишком большую дань метафизике и делать совершенно фантастические предположения. Говорить, что кто-нибудь имеет «право» уничтожить все человечество, если у него на то хватит сил, и вместе с тем утверждать, что «права» каждого ограничены такими же правами всех, представляется нам чистейшим препирательством словами (диалектикою) господ метафизиков, без применения к жизни. Для нас, правду сказать, такие «слова» лишены

смысла.

Если оставаться в области действительной жизни людей, то нет никакой возможности вообразить себе какое бы то ни было общество или даже просто скопление людей, имеющих какое бы то ни было общее дело, в котором дела одного члена не касались бы многих других членов, если не всех остальных. Еще менее возможно представить себе общество, в котором постоянные взаимные сношения между его членами не вызвали бы интереса каждого (или почти каждого) ко всем остальным и не сделали бы для него просто невозможным действовать, не думая о последствиях его поступков для общества.

Вот почему Тэккер, подобно Спенсеру, великолепно раскритиковав государство и высказав очень важные мысли в защиту прав отдельной личности, но признав также личную собственность на землю, кончил тем, что воссоздал в лице «организаций для защиты» других то же государство, чтобы помешать гражданам-индивидуалистам делать зло друг другу. Правда, что Тэккер признает за таким государством только право защищать своих

членов, но это право и эти отправления приводят к установлению государства с теми же правами, какими оно пользуется в настоящее время. Действительно, если взглянуть внимательно в историю развития государства, видно, что оно создано именно под предлогом защиты прав отдельной личности. Его законы, его чиновники, уполномоченные охранять интересы обиженной личности; его лестничное чиновничество, установленное, чтобы наблюдать за исполнением законов; его университеты, открытые для того, чтобы изучать источники законов, и, наконец, церковь, долженствующая освятить идею закона; его разделение общества на классы для поддержания «порядка»; его обязательная военная служба, созданные им монополии, наконец, все его пороки, его тирания – все, все это вытекает из одного главного положения: кто-то, вне самой общины, вне самого мира или союза, берет на себя охранение прав личности на тот случай, если их начнет попирает другая личность, и понемногу этот охранитель становится владыкою, тираном.

Эти беглые заметки объясняют, почему ин-

дивидуалистические системы анархизма, если они и находят сторонников среди буржуазной интеллигенции, не распространяются, однако, среди рабочих масс. Но это не мешает, конечно, признать большое значение критики, которой анархисты-индивидуалисты подвергают своих собратий коммунистов: они предостерегают нас от увлечения центральной властью и чиновничеством и заставляют нас постоянно обращать нашу мысль к свободной личности как источнику всякого свободного общества. Наклонность впадать в старые ошибки чиновачалия и власти, как мы знаем, слишком распространена даже среди передовых революционеров.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время учение анархистов-коммунистов более других решений завоевывает симпатии тех рабочих, – принадлежащих главным образом к латинской расе, – которые задумываются о предстоящих им в ближайшем будущем революционных выступлениях и вместе с тем потеряли веру в «спасителей» и в благодеяния государства.

Рабочее движение, дающее возможность

спланировать боевыми силами рабочих и удаляющее их от бесплодных политических партийных столкновений, а также позволяющее им измерить свои силы более верным способом, чем путем выборов, – это движение сильно способствует развитию анархо-коммунистического учения.

Поэтому можно без преувеличения надеяться, что когда начнутся серьезные движения среди трудовых масс в городах и селах, то, несомненно, будут сделаны попытки в анархо-коммунистическом направлении, и что эти попытки будут глубже и плодотворнее тех, которые были сделаны французским народом в 1793–1794 гг.

XIV. Некоторые выводы анархизма ***Право и закон с точки зрения метафизики и естествознания. «Категорический императив» Канта и экономические вопросы с тех же двух точек зрения. – То же относительно понятия о государстве***

После того как мы изложили происхождение анархизма и его принципы, мы теперь дадим несколько примеров, взятых из

жизни, которые позволяют нам точнее определить положение наших воззрений в современном научном и общественном движении.

Когда, например, нам говорят о Праве, с прописной начальной буквой, и заявляют, что «Право есть объективирование Истины», или что «законы развития Права суть законы развития человеческого духа», или еще что «Право и Нравственность суть одно и то же и различаются только формально», мы слушаем эти звучные фразы с столь же малым уважением, как это делал Мефистофель в «Фаусте» Гёте. Мы знаем, что те, кто писал эти фразы, считая их глубокими истинами, употребили известное усилие мысли, чтобы до них додуматься. Но мы знаем также, что эти мыслители шли ложной дорогой, и видим в их звучных фразах лишь попытки бессознательных обобщений, построенных на совершенно недостаточной основе и, кроме того, затененных таинственными словами, чтобы гипнотизировать этим людей.

В прежнее время Праву старались придать божественное происхождение; затем стали подыскивать метафизическую основу, а те-

перь мы можем уже изучать происхождение правовых понятий и их развитие точно так же, как стали бы изучать развитие ткацкого искусства или способ делать мед у пчел. И, пользуясь трудами, сделанными антропологической школой в XIX в., мы изучаем общественные обычаи и правовые понятия, начиная с самых первобытных дикарей, переходя затем к последовательному развитию права в сводах законов различных исторических эпох, вплоть до наших дней.

Таким образом, мы приходим к тому заключению, которое уже было упомянуто на одной из предыдущих страниц: все законы, говорим мы, имеют двойное происхождение, и это именно отличает их от установившихся путем обычая привычек, которые представляют собой правила нравственности, существующие в данном обществе в данное время. Закон подтверждает эти обычаи, кристаллизует их, но в то же время пользуется ими, чтобы ввести, обыкновенно в скрытой, незаметной форме, какое-нибудь новое учреждение в интересах правящего меньшинства и военной касты. Например, закон, подтвер-

вводя разные полезные обычаи, вводит или утверждает рабство, деление на классы, власть главы семьи, жреца или воина; он незаметно вводит крепостное право, а позднее – порабощение государством. Таким образом, на людей всегда умели наложить ярмо, так что они этого даже не замечали, – ярмо, от которого впоследствии они не могли освободиться иначе как путем кровавых революций.

И так это идет все время вплоть до наших дней. То же самое мы видим даже в современном, так называемом рабочем, законодательстве, которое рядом с «покровительством труду», являющимся признанной целью этих законов, проводит потихоньку идею обязательного посредничества государства в случае стачек (посредничество – обязательное!.. какое противоречие!) или начало обязательного рабочего дня с таким-то минимумом числа часов. Этим открывается возможность для военной эксплуатации железных дорог во время стачек, дается утверждение обезземеливанию крестьян в Ирландии, у которых предыдущие законы отняли землю, и т. п. Или, на-

пример, вводят страхование против болезни, старости и даже безработицы, и этим дают государству право и обязанность контролировать каждый день рабочего и возможность лишить его права иногда давать себе день отдыха, не получив на это разрешения государства и чиновника.

И это будет продолжаться, пока одна часть общества будет издавать законы для всего общества, постоянно увеличивая этим власть государства, являющегося главной поддержкой капитализма. Это будет продолжаться, пока вообще будут издаваться законы.

Вот почему анархисты, начиная с Годвина, всегда отрицали все писанные законы, хотя каждый анархист, более чем все законодатели взятые вместе, стремится к справедливости, которая для него равноценна равенству и невозможна, немыслима без равенства.

Когда нам возражают, что, отрицая закон, мы отрицаем этим самым всякую нравственность, потому что не признаем «категорический императив», о котором говорил Кант, мы отвечаем, что самый язык этого возражения нам непонятен и совершенно чужд[111].

Он нам чужд и непонятен в той же степени, в какой он является чуждым для натуралиста, изучающего нравственность. И потому, прежде чем начать спор, мы поставим нашему собеседнику следующий вопрос: «Но что же, скажите нам, наконец, хотите вы заявить с этими вашими категорическими императивами? Не можете ли вы перевести ваши изречения на простой понятный язык, как это делал, например, Лаплас, когда он находил способы для выражения формул высшей математики на понятном для всех языке? Все великие ученые поступали таким образом, почему вы этого не делаете?»

В самом деле, что, собственно, хотят сказать, когда говорят нам о «всеобщем законе» или «категорическом императиве»? Что у всех людей есть эта мысль: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали другие»? Если так, очень хорошо. Давайте изучать (как уже это делали Гэтчесон и Адам Смит), откуда появились у людей такие нравственные понятия и как они развились.

Затем будем изучать, насколько идея справедливости подразумевает идею равенства.

Вопрос очень важный, потому что только тот, кто считает другого как равного себе, может примениться к правилу «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали другие». Владелец крепостными душами и торговец рабами, очевидно, не могли признать «всеобщего закона» и «категорического императива» по отношению к крепостному и негру, потому что они не признавали их равными себе. И если наше замечание правильно, то посмотрим, не нелепо ли насаждать нравственность, насаждая в то же время идеи неравенства?

Продумаем, наконец, как это сделал Гюйо [112], что такое «самопожертвование»? И посмотрим, что способствовало в истории развитию нравственных чувств в человеке – хотя бы чувств, выраженных в фразе о равенстве по отношению к ближнему. Только после того как мы сделаем эти три различных исследования, мы сможем вывести, какие общественные условия и какие учреждения обещают лучшие результаты для «будущего». Тогда мы узнаем, насколько этому помогают религия, экономическое и политическое

неравенство, установленное законом, а также закон, наказание, тюрьма, судья, тюремщик и палач.

Исследуем все это подробно, каждое в отдельности, – и тогда уже станем говорить с основанием о нравственности и нравственном влиянии закона, суда и полицейского. Громкие же слова, служащие только прикрытием поверхности нашего полужнания, мы лучше оставим в стороне. Может быть, они были неизбежны в известную эпоху, но вряд ли они были полезны когда-либо; теперь же, раз мы в состоянии начать изучение самых жгучих общественных вопросов таким же способом, как садовник и ботаник изучают наиболее благоприятные условия для роста растений, давайте приступим к этому.

То же самое в экономических вопросах. Так, когда экономист говорит нам: «В совершенно открытом рынке ценность товаров измеряется количеством труда, общественно необходимого для их производства (смотри Рикардо, Прудона, Маркса и многих других), мы не принимаем этого утверждения как абсолютно верного потому только, что оно ска-

зано такими авторитетами, или потому, что нам кажется “чертовски социалистичным” говорить, что труд есть истинное мерило ценности товаров». «Возможно, – скажем мы, – что это верно. Но не замечаете ли вы, что, делая такое заявление, вы утверждаете, что ценность и количество труда обязательно пропорциональны друг другу, – точно так же, как скорость падающего тела пропорциональна числу секунд, в течение которых оно падало? Таким образом, вы утверждаете, что есть известное количественное соотношение между этими двумя величинами, и тогда – сделали вы измерения и наблюдения, измеряемые количественно, которые единственно могли бы подтвердить ваше заявление о количествах? Говорить же, что вообще меновая ценность увеличивается, если количество необходимого труда больше, вы можете. Такое заключение уже и сделал Адам Смит. Но говорить, что вследствие этого две эти величины пропорциональны, что одна является мерилom другой, значило бы сделать грубую ошибку, как было бы грубой ошибкой сказать, например, что количество дождя, кото-

рый выпадет завтра, будет пропорционально количеству миллиметров, на которое упадет барометр ниже среднего уровня, установленного для данной местности в данное время года. Тот, кто первый заметил, что есть известное соотношение между низким стоянием барометра и количеством выпадающего дождя, и кто понял, что камень, падая с большой высоты, приобретает большую быстроту, чем камень, падающий с высоты одной сажени, — эти люди сделали научные открытия (как и Адам Смит по отношению к ценности). Но человек, который будет после них утверждать, что количество падающего дождя измеряется количеством делений, на которое барометр опустился ниже среднего уровня, или что расстояние, пройденное падающим камнем, пропорционально времени падения и измеряется им, — сказал бы глупость. Кроме того, он показал бы этим, что метод научного исследования для него абсолютно чужд, как бы он ни щеголял словами, заимствованными из научного жаргона».

Заметим, кроме того, что если бы в виде оправдания нам стали бы говорить об отсут-

ствии точных данных для установления, в точных измерениях, ценности товара и количества необходимого для его производства труда, то это оправдание было бы недостаточно. Мы знаем в естественных науках тысячи подобных случаев соотношений, в которых мы видим, что две величины зависят друг от друга и что если одна из них увеличивается, то увеличивается и другая. Так, например, быстрота роста растения зависит, между прочим, от количества получаемого им тепла и света, или откат пушки увеличивается, если мы увеличим количество пороха, сжигаемого в заряде.

Но какому ученому, достойному этого имени, придет в голову дикая мысль утверждать (не измерив их количественные соотношения), что вследствие этого быстрота роста растения и количество полученного света или откат пушки и заряд сожженного пороха суть величины пропорциональные; что одна должна увеличиться в два, три, десять раз, если другая увеличилась в той же пропорции: иначе говоря, что они измеряются одна другою, как это утверждают после Рикардо отно-

сительности ценности товара и затраченного на него труда?

Кто, сделав гипотезу, предположение, что отношения подобного рода существуют между двумя величинами, осмелился бы выдавать эту гипотезу за закон? Только экономисты или юристы, т. е. люди, которые не имеют ни малейшего представления о том, что в естественных науках понимается под словом «закон», могут делать подобные заявления.

Вообще отношения между двумя величинами – очень сложная вещь, и это относится к ценности и труду. Меновая ценность[113] и количество труда именно не пропорциональны друг другу: одна никогда не измеряет другую. Это именно и заметил Адам Смит. Сказав, что меновая ценность каждого предмета измеряется количеством труда, необходимого для его производства, он вынужден был прибавить (после изучения ценностей товаров), что если так было при существовании первобытного обмена, то это прекратилось при капиталистическом строе. И это совершенно верно. Капиталистический режим вынужденного труда и обмена ради наживы разрушил

эти простые отношения и ввел много новых причин, которые изменили отношения между трудом и меновой ценностью. Не обращать на это внимания – значит не разрабатывать политическую экономию, а запутывать идеи и мешать развитию экономической науки.

То же замечание, которое мы только что высказали относительно ценности, относится почти ко всем экономическим положениям, которые принимаются теперь как незыблемые истины, – особенно среди социалистов, любящих называть себя научными социалистами, – и выдаются с неподражаемой наивностью за естественные законы. Между тем не только большинство из этих так называемых законов не верно, но мы утверждаем еще, что те, кто в них верит, скоро поймут это сами, если только они придут к пониманию необходимости проверить свои количественные утверждения путем количественных же исследований.

Впрочем, вся политическая экономия представляется нам, анархистам, в несколько ином виде, чем она понимается экономистами как буржуазного лагеря, так и социал-де-

мократами. Так как научный, индуктивный метод чужд как тем, так и другим, то они не отдадут себе отчета в том, что такое «закон природы», хотя очень любят употреблять это выражение. Они не замечают, что всякий закон природы имеет условный характер. Он выражается всегда так: «Если такие-то условия наблюдаются в природе, то результат будет такой-то или такой-то; если прямая линия пересекает другую прямую линию, образуя с ней равные углы по обе стороны пересечения, то последствия этого будут такие-то; если на два тела действуют одни только движения, существующие в междузвездном пространстве, и если не находится других тел, действующих на данные тела в расстоянии, которое не является бесконечным, то центры тяжести этих двух тел будут сближаться между собой с такою-то быстротой (это закон всемирного тяготения)».

И так далее. Всегда есть какое-нибудь если, какое-нибудь условие.

Вследствие этого все так называемые законы и теории политической экономии являются в действительности не чем иным, как

утверждениями, которые имеют следующий характер: «Если допустить, что в данной стране всегда имеется значительное количество людей, не могущих прожить одного месяца, ни даже пятнадцати дней, без того чтобы не принять условия труда, которые пожелает наложить на них государство (под видом налогов) или которые будут им предложены теми, кого государство признает собственниками земли, фабрик, железных дорог и т. д., то последствия этого будут такие-то и такие-то».

До сих пор политическая экономия была всегда перечислением того, что случается при таких условиях, но она не перечисляла и не разбирала самых условий, и она не рассматривала, как эти условия действуют в каждом отдельном случае и что поддерживает эти условия. И даже когда эти условия упоминались кое-где, то сейчас же забывались.

Впрочем, экономисты не ограничивались этим забвением. Они представляли факты, происходящие в результате этих условий, как фатальные, незыблемые законы.

Что же касается до социалистической политической экономии, то она критикует,

правда, некоторые из этих заключений или же толкует другие несколько иначе, но она также все время забывает их, и, во всяком случае, она еще не проложила себе собственной дороги. Она остается в старых рамках и следует по тем же путям. Самое большое, что она сделала (с Марксом), – это взяла определения политической экономии, метафизической и буржуазной, и сказала: «Вы хорошо видите, что, даже принимая ваши определения, приходится признать, что капиталист эксплуатирует рабочего!» Это, может быть, хорошо звучит в памфлете, но не имеет ничего общего с наукой.

Вообще мы думаем, что наука политической экономии должна быть построена совершенно иначе. Она должна быть поставлена как естественная наука и должна назначить себе новую цель. Она должна занимать по отношению к человеческим обществам положение, аналогичное с тем, которое занимает физиология по отношению к растениям и животным. Она должна стать физиологией общества. Она должна поставить себе целью изучение все растущих потребностей обще-

ства и различных средств, употребляемых для их удовлетворения. Она должна разоб-
раться эти средства и посмотреть, насколько
они были раньше и теперь подходящи для
этой цели, и наконец, так как конечная цель
всякой науки есть предсказание, приложение
к практической жизни (Бэкон[114] указал это
уже давно), то она должна изучить способы
лучшего удовлетворения всех современных
потребностей, способы получить с наимень-
шей тратой энергии (с экономией) лучшие ре-
зультаты для человечества вообще.

Отсюда понятно, почему мы приходим к
заключениям столь отличным в некоторых
отношениях от тех, к которым приходит
большинство экономистов как буржуазных,
так и социал-демократов; почему мы не при-
знаем «законами» некоторые соотношения,
указанные ими; почему наше изложение со-
циализма отличается от ихнего, и почему мы
выводим из изучения направлений развития,
наблюдаемых нами действительно в эконо-
мической жизни, заключения, столь отлич-
ные от их заключений относительно того, что
желательно и возможно; иначе говоря, поче-

му мы приходим к свободному коммунизму, между тем как они приходят к государственному капитализму и коллективистскому наемному труду.

Возможно, что мы ошибаемся и что они правы. Может быть. Но если желательно проверить, кто из нас прав и кто ошибается, то этого нельзя сделать, ни прибегая к византийским комментариям относительно того, что писатель сказал или хотел сказать, ни говоря о триаде Гегеля, и в особенности – продолжая употреблять их диалектический метод.

Это можно сделать, только принявшись за изучение экономических отношений, как изучают явления естественных наук[115].

Мысль об интеграции труда и разделении труда во времени (мысль, что для общества было бы полезно, чтобы каждый мог работать в земледелии, в промышленности и заниматься умственным трудом), чтобы разнообразить свой труд и развивать всесторонне свою личность, должна стать одним из краеугольных камней экономической науки. Есть множество биологических фактов, совпадаю-

щих с только что подчеркнутою мною мыслью и показывающих, что это есть закон природы, иначе говоря, что в природе экономия сил часто достигается таким способом. Если исследовать жизненные функции какого-нибудь существа в различные периоды его жизни и даже в разные времена года, и в некоторых случаях в отдельные моменты дня, то находишь приложение того же разделения труда во времени, которое неразрывно связано с разделением труда между различными органами (закон Адама Смита).

Люди науки, не знающие естественных наук, не способны понять истинный смысл закона природы; они ослеплены словом «закон» и воображают, что закон, подобный закону Адама Смита, имеет фатальную силу, от которой невозможно освободиться. Когда им показывают обратную сторону этого закона, результаты, плачевные с точки зрения развития и счастья человеческой личности, они отвечают: «Таков неумолимый закон», – и иногда этот ответ дается в таком резком тоне, который доказывает их веру в свою непогрешимость. Натуралист знает, что наука может

уничтожить вредные последствия закона, что часто человек, который желает осилить природу, одерживает победу.

Сила тяжести заставляет тела падать, но та же сила тяжести заставляет воздушный шар подниматься. Это кажется нам просто, экономисты же классической школы, по-видимому, с большим трудом понимают смысл такого замечания.

Закон разделения труда во времени станет поправкой к закону Адама Смита и позволит интеграцию индивидуального труда.

Пользуясь постоянно тем же методом, анархизм приходит также к заключениям, характерным для него относительно политических форм общества и особенно государства. Анархист не может подчиниться метафизическим положениям вроде следующих: «Государство есть утверждение идеи высшей справедливости в обществе», или «государство есть орудие и носитель прогресса», или еще: «без государства нет общества». Верный своему методу, анархист приступает к изучению государства с совершенно тем же настроением, как естествоиспытатель, собирающийся изучать

общества у муравьев, пчел или у птиц, прилетающих вить гнезда на берегах озер в северных странах. Мы уже видели по короткому изложению в X и XII главах, к каким заключениям приводит такое изучение относительно политических форм в прошлом и их вероятного и возможного развития в будущем.

Прибавим только, что для нашей европейской цивилизации (цивилизации последних пятнадцати столетий, к которой мы принадлежим) государство есть форма общественной жизни, которая развилась только в XVI столетии, – и это произошло под влиянием целого ряда причин, которые читатель найдет дальше в главе «Государство и его роль в истории». Раньше этой эпохи, после падения Римской империи, государство в его римской форме не существовало. Если же оно существует, несмотря на все, в учебниках истории, то это – продукт воображения историков, которые желали проследить родословное дерево французских королей до Меровингов, русских царей до Рюрика и т. д. При свете истинной истории оказывается, что современное государство образовалось только на развали-

нах средневековых городов.

С другой стороны, государство как политическая и военная власть, а также современный государственный суд, церковь и капитализм являются в наших глазах учреждениями, которые невозможно отделить одно от другого. В истории эти четыре учреждения развивались, поддерживая и укрепляя друг друга.

Они связаны между собой не по простому совпадению. Между ними существует связь причины и следствия.

Государство в совокупности есть общество взаимного страхования, заключенного между землевладельцем, воином, судьей и священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом и эксплуатацию бедноты.

Таково было происхождение государства, такова была его история, и таково его существо еще в наше время.

Мечтать об уничтожении капитализма, поддерживая в то же время государство и получая поддержку от государства, которое было создано затем, чтобы помогать развитию капитализма, и росло всегда и укреплялось

вместе с ним, так же ошибочно, по нашему мнению, как надеяться достичь освобождения рабочих при помощи церкви или царской власти (цезаризма). Правда, в 30-х, 40-х и даже 50-х годах XIX века было много фантазеров, которые мечтали о социалистическом цезаризме: традиции эти существуют со времени Бабефа до наших дней. Но питаться подобными иллюзиями в начале XX века – поистине слишком наивно.

Новой форме экономической организации должна необходимо соответствовать новая форма политической организации, и произойдет ли перемена резко, посредством революции, или медленно, посредством постепенной эволюции, – обе перемены, экономическая и политическая, должны будут идти совместно, рука об руку. Каждый шаг к экономическому освобождению, каждая истинная победа над капиталом будут также победой над государством, шагом в направлении освобождения политического; это будет освобождением от ига государства посредством свободного соглашения территориального и профессионального, и соглашения относительно

участия в общей жизни страны всех заинтересованных членов общества.

XV. Способы действия

Усиливать подчинение личности государству – противореволюционно. Нужны новые отношения личности к государству. – Нужно ослабление государственной власти. – Примеры предыдущих революций. – Чем подготавливаются реакционные диктатуры? – «Завоевание власти» не может дать успешной революции. – Необходимость местных восстаний и местного творчества

Очевидно, что если анархизм так расходится и в своих методах исследования, и в своих основных принципах с академической наукой, и со своими собратьями социал-демократами, он должен отличаться от них также и своими способами действия.

С нашей точки зрения на право, закон и государство мы не можем видеть обеспеченного прогресса и еще менее приближения к социальной революции во все растущем подчи-

нении личности государству. Сказать, как часто говорят поверхностные критики общества, что современный капитализм берет свое начало в «анархии производства» – в «теории невмешательства государства», которое якобы проводило формулу «пусть делают, что хотят» (*laissez faire, laissez passer*), повторять этого мы не можем, потому что знаем, что это неверно. Мы прекрасно знаем, что правительство, давая полную свободу капиталистам наживаться трудом доведенных до нищеты рабочих, никогда в течение XIX в. и нигде не давало рабочим свободы «делать, что они хотят». Никогда и нигде формула «*laissez faire, laissez passer*» не применялась на практике. Зачем же говорить обратное?

Во Франции даже свирепый «революционный», то есть якобинский, Конвент объявил смертную казнь за стачку, за союзы – за «образование государства в государстве»! Нужно ли говорить после этого об империи, о восстановленной королевской власти и даже о буржуазной республике?

В Англии в 1813 г. вешали еще за стачку, а в 1831 г. ссылали рабочих в Австралию за то,

что они осмелились образовать профессиональный союз Роберта Оуэна. В 60-х годах еще посылали стачечников на каторжные работы под хорошо известным предлогом «защиты свободы труда». И даже в наши дни, в 1903 г., в Англии одна компания добилась судебного приговора, по которому профессиональный союз рабочих должен был уплатить ей 1 275 000 франков убытков за отговаривание рабочих идти на завод на работы во время стачки (за так называемое Picketing). Что же сказать о Франции, где разрешение основывать союзы было дано лишь в 1884 г., после анархического брожения в Лионе и движения среди рабочих в Монсо (Monceau le Mines)! Что сказать о Бельгии, Швейцарии (вспомните бойню в Айроло!) и особенно о Германии и России? С другой стороны, нужно ли напоминать, как государство посредством своих налогов и создаваемых им монополий приводит рабочих деревень и городов к нищете, передавая их со связанными руками и ногами во власть фабриканта! Нужно ли рассказывать, как в Англии разрушили и разрушают еще теперь общинное владение землей, позволяя

местному лорду (некогда он был только судьей, но никогда не был землевладельцем) огораживать общинные земли и завладевать ими в свою пользу? Или нужно рассказывать, как земля, даже теперь, в этот момент, отнимается у крестьянских общин в России правительством Николая II?

Нужно ли, наконец, говорить, что даже теперь все государства без исключения создают громадные монополии всякого рода, не говоря уже о монополиях, созданных в завоеванных странах, как Египет, Тонкин или Трансвааль? Что уж тут говорить о первоначальном накоплении, о котором Маркс говорил нам как о факте прошлого, тогда как каждый год парламентами создаются новые монополии в области железных дорог, трамваев, газа, водопровода, электричества, школ и так далее без конца!

Одним словом, никогда, ни в одном государстве, ни на год, ни на один час не существовала система «laissez faire». Государство всегда было и есть еще теперь опора и поддержка и также создатель, прямой и косвенный, капитала. А потому если буржуазным

экономистам позволительно утверждать, что система «невмешательства» существует, так как они стремятся доказать, что нищета масс есть закон природы, – то как же могут социалисты говорить такие речи рабочим? Свободы сопротивляться эксплуатации до сих пор не было никогда и нигде. Везде ее нужно было завоевывать шаг за шагом, покрывая поле битвы неслыханным количеством жертв. «Невмешательство» и даже более чем «невмешательство» – помощь, поддержка, покровительство существовали всегда в пользу одних эксплуататоров.

Иначе быть не могло. Мы уже сказали, что какова бы ни была форма, под которой социализм явится в истории, чтобы приблизить коммунизм, он должен будет найти свою форму политических отношений. Он не может воспользоваться старыми политическими формами, как он не может воспользоваться религиозной иерархией и ее учением или императорской или диктаторской формой правления и ее теорией. Так или иначе, социализм должен будет сделаться более народным, более приблизиться к форуму (народно-

му вечу), чем представительное управление. Он должен будет менее зависеть от представительства и подойти ближе к самоуправлению. Это именно и пытался сделать в 1871 г. пролетариат Парижа; к этому и стремились в 1793–1794 гг. секции Парижской Коммуны и много других менее значительных коммун.

Когда мы наблюдаем современную политическую жизнь во Франции, Англии и Соединенных Штатах, мы видим, что там зарождается действительно очень ясная тенденция к образованию коммун, городских и сельских, независимых, но объединенных между собой для удовлетворения тысячи различных потребностей союзными федеративными договорами, заключенными, каждый в отдельности, для специальной, определенной цели. И эти коммуны имеют тенденцию все более и более делаться производителями необходимых продуктов для удовлетворения потребностей всех своих жителей. К коммунальным трамваям прибавилась коммунальная вода, часто проводимая издали несколькими соединившимися для этого городами, газовое освещение, двигательная

энергия для заводов; есть даже коммунальные угольные шахты и молочные фермы для получения чистого молока, коммунальные стада коз для чахоточных (в Торки, в Англии), проведение горячей воды, коммунальные огороды и т. д.

Конечно, не германский кайзер и не якобинцы, утвердившиеся у власти в Швейцарии, поведут нас к этой цели. Они, наоборот, устремив взоры в прошлое, стремятся все сосредоточить в руках государства и уничтожить всякий след независимости территориальной и независимого участия в общей жизни страны.

Нам нужно обратиться к той части европейских и американских обществ, где мы находим ясно выраженное направление организоваться вне государства и заменять его все более и более, захватывая, с одной стороны, важные экономические функции, а с другой стороны – функции, которые государство действительно продолжает рассматривать как свои, но которые оно никогда не могло выполнять надлежащим образом.

Церковь имеет своей целью удержать на-

род в умственном рабстве. Цель государства – держать его в полуголодном состоянии, в экономическом рабстве. Мы стремимся теперь стряхнуть с себя оба эти ярма.

Зная это, мы не можем считать все растущее подчинение государству гарантией прогресса. Учреждения не меняют своего характера по желанию теоретиков. Поэтому мы ищем прогресса в наиболее полном освобождении личности, в самом широком развитии инициативы личности и общества, и в то же время – в ограничении отправлений государства, а не в расширении их.

Мы представляем себе дальнейшее развитие как движение прежде всего к уничтожению правительственной власти, которая надела на общество, особенно начиная с XVI в., и не переставала с тех пор увеличивать свои отправления; во-вторых, к развитию, насколько возможно широкому, элемента соглашения, временного договора и в то же время независимости всех групп, которые возникают для определенной цели и покроют своими союзами все общество. Вместе с этим мы представляем себе строение общества как

нечто, никогда не принимающее окончательной формы, но всегда полное жизни и потому меняющее свою форму, согласно потребностям каждого момента.

Такое понимание прогресса, а также наше представление о том, что желательно для будущего (все, что способствует увеличению суммы счастья для всех) необходимо приводит нас к выработке для борьбы своей тактики; и состоит она в развитии наибольшей возможной личной инициативы в каждой группе и в каждой личности, причем единство действия достигается единством цели и силой убеждения, которую имеет каждая идея, если она свободно выражена, серьезно обсуждена и найдена справедливой.

Это стремление кладет свою печать на всю тактику анархистов и на внутреннюю жизнь каждой из их групп.

Мы утверждаем, что работать для пришествия государственного капитализма, централизованного в руках правительства и сделавшегося поэтому всемогущим, значит работать против уже обозначившегося направления современного прогресса, ищущего новых

форм организации общества вне государства.

В неспособности социалистов-государственников понять истинную историческую задачу социализма мы видим грубую ошибку мышления, пережиток абсолютистских и религиозных предрассудков – и мы боремся против этой ошибки. Сказать рабочим, что они смогут ввести социалистический строй, совершенно сохраняя государственную машину и только переменяя людей у власти, мешать, вместо того чтобы помогать уму рабочих направляться на изыскание новых форм жизни, подходящих для них, – это в наших глазах есть историческая ошибка, граничащая с преступлением.

Наконец, так как мы являемся партией революционной, мы особенно изучаем в истории происхождение и развитие предыдущих революций, и мы стараемся освободить историю от ложного государственного толкования, которое до сих пор постоянно придавалось ей. В историях различных революций, написанных до сего дня, мы еще не видим народа и не узнаем ничего о происхождении революции. Фразы, которые обычно повторяют

В введении, об отчаянном положении народа накануне восстания, не говорят еще нам, как среди этого отчаяния появилась надежда на возможное улучшение и мысль о новых временах и откуда взялся и как распространился революционный дух.

Поэтому, перечитав эти истории, мы обращаемся к первоисточникам, чтобы найти там некоторые сведения о ходе пробуждения в народе, а также и о роли народа в революциях.

Таким образом, мы понимаем, например, Великую Французскую революцию иначе, чем понимал ее Луи Блан, который представил ее прежде всего как большое политическое движение, руководимое Клубом якобинцев. Мы же видим в ней прежде всего великое народное движение и особенно указываем на роль крестьянского движения в деревнях («Каждое селение имело своего Робеспьера», – как заметил историку Шлоссеру[116] аббат Грегуар, докладчик Комитета по делу о крестьянских восстаниях), движения, которое имело главной целью уничтожение пережитков феодального крепостного права и захват крестьянами земель, отнятых различными

кровопийцами у сельских общин, в чем, между прочим, крестьяне добились-таки своего, особенно на востоке Франции.

Благодаря революционному положению, создавшемуся в результате крестьянских восстаний, которые продолжались в течение четырех лет, развилось в то же время в городах стремление к коммунистическому равенству; с другой стороны, выросла сила буржуазии, умно работавшей для установления своей власти вместо королевской и дворянской власти, которую она уничтожала систематично. Для этой цели буржуазия работала упорно и ожесточенно, стремясь создать сильное, централизованное государство, которое поглотило бы все и обеспечило бы буржуазии право собственности (в том числе на имущество, награбленное во время революции), а также дало бы ей полную свободу эксплуатировать бедных и спекулировать народными богатствами без всяких законных ограничений.

Эту власть, это право эксплуатации, это одностороннее «laissez faire» буржуазия действительно получила, и для того чтобы удержать его, она создала свою политическую

форму – представительное правление в централизованном государстве.

И в этой государственной централизации, созданной якобинцами, Наполеон I нашел уже подготовленную почву для империи.

Точно так же пятьдесят лет спустя Наполеон III нашел, в свою очередь, в идеале демократической, централизованной республики, который развился во Франции около 1848 г., совершенно готовые элементы для второй империи. И от этой централизованной силы, убивавшей в течение семидесяти лет всю местную жизнь, всякую инициативу как местную, в городах и деревнях, так и вне рамок государства (профессиональное движение, союзы, частные компании, общины и т. д.), Франция страдает до сих пор. Первая попытка разбить это ярмо государства – попытка, открывшая поэтому новую историческую эру, – была сделана только в 1871 г. парижским пролетариатом.

Мы идем даже дальше. Мы утверждаем, что, пока социалисты-государственники не оставят своего идеала социализации орудий труда в руках централизованного государ-

ства, неизбежным результатом их попыток в направлении государственного капитализма и социалистического государства будет провал их мечтаний и военная диктатура.

Не входя здесь в анализ различных революционных движений, подтверждающих нашу точку зрения, достаточно будет сказать, что мы понимаем будущую социальную революцию не как якобинскую диктатуру, не как изменение общественных учреждений, сделанное Конвентом, парламентом или диктатором. Никогда революция не делалась таким образом, и если рабочее восстание действительно примет этот оборот, оно будет осуждено на гибель, не дав никаких положительных результатов.

Мы, наоборот, понимаем революцию как народное движение, которое примет широкие размеры и во время которого в каждом городе и в каждой деревне той местности, где идет восстание, народные массы сами примутся за работу перестройки общества. Народ – крестьяне и городские рабочие – должен будет начать сам строительную и воспитательную работу на более или менее широких

коммунистических началах, не ожидая приказов и распоряжений сверху. Он должен будет прежде всего устроить так, чтобы прокормить и разместить все население и затем производить именно то, что будет необходимо для питания, размещения и доставления одежды всем.

Что же касается правительства, образовавшегося силой или избранного, то, будь то «диктатура пролетариата», как говорили в 40-х годах во Франции и говорят еще теперь в Германии, или будь то «временное правительство», одобренное или избранное, или «Конвент», – мы не возлагаем на него никакой надежды. Мы говорим, что оно не сможет сделать ничего[117].

Не потому, что таковы наши симпатии, а потому, что вся история нам говорит, что никогда еще люди, выброшенные революционной волной в правительство, не были на высоте положения. Да они и не могут быть на высоте положения; потому что в деле перестройки общества на новых началах отдельные люди, как бы умны и преданны они ни были, должны во всяком случае быть бес-

сильны. Для этого требуется коллективный ум народных масс, работающий над конкретными вещами: над возделываемым полем, обитаемым домом, фабрикой на ходу, железной дорогой, вагонами такой-то линии, пароходами и т. д.[118]

Отдельные люди могут найти законное выражение или формулу для разрушения старых форм общежития, когда это разрушение уже начало совершаться. Они могут, самое большее, немного расширить эту разрушительную работу и распространить на всю территорию то, что происходит только в одной части страны. Но навязать эту ломку законом – совершенно невозможно, как это доказала, между прочим, вся история революции 1789–1794 гг.

Что же касается до новых форм жизни, которая начнет зарождаться после революции на развалинах предыдущих форм, то никакое правительство никогда не сможет найти их выражения, пока эти формы не определятся сами по себе в построительной работе народных масс, в творческом процессе, в тысяче пунктов за раз. Кто догадался, кто мог бы дей-

ствительно догадаться до 1794 г. о роли, какую будут играть муниципалитеты, Парижская Коммуна и ее секции в революционных событиях 1789–1793 гг.? Будущее не поддается законодательству. Все, что возможно, – это догадываться о его главных течениях и очищать для них дорогу. Именно это мы и стараемся делать.

Очевидно, что при таком понимании задач социальной революции анархизм не может чувствовать симпатии к программе, которая ставит себе цель «завоевание власти в современном государстве».

Мы знаем, что мирным путем это завоевание невозможно. Буржуазия не уступит своей власти без борьбы. Она не позволит свалить себя без сопротивления. Но по мере того как социалисты станут частью правительства и разделят власть с буржуазией, их социализм должен будет неизбежно побледнеть; он уже побледнел. Без этого буржуазия, которая гораздо сильнее численно и интеллектуально, чем это говорится в социалистической прессе, не признает их права разделить с нею ее власть.

С другой стороны, мы также знаем, что если бы восстание сумело дать Франции, Англии или Германии временное социалистическое правительство, то оно, без построительной деятельности самого народа, было бы совершенно бессильно и скоро бы сделалось препятствием, тормозом революции. Оно стало бы ступенькой для диктатора, представителя реакции.

Изучая подготовительные периоды революций, мы приходим к заключению, что ни одна революция не вытекла из сопротивления или из нападения парламента, или какого-либо другого представительного собрания. Все революции начинались в народе. И никогда ни одна революция не появлялась вооруженною с головы до ног, как Минерва, выходящая из головы Юпитера. Все они имели, кроме подготовительного периода, свой период эволюции, в течение которого народные массы, формулировав свои, вначале очень скромные требования, проникались мало-помалу, очень медленно, все более и более революционным духом. Они становились смелей, дерзновенней, чувствовали более доверия к

своим силам и, выйдя из летаргии отчаяния, постепенно расширяли свою программу. Требовалось время, пока их вначале «смирненные представления» становились потом революционными требованиями.

Действительно, во Франции потребовалось не менее четырех годов, с 1789 по 1793 г., чтобы создалось республиканское меньшинство, достаточно сильное, чтобы захватить в руки власть.

Что же касается до подготовительного периода, мы его понимаем следующим образом. Сначала отдельные личности, глубоко возмущенные тем, что они видели вокруг себя, восставали поодиночке. Многие из них погибали без всяких видимых результатов, но равнодушное общество было уже поколеблено благодаря этим отдельным героям.

Даже самые довольные и ограниченные люди были вынуждены спросить себя, ради чего эти молодые, честные, полные сил люди отдавали свою жизнь? Равнодушным более нельзя было оставаться – нужно было высказаться «за» или «против». Мысль работала.

Мало-помалу небольшие группы людей

также проникались революционным духом. Они восставали – иногда с надеждой на частичный успех, чтобы выиграть, например, стачку и получить хлеба для своих детей или чтобы отделаться от какого-нибудь ненавистного чиновника, – но также часто и без всякой надежды на успех, просто возмущенные, потому что невозможно было дольше терпеть. Не одно, не два и не десять таких восстаний, но сотни бунтов предшествуют каждой революции. Есть пределы всякому терпению. Это мы хорошо видим в Соединенных Штатах в настоящий момент.

Часто указывают на мирное уничтожение крепостного права в России. Но при этом забывают или не знают, что освобождению крестьян предшествовал длинный ряд крестьянских бунтов, которые и привели к уничтожению крепостного права. Волнения начались еще в 50-х годах – может быть, как отклик революции 1848 г. или крестьянских восстаний в Галиции в 1846 г., и каждый год они распространялись все шире и шире в России, становясь все серьезнее и принимая ожесточенный, неслыханный дотоле характер. Это про-

должалось до 1857 г., когда Александр II выпустил наконец свое письмо к литовскому дворянству, содержащее обещание освободить крестьян. Слова Герцена «Лучше дать освобождение сверху, чем ждать, когда оно придет снизу», – слова, повторенные Александром II перед крепостническим дворянством Москвы, не были пустой угрозой: они отвечали действительности.

То же самое происходило, еще в большей степени, при приближении каждой революции. Можно выделить как общее правило, что характер каждой революции определялся характером и целью предшествовавших ей восстаний. Даже больше. Можно установить как исторический факт, что никогда ни одна серьезная политическая революция не могла совершиться, если после начала революции она не продолжалась в ряде местных восстаний и если брожение не принимало характера именно восстаний вместо характера индивидуальной мести, как это произошло в России в 1906 и 1907 гг.

Ждать поэтому, чтобы социальная революция наступила без того, чтобы ей предшество-

вали восстания, определяющие характер грядущей революции, лелеять эту надежду – детски нелепо. Стремиться помешать этим восстаниям, говоря, что подготавливается всеобщее восстание, уже преступно. Но стараться убедить рабочих, что они получают все блага социальной революции, ограничиваясь избирательной агитацией, и изливать всю свою злобу на акты частичных восстаний, когда они происходят у народов исторически революционных, это значит самым становиться препятствием для революции и всякого прогресса, препятствием столь же отвратительным, каким всегда была христианская церковь.

2. Коммунизм и анархия

I. Анархический коммунизм

Когда на двух Конгрессах Интернационала, созванных – один во Флоренции в 1876 г. Итальянской федерацией, а другой в (Ла-) Шоде-Фоне в 1880 г. Юрской федерацией, итальянские и юрские анархисты решили объявить себя «анархистами-коммунистами», то это решение произвело некоторую сенсацию в социалистическом мире. Одни видели в этой декларации серьезный шаг вперед. Другие считали это нелепым, говоря, что такое название включает в себе явное противоречие.

В действительности, как мне заметил мой друг Джеймс Гильом[119], выражение «анархический или негосударственный коммунизм» встречается уже в 1870 г. в локльской газете «Прогресс», в одном письме Варлена [120], цитированном и одобренном Гильомом. Действительно, уже к концу 1869 г. несколько анархистов условились пропагандировать эту идею, и в 1876 г. распределение продуктов труда, основанное на идее антигосударствен-

ного коммунизма, было признано возможным и рекомендовалось в брошюре Джеймса Гильома «Мысли о социальной организации» (см. выше, с. 314). Но по причинам, изложенным уже выше, идея эта не получила желательного распространения, и среди реформаторов и революционеров, остававшихся под влиянием якобинских идей, господствующее представление о коммунизме было государственное, как его изложил Кабе в своем «Путешествии в Икарию». Предполагалось, что государство, представленное одним или несколькими парламентами, берет на себя задачу организовать производство. Затем оно передает, через посредство своих административных органов, промышленным объединениям или коммунаам то, что приходится на их долю для жизни, производства и удовольствия.

В отношении производства предполагалось нечто подобное тому, что сейчас существует на сетях железных дорог, принадлежащих государству, и на почте. То, что делается сейчас для транспорта товаров и пассажиров, говорили нам, будет сделано для производ-

ства всех богатств и в отношении всех общепользных предприятий. Начнется это с социализации железных дорог, рудников и копей, больших заводов, а затем эта система будет мало-помалу распространена на всю обширную сеть мануфактур, фабрик, мельниц, булочных, съестных магазинов и так далее. Затем будут «отряды» работников для обработки земли за счет государства, рудокопов для работы в рудниках, ткачей для работы на фабриках, булочников для печки хлеба и т. д., — совершенно так же, как теперь существуют толпы чиновников на почте и железных дорогах. В литературе 40-х годов даже любили употреблять это слово «отряды» (*escouades*), которое немцы превратили в «армии», чтобы подчеркнуть дисциплинированный характер работников, употребляемых в промышленности и находящихся под командованием иерархии «начальников работ».

Что же касается потребления, то его рисовали себе почти в том виде, как оно сейчас существует в казармах. Отдельные хозяйства уничтожаются; вводятся для экономии расходов на кухне общие обеды и для экономии

расходов по постройке – фаланстеры или что-то вроде гостиниц-отелей. Правда, в настоящее время солдат плохо кормится и подвергается грубому обращению начальства; но ничто не мешает, как говорили, хорошо кормить граждан, запертых в казармы «домов-коммун» или «коммунистических городов». А так как граждане свободно выбирали бы себе начальников, экономов, чиновников, то ничто не мешало бы им считать этих начальников – начальников сегодня и солдат завтра – как слуг республики. «Государство-слуга» было действительно любимой формулой для Луи Блана и ненавистной для Прудона, который неоднократно забавлял читателей «Голоса народа» («La Voix du Peuple») своими насмешками над этой новой демократической кличкой государства.

Коммунизм 40-х годов был проникнут государственными идеями, против которых Прудон яростно сражался до и после 1848 г.; и критика, которой он подвергал его в 1846 г. в «Экономических противоречиях» (2-й том «Община»), и позднее в «Голосе народа», и при всяком случае в своих последующих пи-

саниях, должна была, без сомнения, сильно содействовать тому, что такой коммунизм имел мало последователей во Франции. Действительно, в начале Интернационала большинство французов, принявших участие в его основании, были «мютюэлисты», которые абсолютно отрицали коммунизм. Но государственный коммунизм был воспринят немецкими социалистами, которые еще подчеркнули сторону дисциплины. Он проповедовался ими как «научное» открытие, сделанное ими, а на самом деле, когда говорилось о коммунизме, то подразумевался под этим почти всегда государственный коммунизм в том виде, в каком он проповедовался немецкими продолжателями французских коммунистов 1848 г.

А потому, когда две анархические федерации Интернационала объявили себя «анархистами-коммунистами», то это заявление произвело – особенно будучи сделано Юрскою федерациею, более известною во Франции, – некоторое впечатление и рассматривалось многими из наших друзей как серьезный шаг вперед. «Анархический коммунизм»,

или «вольный коммунизм», как его называли вначале во Франции, приобрел многих сторонников и в силу некоторых благоприятных обстоятельств именно с этой поры начинался успех анархических идей среди французских рабочих.

Действительно, эти два слова – коммунизм и анархизм, взятые вместе, представляли собой целую программу. Они провозглашали новое представление о коммунизме, совершенно отличное от того, которое было распространено до сих пор. Они в то же время указывали на возможное решение широкой задачи, задачи, можно сказать, человечества, которую человек всегда старался разрешить, вырабатывая свои учреждения от родового быта вплоть до наших дней.

В самом деле, что нужно сделать, чтобы, объединив усилия всех, обеспечить всем наибольшую сумму благосостояния и удержать в то же время приобретенные доселе завоевания личной свободы и даже расширить их сколько возможно больше?

Как организовать общий труд и в то же время предоставить всем полную свободу

проявления личного почина?

Такова была всегдашняя задача человечества с самого начала. Проблема огромная, которая взывает ныне ко всем умам, ко всем волям и ко всем характерам, чтобы быть разрешенной не только на бумаге, но и в жизни, жизнью самих обществ. Уже один факт произнесения этих слов – «анархический коммунизм» – подразумевает не только новую цель, но и новый способ решения социальной задачи, посредством усилий снизу, посредством самопроизвольного действия всего народа.

Это налагает на нас обязанность совершить большую работу мысли и исследований, чтобы узнать, насколько эта цель и этот анархический способ решения социального вопроса, – новый для современных революционеров, хотя он стар для человечества, – насколько они осуществимы и практичны? Этим и занялись с тех пор некоторые анархисты.

С другой стороны, декларация анархистов-коммунистов вызвала также сильнейшие возражения. Прежде всего, немецкие продолжатели Луи Блана, которые вслед за

ним уцепились за его формулу «Государство-слуга» и «Государство – инициатор прогресса», удвоили свои нападки на тех, кто отрицал государство во всех возможных формах. Они начали с того, что отвергали коммунизм как нечто старое и проповедовали под именем «коллективизма» и «научного социализма» «трудовые марки» Роберта Оуэна и Прудона и личное вознаграждение производителям, которые становились «все чиновниками». А нам они делали такое возражение, что коммунизм и анархизм, запряженные вместе, «воят от этого» (*hurlent de se trouve ensemble*). Так как под коммунизмом они понимали государственный коммунизм Кабе – единственный, который они могли понять, – то очевидно, что их коммунизм, подразумевающий власть, правительство (*архе*)[121], и анархия, то есть отсутствие власти и правительства, диаметрально противоположны друг другу. Один есть отрицание другого, и никто не думал запрягать их в одну телегу. Что же касается вопроса, является ли государственный коммунизм единственной формой возможного коммунизма, то он даже не был

затронут критиками этой школы. Это считалось у них аксиомой.

Гораздо более серьезны были возражения, сделанные в самом лагере анархистов. Здесь повторяли сначала, не сомневаясь в том, возражения, выставленные Прудонем против коммунизма во имя свободы личности. И эти возражения, хотя им уже больше пятидесяти лет, не потеряли ничего из своей ценности.

Прудон действительно говорил во имя личности, ревностно оберегающей всю свою свободу, желающей сохранить независимость своего угла, своей работы, своего почина, своих исследований тех удовольствий, которые эта личность может позволить себе, не эксплуатируя никого другого, борьбы, которую она захочет предпринять, – вообще всей своей жизни. И этот вопрос прав личности ставится теперь с тою же силой, как и во времена «Экономических противоречий» Прудона.

Может быть, даже с большей силой, потому что государство расширило с тех пор в громадной степени свои посягательства на свободу личности, при посредстве обязательной

воинской повинности и своих армий, которые исчисляются миллионами людей и миллиардами налогов, при помощи школы, «покровительства» наукам и искусствам, усиленного полицейским и иезуитским надзором, и, наконец, при помощи колоссального развития чиновничества.

Анархист наших дней ставит все эти упреки государству. Он говорит во имя личности, восстававшей на протяжении веков против учреждений коммунизма, более или менее частичного, но всегда государственного, на которых человечество останавливалось несколько раз в течение своей долгой и тяжелой истории. Легко относиться к этим возражениям нельзя. Это уже не адвокатские ухищрения. Кроме того, они сами должны были явиться в той или иной форме у самого анархиста-коммуниста, так же как и у индивидуалиста. Тем более что вопрос, поднятый этими возражениями, входит в полном виде в другой более широкий вопрос о том, является ли жизнь в обществе средством освобождения личности или средством порабощения? Ведет ли она к расширению личной свободы

и к увеличению личности или же к ее умалению? Это основной вопрос всей социологии, и как таковой он заслуживает самого глубокого обсуждения.

Затем – это не только вопрос отвлеченной науки. Завтра мы можем быть призваны к тому, чтобы приложить свою руку к социальной революции. Сказать, что нам нужно только произвести разрушение, оставив другим – кому? – строительную работу, было бы нелепо.

Кто же будет каменщиками-постройщиками, если не мы сами? Потому что если можно разрушить дом, не строя на его месте другой, то этого нельзя делать с учреждениями. Когда разрушают одно учреждение, то в то же время закладывают основания того, что разовьется позднее на его месте. Действительно, если народ начнет прогонять собственников дома, земли, фабрики, то это не для того, чтобы оставить дома, земли и фабрики пустыми, а для того, чтобы так или иначе занять их немедленно. А это значит – строить тем самым новое общество.

Попробуем же указать некоторые суще-

ственные черты этого громадного вопроса.

II. Государственный коммунизм ***Коммунистические общины***

Важность вопроса, который мы подняли, слишком очевидна, чтобы ее можно было оспаривать. Многие анархисты, включая сюда и коммунистов, и многие мыслители вообще, вполне признавая все выгоды, которые коммунистический строй может дать обществу, видят, однако, в этой форме социальной организации серьезную опасность для общественной свободы и для свободного развития личности. Что такая опасность действительно существует, в этом нет никакого сомнения. Притом, коснувшись этого предмета, приходится разобрать другой вопрос, еще более важный, поставленный во всю свою широту нашим веком, – вопрос о взаимных отношениях личности и общества вообще.

К несчастью, вопрос о коммунизме осложнился разными ошибочными воззрениями на эту форму общественной жизни, получившими довольно широкое распространение. В большинстве случаев, когда говорили о коммунизме, то подразумевали коммунизм более

или менее христианский и монастырский – и во всяком случае государственный, подначальный, то есть подчиненный строгой центральной власти. В таком виде он проповедовался в коммунистических утопиях XVII в., в заговоре Бабефа в 1775 г., а затем, в первой половине девятнадцатого века, особенно Кабе и тайными коммунистическими обществами, и в таком виде его осуществляли на практике в некоторых общинах в Америке. Принимая за образец семью, эти общины стремились создать «великую коммунистическую семью» и ради этого хотели прежде всего «переродить человека». В этих целях, помимо труда сообща, они налагали на своих членов тесное, семейное сожительство, удаление от современной цивилизации, обособление коммуны, вмешательство «братьев и сестер» во все малейшие проявления внутренней жизни каждого из членов общины, и, наконец, полное подчинение начальству коммуны или (в заговоре Бабефа и у немецких коммунистов) государственной власти.

Затем, в рассуждениях о коммунизме недостаточно различают и часто смешивают мел-

кие единичные общины, многократно создававшиеся за последние триста или четыреста лет, и те коммуны, имеющие возникнуть в большом числе и вступающие между собою в союзные договоры, которые могут создаться в обществе, выступившем на путь социальной революции, – коммуны, основанные группами интеллигентов и городских рабочих, не способные бороться против всех сложных трудностей жизни земледельческого пионера на девственных землях Америки, и – коммуны того же характера, основанные также в Америке, но земледельцами: немецкими крестьянами, как, например, в Анаме, или славянскими крестьянами, как, например, духоворами.

Таким образом, для успешного обсуждения вопроса о коммунизме и о возможности обеспечить личную независимость в коммунистическом обществе необходимо рассмотреть порознь следующие вопросы:

1 – производство и потребление сообща, его выгоды и его неудобства, то есть каким образом можно устроить работу сообща и как пользоваться сообща всем, что нужно для

жизни?

2 – совместную жизнь, то есть необходимо ли устраивать ее непременно по образцу большой семьи?

3 – единичные и разбросанные общины, общины, возникающие в настоящее время; и

4 – общины будущего строя, вступающие между собою в союзный договор (федерацию); и, наконец,

5 – влечет ли коммунизм общинной жизни за собою неизменно подавление личности? Другими словами – каково положение личности в коммунистическом обществе при общинном строе?

Под именем социализма вообще в течение XIX в. совершилось громаднейшее умственное движение. Началось оно с заговора Бабефа, с Фурье, Сен-Симона, Роберта Оуэна и Прудона, которые формулировали главнейшие течения социализма, и продолжалось оно их многочисленными последователями: французскими (Консидеран, Пьер Леру, Луи Блан), немецкими (Маркс, Энгельс, Шефле), русскими (Бакунин, Чернышевский) и так далее, которые работали над распространением в по-

нятной форме воззрений основателей современного социализма либо над утверждением их на научном основании.

Мысли основателей социализма, по мере того как они вырабатывались в более определенных формах, дали начало двум главным социалистическим течениям: коммунизму начальническому и коммунизму анархическому (безначальному), а равно и нескольким промежуточным формам, выискивающим компромиссы или сделки между теперешним обществом и коммунистическим строем. Таковы школы: государственного капитализма (государство владеет всем необходимым для производства и жизни вообще), коллективизма (всем выплачивается задельная плата[122] , по рабочим часам, бумажными деньгами, в которых место рублей заняли рабочие часы), кооперации (производительные и потребительные артели), городского социализма (полусоциалистические учреждения, вводимые городской управою или муниципалитетом) и многие другие.

В то же время в чисто рабочей среде те же мысли основателей социализма (особенно Ро-

берта Оуэна) помогли образованию громадного рабочего движения. Оно стремится соединить всех рабочих в союзы по ремеслам ради прямой, непосредственной борьбы против капитала. Это движение породило в 1864–1879 гг. Интернационал, или Международный союз рабочих, который стремился установить всенародную связь между объединенными ремеслами, а затем его продолжения, но с ограниченной программой: политической, социал-демократической партии.

Три существенных пункта было установлено этим громадным движением, умственным и революционным, и эти три пункта глубоко проникли за последние тридцать лет в общественное сознание. Вот они:

1) уничтожение задельной платы, выдаваемой капиталистом рабочему, так как представляет она собою не что иное, как современную форму древнего рабства и крепостного ига;

2) уничтожение личной собственности на то, что необходимо обществу для производства и для общественной организации обмена продуктов; и, наконец,

3) освобождение личности и общества от той формы политического порабощения – государства, – которая служит для поддержания и сохранения экономического рабства.

По этим трем пунктам, можно сказать, уже устанавливается некоторое соглашение между мыслящими социалистами.

Действительно, даже коллективисты, которые настаивают на необходимости «рабочих чеков», или платы по часам работы, а равно и те, которые говорят, как выразился POSSIBILIST[123] («возможник») Брусе[124]: «Все должны быть чиновниками!» (Tous – fonctionnaires), то есть что все рабочие должны быть на жалованье либо у государства, либо у города, либо у сельской общины, даже они соглашаются, в сущности, с вышеупомянутыми тремя пунктами. Они предлагают ту или другую временную сделку только потому, что не предвидят возможности сразу перейти от теперешнего строя к безгосударственному коммунизму. Они идут на сделки, потому что считают их неизбежными, но их конечной целью все-таки остается коммунизм.

Что же касается до государства, то даже те

из них, которые остаются ярыми защитниками государства и сильной правительственной власти и даже диктатуры, признают (как выразился однажды Энгельс), что когда классы, существующие теперь, будут уничтожены, то с ними исчезнет и надобность в государстве. Таково было, по крайней мере, мнение некоторых вождей марксистской школы.

Таким образом, нисколько не стремясь преувеличивать значение анархической партии в социалистическом движении из-за того только, что она «наша» партия, мы должны признать следующее.

Каковы бы ни были разногласия между различными партиями общесоциалистического движения, — причем эти разногласия обуславливаются в особенности различием в способах действия, более или менее революционных, принятых тою или другою партией, — все мыслители социалистического движения, к какой бы партии они ни принадлежали, признают, что конечной целью социалистического развития должно быть развитие вольного коммунизма. Все остальное — сами же они сознаются — есть не что иное, как

ряд переходов на пути к этой цели.

Но нужно помнить, что всякое рассуждение о переходах, которые придется сделать на пути к цели, будет совершенно бесполезно, если оно не будет основано на изучении тех направлений, тех зачаточных переходных форм, которые теперь уже намечаются в современном обществе; причем среди этих различных направлений два особенно заслуживают нашего внимания.

Одно из них состоит в следующем. По мере того как сложнее становится жизнь общества, все труднее и труднее бывает определить, какая доля в производстве пищи, одежды, машин, жилья и тому подобного по справедливости должна приходиться на долю каждого отдельного работника. Земледелие и промышленность теперь до того осложняются и взаимно переплетаются, все отрасли промышленности до того начинают зависеть друг от друга, что система оплаты труда рабочего-производителя, смотря по количеству добытых или выработанных им продуктов, становится все более и более невозможной, если стремиться к справедливости. Работая одина-

ково усердно, два человека на разного сорта земле, в разные годы или в двух разных угольных коях, или же на двух разных ткацких фабриках при разных машинах, или даже на той же машине, но при разной хлопке, произведут различное количество хлеба, угля, тканей.

В прежнее время, когда существовал только один способ делать башмаки, шить белье, ковать гвозди, косить луг и так далее, можно было считать, что если такой-то работник произведет более башмаков, белья, гвоздей или если он выкосит более сена, чем другой, то ему заплачено будет за его усердие или за умение, ловкость, если дать ему повышенную плату соответственно результатам, которые он получил.

Но теперь, когда продуктивность труда зависит особенно от машин и от организации труда в каждом предприятии, становится все менее и менее возможным определять плату соответственно результатам, полученным каждым рабочим.

Поэтому мы видим, что чем развитее становится данная промышленность, тем более

исчезает в ней поштучная заработная плата, тем охотнее заменяется она поденною платою, по столько-то в день. С другой стороны, сама поденная плата имеет некоторое стремление к уравниванию.

Теперешнее общество, конечно, продолжает делиться на классы, и есть целый громаднейший класс «господ», или буржуа, у которых жалованье тем выше, чем менее они работают в день. Затем, среди самих рабочих есть также четыре крупных разряда, в которых рабочий день оплачивается очень различно, а именно: женщины, сельские рабочие, чернорабочие, делающие простую работу, и рабочие, знающие какое-нибудь более или менее специальное ремесло. Но эти четыре разряда различно оплачиваемых рабочих представляют только четыре разряда эксплуатации рабочего его хозяином и каждого разряда самих рабочих другими, высшими разрядами: женщин – мужчинами, сельских рабочих – фабричными. Таковы результаты буржуазной организации производства.

Теперь оно так, но в обществе, в котором установится равенство между людьми и все

смогут научиться какому-нибудь ремеслу и в котором хозяин не сможет пользоваться подчиненным положением рабочего, мужчина – подчиненным положением женщины, а городской рабочий – подчиненным положением крестьянина, – в таком обществе деление на классы исчезнет. Даже теперь уже в каждом из этих классов заработная плата имеет стремление к уравниванию. И поэтому совершенно справедливо было замечено, что для правильно устроенного общества рабочий день землекопа стоит столько же, то есть имеет одинаковую ценность, что и день ювелира или учителя. В силу этого еще Роберт Оуэн, а за ним Прудон предложили, и даже оба попробовали ввести рабочие чеки; то есть каждый человек, проработавший, скажем, пять часов в каком бы то ни было производстве, признанном полезным и нужным, получает квитанцию с означением «пять часов»; и с этою квитанциею он может купить в общественном магазине любую вещь – еду, одежду, предмет роскоши – или же заплатить за квартиру, за проезд по железной дороге и так далее, представляющие то же количество

часов работы других людей. Эти самые рабочие чеки коллективисты и предлагают ввести в будущем социалистическом обществе для оплаты всякого рода труда. В Парижской Коммуне 1871 г. мы видели также, что администраторам и правительству коммуны платилось одинаковое жалованье в пятнадцать франков в день.

Если вдуматься, однако, во все то, что до сих пор было сделано, чтобы установить общественное, социалистическое пользование чем бы то ни было, мы не видим – за исключением нескольких тысяч фермеров в Америке, которые ввели между собою рабочие чеки, – мы не видим, чтобы где-нибудь мысль Роберта Оуэна и Прудона, проповедуемая теперь коллективистами, принялась в сколько-нибудь значительных размерах. Со времени попытки Оуэна, сделанной три четверти века тому назад, рабочий чек не привился нигде. И я указал в другом месте («Хлеб и Воля», глава о задельной плате), какое внутреннее противоречие мешает широкому приложению этого проекта.

Зато мы замечаем, наоборот, множество

всевозможных попыток, сделанных именно в направлении коммунизма, либо частного, ограниченного, неполного, либо даже полного. Многие сотни коммунистических общин были основаны в течение XIX в. в Европе и в Америке, и даже в настоящую минуту нам известно несколько десятков общин, живущих более или менее на началах коммунизма и более или менее процветающих, так что если бы кто-нибудь занялся описанием всевозможных, больших и малых, коммунистических и полуккоммунистических общин, рассеянных по белу свету (как это сделал лет тридцать тому назад Нордхоф для Америки), то картина получилась бы весьма поучительная.

Оставляя в стороне религиозный вопрос и его роль в организации коммунистических обществ, достаточно будет указать на пример духоборов в Канаде, чтобы показать экономическое превосходство коммунистического труда по сравнению с трудом личным. Прибыв в Канаду без копейки, они были принуждены устроиться там в еще необитаемой, холодной части провинции Альберты; за отсутствием лошадей их женщины запрягались по

20 или 30 человек в соху, в то время как мужчины среднего возраста работали на железной дороге и отдавали свои жалованья на общие нужды в коммуну; и, однако, через семь или восемь лет все 6000 или 7000 духоборов сумели достигнуть благосостояния, организовав свое земледелие и свою жизнь при помощи всяких современных машин – американских косилок и вязалок, молотилок и паровых мельниц на коммунальных началах[125].

Таким образом, мы имеем здесь союз около двадцати коммунистических поселков, причем каждая семья живет в своем доме, но полевые работы производятся сообща, и каждая семья берет из общественных магазинов, что ей нужно для жизни. Эта организация, которая в течение нескольких лет поддерживалась религиозной идеей общины, не является, конечно, нашим идеалом; но мы должны признать, что с точки зрения экономической жизни громадное превосходство коммунистического труда над индивидуальным трудом и полная возможность приспособить этот труд к современным потребностям земледелия с помощью машин были превосход-

но доказаны.

Но кроме этих попыток удачного коммунизма в сельском хозяйстве мы можем также указать на множество примеров коммунизма частичного, имеющего целью одно потребление, который проводится в многочисленных попытках социализации, делающихся в буржуазном обществе, – либо среди частных лиц, либо целыми городами (так называемый муниципальный, или городской, социализм).

Что такое гостиница, пароход, швейцарский «пансион», если не попытки, делающиеся в этом направлении среди буржуазного общества? В обмен на определенную плату – столько-то рублей в день – вам представляется выбирать что вам вздумается из десяти или более блюд, которые вам предлагаются на океанском пароходе или в отеле, и никому в голову не приходит учитывать, сколько вы чего съели. Такая организация теперь установилась даже международная. Уезжая из Лондона или Парижа, вы можете заpastись билетами (по столько-то рублей в день), и по этим билетам вы получаете комнату, кровать и стол в сотнях гостиниц, рассеянных во Фран-

ции, Германии, Швейцарии, Италии и принадлежащих к международному союзу гостиниц.

Буржуа прекрасно поняли, какую громадную выгоду представляет им этот вид ограниченного коммунизма для потребления, соединенного с полной независимостью личности; вследствие этого они устроились так, что за определенную плату, по столько-то в день или в месяц, все их потребности жилища и еды бывают вполне удовлетворены без всяких дальнейших хлопот. Предметы роскоши, конечно, не входят в этот договор: за тонкие вина и за особенно роскошные комнаты приходится платить особо; но за плату, одинаковую для всех, основные потребности удовлетворены, не считая того, сколько каждый отдельный путешественник съест или не доест за общим столом.

Страхование от пожаров, особенно в селах, где существует до некоторой степени приблизительное равенство в достатках всех жителей, и где поэтому страховая премия взимается равная со всех; застрахование от случайных увечий в экипаже или во время путеше-

ствий по железным дорогам; застрахование от воровства, причем вы платите в Англии немного более рубля в год (полкроны), и компания выплачивает вам, по вашей собственной оценке, за все, что бы у вас ни украли, ценою до тысячи рублей – и делает это без всяких разбирательств и без всякого обращения к полиции («С какой стати? – говорил нам агент. – Обращаться к полиции! Все равно она ничего не разыщет, а ваш рубль покрывает наши платежи и другие расходы, еще с барышом») – все это формы частного коммунизма или, вернее, артельной жизни, возникающие чрезвычайно быстро за последние двадцать пять лет. Прибавьте к этому еще ученые общества, которые за такую-то плату в год дают вам библиотеку, комнаты для ваших работ, музей или зоологический сад, которые ни один миллионер не может купить на свои миллионы. Прибавьте клубы, дающие вам комнату, библиотеку, общество и всякие другие удобства, и общества для оплаты доктора, столь распространенные среди английских рабочих; возьмите общества застрахования на случай болезни; возьмите артельные путе-

шествия, устраиваемые не только частными агентами, но и образовательными учреждениями (Polytechnie Tours в Англии); или возьмите обычай, распространяющийся теперь в Англии, что за рубль или даже за полтинник в неделю вам доставляют на дом, прямо от рыболовов, столько рыбы, сколько вы можете съесть в неделю в вашей семье; возьмите клуб велосипедистов с его тысячами мелких удобств и услуг, оказываемых членами, и так далее, и так далее.

Словом, мы имеем перед собою сотни учреждений, возникших очень недавно и распространяющихся с необыкновенною быстротою, основанных на началах приближения к коммунистическому пользованию целыми обширными отраслями потребления.

И, наконец, мы имеем еще тоже быстро разрастающиеся городские учреждения коммунистического рода. Город берется доставлять всем воду за столько-то в год, не считая в точности, сколько вы израсходуете воды; точно так же – газ и электричество для освещения и как рабочую силу, – во всех этих городских предприятиях те же попытки социализа-

ции потребления прилагаются в масштабе, который расширяется с каждым днем. И особенно важно то, что это потребление неизбежно приводит города к муниципальной организации производства (газа, электричества, городских молочных и т. п.).

Кроме того, города имеют теперь свои гавани и доки, свои сады, свои конки и трамваи, с одинаковою платою за большое или малое расстояние (начиная от нескольких сот шагов до 30 верст вы платите в Америке все ту же плату), свои общественные бани и прачечные, и, наконец, города начинают строить свои общественные дома; или же город держит своих овец, или, наконец, заводит свою молочную ферму (Торки в Англии). Более того, мы увидим через несколько лет в Англии город, имеющий сам свои угольные копи, чтобы получить электричество для освещения и двигательной силы, без того чтобы приходилось за это платить дань владельцам копей. В Манчестере это было уже решено в принципе, когда трест главных угольных компаний поднял на большую цифру цену угля в течение бурской войны. И с каждым годом эти по-

пытки расширения городского хозяйства в коммунистическом направлении растут, расширяя также область их приложений.

Конечно, все это еще не коммунизм. Далеко не коммунизм. Но основная мысль большинства этих учреждений содержит в себе частицу коммунистического начала. А именно: за известную плату, по столько-то в год или в день, вы имеете право удовлетворить такой-то разряд ваших потребностей – за исключением, конечно, роскоши в этих потребностях. Теперь вы еще платите за это деньгами, но близок день, когда платить можно будет и трудом: начало уже положено.

Многого, конечно, еще недостает этим зачаткам коммунизма, чтобы стать действительным коммунизмом: во-первых, плата производится деньгами, а не трудом; а во-вторых, потребители, по крайней мере, в частных предприятиях, не имеют голоса в заведении делом.

Но нужно также заметить следующее. Если бы основная мысль этих учреждений была правильно понята, то нетрудно было бы уже теперь завести, даже по частной или обще-

ственной инициативе, такую общину, в которой первый пункт, то есть уплата трудом, был бы уже введен. Возьмите, например, участок земли, скажем, в 500 десятин. На этой земле строится двести домов, каждый с садом или огородом в четверть десятины. Остальная земля обращается в поля, огороды и общественные сады. Предприниматель берется либо представлять каждой семье, занимающей эти дома, на выбор любые из пятидесяти блюд, приготовляемых им каждый день (как в американской гостинице), или же он доставляет желающим готовый хлеб, сырое мясо, овощи и т. д., – сколько они потребуют, – чтобы готовить у себя на дому (шаг в этом направлении уже делают рыбаки, доставляя рыбу по абонементу). Отопление производится, конечно, по-американски, из общей печи по трубам с горячей водой. И за все это хозяин учреждения берет с вас либо плату деньгами, по столько-то в день, либо плату работою, по столько-то часов в день по вашему выбору в любой из отраслей, нужных для его села-гостиницы. Работайте по вашему выбору в полях или в огороде, на скотном дворе или на

кухне, или по уборке комнат, столько-то часов в день, и ваша работа зачтется в уплату за вашу жизнь. Такое учреждение можно было бы завести хоть завтра, и приходится удивляться одному – что этого давно уже не было сделано каким-нибудь предприимчивым содержателем гостиницы[126].

III. Маленькие коммунистические общины

Причины их неуспеха

По всей вероятности, некоторые читатели заметят, что именно на этом пункте, то есть на работе сообща, коммунисты, наверно, провалятся, так как на нем уже провалились многие общины. Так, по крайней мере, написано во многих книгах. А между тем это будет совершенно неверно. Когда коммунистические общины проваливались, то причины неудачи обыкновенно бывали совсем не в общем труде.

Во-первых, заметим, что почти все такие общины основывались в силу полурелигиозного увлечения. Основатели решали стать «глашатаями человечества, пионерами великих идей» и, следовательно, подчиняться

строжайшим правилам мелочно требовательной «высокой» нравственности, «переродиться» благодаря общинной жизни и, наконец, отдавать все свое время, во время и вне работы, своей общине – жить исключительно для нее.

Выставлять такие требования значило, однако, поступать так, как делали в старину монахи и отшельники; то есть требовать от людей – без всякой нужды, – чтобы они стали чем-то другим, чем они есть на самом деле. И только недавно, совсем недавно, стали основываться общины, преимущественно рабочими-анархистами, без всяких таких высоких стремлений, просто с чисто экономической целью избавиться от обирания хозяином-капиталистом.

Другая ошибка коммунистов состояла в том, что они непременно желали устроиться по образцу семьи и основать «великую семью братьев и сестер». Ради этого они селились под одним кровом, где им приходилось всю жизнь оставаться в обществе все тех же «братьев и сестер». Но тесное сожительство под одним кровом – вообще вещь нелегкая. Два

родных брата, сыновья одних и тех же родителей, и то не всегда уживаются в одной избе или в одной квартире. Кроме того, семейная жизнь не всем подходит. А потому было ко- ренною ошибкою налагать на всех членов жизнь «большою семьею» вместо того, чтобы, напротив, обеспечить каждому наибольшую свободу и наибольшее охранение внутренней жизни каждой семьи. Уже то, что русские ду- хоборы, например, живут в отдельных из- бах, – гораздо лучше обеспечивает сохране- ние их полукommунистических общин, чем жизнь в одном монастыре.

Первое условие успеха коммуны было бы – оставить мысль о фаланстере и жить в от- дельных домиках, как это делают в Англии.

К тому же маленькая община не может долго просуществовать. Известно, что люди, вынужденные жить очень тесно, на пароходе или в тюрьме, и обреченные на то, чтобы по- лучать очень небольшое количество внеш- них впечатлений, начинают просто не выно- сить друг друга (вспомните собственный опыт или хоть Нансена с его товарищами). А в маленькой общине довольно двум челове-

кам стать соперниками или во враждебные отношения, чтобы, при бедности внешних впечатлений, общине пришлось распаться. Удивительно еще, что иногда такие общины могли существовать довольно долго; тем более что все такие братства еще уединяются от других.

Поэтому, основывая общину в десять, двадцать или сто человек, так и следовало бы знать заранее, что больше трех или четырех лет она не проживет. Если бы она прожила долее, то пришлось бы даже пожалеть об этом, потому что это только доказывало бы, что ее члены или дали себя поработить одним из них, или совершенно обезличились.

Но так как можно заранее быть уверенным, что через три, четыре или пять лет часть членов общины пожелает отделиться, то следовало бы, по крайней мере, иметь десяток или два таких общин, объединенных союзным договором. В таком случае тот, кто по той или другой причине захочет оставить свою общину, сможет, по крайней мере, перейти в другую, а его место может занять кто-нибудь со стороны. Иначе коммуна расходит-

ся или же (как это бывает в большинстве случаев) попадает в руки одного из членов – наиболее хитрого и ловкого «брата». Эту мысль о необходимости союзного договора между коммунарами я настоятельно рекомендую тем, которые продолжают основывать коммунистические общины. Она родилась не из теории, а из опыта последних лет, особенно в Англии, где несколько общин попало в руки отдельных «братьев» именно из-за отсутствия более широкой организации.

Маленькие общины, основывавшиеся за последние тридцать-сорок лет, гибли еще по одной весьма важной причине. Они уединялись «от мира сего». Но борьба и жизнь, одушевленная борьбою, для человека деятельного гораздо нужнее, необходимее, чем сытный обед. Потребность жить с людьми, окунуться в бурный поток общественной жизни, принять участие в борьбе, жить жизнью других и страдать их страданиями особенно сильна в молодом поколении. Поэтому, как это отлично заметил мне Николай Чайковский[127], вынесший это из личного опыта, молодежь, как только она подходит к восемнадцати или

двадцати годам, неизбежно покидает свою общину, не составляющую часть всего общества; и молодежь неизбежно будет покидать свои общины, если они не слились с остальным миром и не живут его жизнью. Между тем большинство коммун (за исключением двух, основанных нашими друзьями в Англии возле больших городов) до сих пор прежде всего считало нужным удалиться в пустыню. В самом деле, вообразите себя в возрасте от 16 до 20 лет, в заключении в небольшой коммунистической общине где-нибудь в Техасе, Канаде или Бразилии. Книжки, газеты, журналы, гравюры говорят вам о больших красивых городах, где интенсивная жизнь бьет ключом на улицах, в театрах, на митингах, как бурный поток. «Вот это – жизнь, – говорите вы, – а здесь смерть, хуже, чем смерть, медленное оупение! – Несчастье? Голод? Ну что ж, я хочу испытать и несчастье, и голод; пусть только это будет борьба, а не нравственное и умственное оупение, которое хуже, чем смерть!» И с этими словами вы уходите из коммуны.

И вы правы.

Поэтому понятно, какую ошибку делали икарийцы и другие коммунисты, основывая свои коммуны в прериях Северной Америки. Беря даром или покупая за более дешевую цену землю в местах еще мало заселенных, они тем самым прибавляли ко всем трудностям новой для них жизни еще все те трудности, с которыми приходится бороться всякому поселенцу на новых местах, вдали от городов и больших дорог. А трудности эти, как известно по опыту, очень велики. Правда, что они получали землю за дешевую плату, но опыт коммуны около Ньюкастла доказал нам, что в материальном отношении община гораздо лучше и скорее обеспечивает свою жизнь, занимаясь огородничеством и садоводством (в значительной мере в парниках и оранжереях), а не полеводством; причем вблизи большого города ей обеспечены сбыт плодов и овощей, которыми оплачивается даже высокая арендная плата за землю. Самый труд огородника и садовника несравненно доступнее городскому жителю, чем полевое хозяйство, а тем более – расчистка нивы в незаселенных пустынях.

Гораздо лучше платить арендную плату за землю в Европе, чем удаляться в пустыню, а тем более – мечтать, как это делали коммунисты Анамы и другие, об основании новой религиозной империи. Общественным реформаторам нужна борьба, близость умственных центров, постоянное общение с обществом, которое они хотят реформировать, вдохновение наукой, искусством, прогрессом, которых нельзя получить из одних книг.

Бесполезно прибавлять, что правительство коммуны было всегда самым серьезным препятствием для всех практических коммунистов. В самом деле, достаточно прочесть «Путешествие в Икарию» Кабе, чтобы понять, как невозможно было удержаться коммунам, основанным икарийцами. Они требовали полного уничтожения человеческой личности перед великим жрецом-основателем. Мы понимаем неприязнь, которую Прудон питал ко всей этой секте!

Рядом с этим мы видим, что те из коммунистов, которые низводили свое правительство до наименьшей степени или вовсе не имели никакого, как, например, Молодая

Икаррия в Америке, еще преуспевали лучше и держались дольше других (тридцать пять лет). Оно и понятно. Самое большое ожесточение между людьми возникает всегда на политической почве, из-за преобладания, из-за власти, а в маленькой общине споры из-за власти неизбежно ведут ее к распадению. В большом городе мы еще можем жить бок о бок с нашими политическими противниками, так как там мы не вынуждены сталкиваться с ними беспрестанно. Но как жить с ними в маленькой общине, где приходится сталкиваться каждый день, каждую минуту? Политические споры и интриги из-за власти переносятся здесь в мастерскую, в рабочую комнату, в комнату, где люди собираются для отдыха, – и жизнь становится невозможной.

Вот главные причины распада основанных до сего времени коммун.

Что же касается до коммунистического труда сообща, до общинного производства, то доказано вполне, что именно оно всегда прекрасно удавалось. Ни в одном коммерческом предприятии возрастание ценности земли, приданной ей трудом человека, не было так

велико, как оно было в любой, в каждой из общин, основанных за последние сто лет в Европе или в Америке. Редкая отрасль промышленности давала такую прибыль, как промышленные производства, основанные на коммунистических началах, – будь то меннонитская[128] мельница, или фабрикация сукон, или рубка леса, или выращивание плодовых деревьев. Можно назвать сотни общин, в которых несколько лет земля, не имевшая сначала никакой ценности, получала ценность в десять или даже во сто раз большую.

Мы уже видели, что в больших коммунах, как у 7000 духоборов в Канаде, экономический успех был полный и быстрый. Но такой же экономический успех имел место в маленькой коммуне из семи или восьми рабочих-анархистов около Ньюкастла. Они начали дело также без копейки, наняв ферму в три десятины, нам пришлось в Лондоне собирать деньги по подписке на покупку для них коровы, чтобы давать молоко детям этой крошечной коммуны. Тем не менее в три или четыре года они смогли придать своему клочку земли очень большую ценность благодаря

интенсивной обработке земли, соединенной с садоводством и парниковым огородничеством. К ним приезжали из Ньюкастла смотреть на их работу и удивлялись их замечательным успехам. Их великолепные сборы томатов, полученных в парниках, заранее покупались целиком Сэндерландским Кооперативом.

Если эта маленькая община должна была все-таки разойтись через три или четыре года, то такова уже была неизбежная судьба всякого маленького товарищества, поддерживаемого энтузиазмом нескольких личностей. Во всяком случае, не экономический провал заставил этих коммунистов распустить общину. Это были личные истории, неизбежные в такой маленькой компании, вынужденной к постоянному совместному сожителству.

Заметьте также, что если бы мы имели три или четыре анархических общины, объединенных союзным договором, то уход основателя не повел бы к распадению коммуны, — произошла бы только перемена в личном составе.

Ошибки в хозяйстве, конечно, случались в

коммунистических общинах так же, как и в капиталистических предприятиях. Но известно, что в промышленном мире число банкротств бывает из года в год от 60-ти до 80-ти на каждые сто новых предприятий. Из каждых пяти вновь основанных предприятий три или четыре банкротятся в первые же пять лет после их основания. Но мы должны признать, что ничего подобного не было с коммунистическими общинами. Поэтому когда буржуазные газеты, желая быть остроумными, советуют дать анархистам особый остров и предоставить им там основывать свою коммуну, то, пользуясь опытом прошлого, мы ничего не имеем против такого предложения. Мы только предложим, чтобы этот остров был Остров Франции (провинция Ile-de-France, в которой лежит Париж) и чтобы нам отделили нашу долю общественного богатства, сколько его придется на человека. А так как нам не дадут ни Иль-де-Франс, ни нашу долю общественного капитала, то мы будем работать для того, чтобы народ когда-нибудь сам взял и то и другое путем социальной революции. И то сказать, Париж и Барселона были не так-то уже

далеко от этого в 1871 г., а с тех пор коммунистические взгляды успели-таки распространиться среди рабочих.

Притом всего важнее то, что нынче рабочие начинают понимать, что один какой-нибудь город, если бы он ввел у себя коммунистический строй, не распространивши его на соседние деревни, встретил бы на своем пути большие трудности. Ввести коммунистическую жизнь следовало бы сразу в известной области, например, в целом американском штате, Огайо или Айдахо, как говорят наши американские друзья, социалисты. И они правы. Сделать первые шаги к осуществлению коммунизма надо будет в довольно большой промышленной и земледельческой области, захватывающей и город, и деревню, а отнюдь не в одном только городе. Город без деревни не может жить.

Нам так часто приходилось уже доказывать, что государственный коммунизм невозможен, что мы не станем вновь перечислять наши доводы. Самое лучшее доказательство то, что сами государственники, то есть защитники социалистического государства, не ве-

рят в возможность коммунизма, устроенного под палкой государства. Никто из них не думает более о программе якобинского коммунизма, как она изложена Кабе в его «Путешествии в Икарию». «Коммунистический Манифест» Маркса с Энгельсом – уже анахронизм для самих марксистов.

Большинство социалистов-государственников ныне так заняты «завоеванием части власти» (*conquete des pouvoirs*) в теперешнем, буржуазном государстве, что они вовсе даже не стараются выяснить, что такое подразумевают они под именем социалистического государства, которое не было бы вместе с тем осуществлением государственного капитализма; то есть такого строя, при котором все граждане становятся работниками, получающими задельную оплату от государства. Когда мы им говорим, что они стремятся именно к этому, они сердятся, но, несмотря на это, они вовсе не стараются выяснить, какую другую форму общественных отношений они желали бы осуществить. Причина этого понятна. Так как они не верят в возможность близкой социальной революции, они стремятся

просто к тому, чтобы стать частью правительства в теперешнем буржуазном государстве, предоставляя будущему, чтобы оно само определило свое направление.

Что касается до тех, которые пробовали набросать картину будущего общества, то, когда мы им указывали, что, придавая широкое развитие государственному началу и сосредоточивая все производство в руках государственных чиновников, они тем самым убивают ту небольшую личную свободу, которую человечеству удалось уже отвоевать, они обыкновенно отвечали, что вовсе не хотят над собою власти, а только хотят завести статистические комитеты. Но это простая игра словами. Теперь достаточно уже известно, что единственная путная статистика исходит от самой личности. Только сама личность, каждая в отдельности, может дать точные статистические сведения насчет своего возраста, занятий и общественного положения и подвести итоги тому, что каждый из нас произвел и потребил. Так и собирается теперь статистика, когда составители действительно хотят, чтобы их цифры заслуживали доверия.

Так делались, между прочим, и наши «подворные описи» честными земскими статистиками из молодежи.

Вопросы, которые надо поставить каждому обывателю при серьезных статистических обследованиях, в последнее время вырабатываются обыкновенно добровольцами или учеными, статистическими обществами, и роль статистических комитетов сводится теперь на то, что они раздают печатные листы с вопросами, а потом сортируют карточки и подводят итоги при помощи вычислительных машин. Поэтому утверждать, что социалист так именно и понимает государство и что никакой другой власти он ему и не хочет вручить, значит (если сказано искренно) попросту «отступить с честью». Под словом «государство» во все века, да и самими государственниками-социалистами, понимался во все не рассыльный, разносящий листы переписи, и не счетчик, подводящий итоги переписи, а действительные распорядители народной жизни. Но и то сказать, что бывшие якобинцы порядком посбавили за последнее время со своих восторгов перед диктатурой и

социалистической централизацией, которые они так горячо проповедовали лет тридцать тому назад. Нынче никто из них не решится утверждать, что потребление и производство картофеля должно устанавливаться из Берлина парламентом немецкого фолькштата (народного государства), как это говорилось в немецких социалистических газетах лет тридцать тому назад.

IV. Ведет ли коммунизм к умалению личности?

Так как коммунистическое государство есть утопия, от которой начинают отказываться те самые, которые прежде стояли за нее, то нам нечего на этом останавливаться – и давно пора заняться другим, более серьезным вопросом. А именно: анархический, то есть свободный и безгосударственный коммунизм не представляет ли также опасности для свободного развития личности? Не повлечет ли он за собою то же уменьшение свободы личности и подавление личного почина?

Дело в том, что во всех рассуждениях о свободе наши мысли затемняются пережитками старого, и нам приходится считаться с целою

кучею ложных представлений, завещанных нам веками рабства и религиозного гнета.

Экономисты уверяют нас, что договор, заключаемый рабочим, под угрозой голода, с его хозяином, именно и есть сама свобода. Политиканы всяких партий стараются, со своей стороны, убедить нас, что теперешнее положение гражданина, попавшего в крепость ко всемогущему государству, ставшего его рабом и плательщиком, есть именно то, что следует называть свободой. Но ложность этих утверждений очевидна. В самом деле – как можно изображать положение гражданина в современном государстве свободным, когда завтра же он может быть призван и отправлен в Африку, чтобы там расстреливать в упор безобидных кабиллов с единственной целью – открыть новое поле для спекуляций банкиров и дать на разграбление земли кабиллов европейским авантюристам? Как считать себя свободным, когда каждый из нас принужден отдавать во всяком случае более чем месяц труда каждый год, чтобы поддерживать целую тучу всяких правительств и чиновников, единственная цель которых – мешать тому, чтобы

идеи социального прогресса осуществлялись, чтобы эксплуатируемые начали освобождаться от своих эксплуататоров, чтобы массы, удерживаемые церковью и государством в невежестве, начали понимать кое-что и разбираться в причинах их порабощения?

Представлять это порабощение как свободу становится все более и более трудным. Но и даже самые крайние моралисты, Милль [129] и его многочисленные последователи, определяя понятие о свободе как право делать все, лишь бы не нарушать такое же право всех остальных, не дали правильного определения слова «свобода». Не говоря уже о том, что слово «право», унаследованное нами из смутных стародавних времен, ничего не говорит или говорит слишком много; но определение Милля позволило философу Спенсеру, очень многим писателям и даже некоторым индивидуалистам-анархистам, как, например, Тэккеру, оправдать и восстановить все права государства, включая суд, наказание и даже смертную казнь. Таким образом, они, в сущности, волей-неволей воссоздали то самое государство, против которого выступили сна-

чала с такою силою. Притом мысль о «свободной воле» скрывается под всеми этими рассуждениями.

Посмотрим же, что такое свобода?

Оставляя в стороне полубессознательные поступки человека и беря только сознательные (на них только и стараются оказать влияние закон, религии и системы наказания), – беря только сознательные поступки человека, мы видим, что каждому из них предшествует некоторое рассуждение в нашем мозгу. «Выйду-ка я погулять», – проносится у нас мысль... «Нет, я назначил свидание приятелю», – проносится другая мысль. Или же: «Я обещал кончить мою работу», или – «Жене и детям скучно будет одним», или же наконец: «Я потеряю свое место, если я не пойду на работу».

В этом последнем рассуждении сказался страх наказания, между тем как у первых трех человек имел дело только с самим собою, со своими привычками честности или со своими личными привязанностями. И в этом состоит вся разница между свободным и несвободным состоянием. Человек, которому

пришлось сказать себе: «Я отказываюсь от такого-то удовольствия, чтобы избежать наказания», – человек несвободный.

И вот мы утверждаем, что человечество может и должно освободиться от страха наказания, уничтожив само наказание; и что оно может устроиться на анархических началах, при которых исчезнет страх наказания и даже страх порицания. К этому идеалу мы и стремимся.

Мы прекрасно знаем, что человек не может и не должен освободиться ни от привычек известной честности (например, от привычки быть верным своему слову), ни от своих привязанностей (нежелание причинить боль, ни даже огорчение тем, кого мы любим или кого мы не хотим обмануть в их ожидании). В этом смысле человек никогда не может быть свободен. И «абсолютный» индивидуализм, о котором нам столько говорили в последнее время, особенно после Ницше, есть нелепость и невозможность.

Даже Робинзон не был абсолютно свободен в этом смысле, на своем острове. Раз он начал долбить свою лодку, обрабатывать огород

или запасать провизию на зиму, он уже был захвачен своим трудом. Если он вставал ленивый и хотел поваляться в своей пещере, он колебался минуту, а затем шел к своей начатой работе. С той же минуты, как у него завелся товарищ собака или несколько коз, а в особенности с тех пор, как он встретился с Пятницею, он уже не был вполне свободен, в том смысле, в каком это слово нередко употребляется в жару спора и иногда на публичных собраниях.

У него уже были обязанности, он уже вынужден был заботиться об интересах другого, он уже не был тем «полным индивидуалистом», которого нам иногда расписывают в спорах об анархии.

С той минуты, как человек любит жену и имеет детей – кто бы их ни воспитывал: сам ли он или «общество», – у него возникают новые обязательства; но даже с той минуты, как у него завелось хоть одно домашнее животное или огород, требующий поливки только в известные часы дня, – он уже не может быть более тем «знать ничего не хочу», «эгоистом», «индивидуалистом» и тому подобное, кото-

рых нам иногда выставляют как типы свободного человека. Ни на Робинзоновом острове, ни, еще менее, в обществе, как бы оно ни было устроено, такой тип не может быть преобладающим.

Он может появиться как исключение, и действительно он появляется в качестве мятежника против разлагающегося и лицемерного общества, как наше, но никогда он не станет общим типом и ни даже желательным типом.

Человек всегда принимал и всегда будет принимать в расчет интересы хоть нескольких других людей, – и будет принимать их все более и более, по мере того как между людьми будут устанавливаться более и более тесные взаимные отношения, а также и по мере того, как эти другие сами будут определеннее заявлять свои желания и свои чувства, свои права на равенство и настаивать на их удовлетворении.

Вследствие этого мы не можем дать свободе никакого другого определения, кроме следующего:

Свобода есть возможность действовать, не

вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного, или страх голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга).

Понимая свободу в этом смысле – а я сомневаюсь, чтобы можно было дать ей другое, более широкое и вместе с тем более вещественное определение, – мы должны признать, что коммунизм действительно может уменьшить и даже убить личную свободу. Таким его и проповедовали под предлогом, что это принесет счастье человечеству, и во многих коммунистических общинах это пробовали на деле. Но коммунизм также может расширить эту свободу до ее последних пределов, которых невозможно достигнуть при индивидуалистском труде и еще менее при том строе, когда людей эксплуатируют и рассматривают как низшие существа.

Все будет зависеть от того, с какими основными воззрениями мы приступим к коммунизму. Сама коммунистическая форма общежития отнюдь не обуславливает подчинения личности. Большой же или меньший простор, предоставленный личности в данной

форме общегития – если только жизнь не устроена заранее в подначальной, пирамидальной форме, – определяется теми воззрениями на необходимость личной свободы, которые вносятся людьми в то или другое общественное учреждение.

Сказанное справедливо по отношению ко всякой форме общественной или совместной жизни. Когда два человека селятся вместе в одной квартире, их совместная жизнь может привести одинаково – либо к подчинению одного из них другому, либо к установлению между ними отношений равенства и свободы для обоих. То же самое происходит в семье. То же самое будет, если мы возьмемся вдвоем копать огород или издавать газету, и то же самое относится ко всякому другому союзу, большому или маленькому, к артели и ко всякой форме общественной жизни.

Таким образом в X, XI и XII в. в городах того времени создавались общины вольных и равных и равно свободных людей, причем эти общины ревностно охраняли свою свободу и равенство; но в тех же самых общинах четырехста лет спустя народ, под влиянием учений

церкви и римского права, требовал диктатуры какого-нибудь монаха или короля. Учреждения городского суда, цеховое устройство и прочее остались те же; но тем временем в городах развились понятия римского права, верховной церкви и государственного права, тогда как первоначальные понятия о равенстве, третейском суде, о свободном договоре и о личном почине притупились, исчезли; и из этого родилась рабская приниженность XVII и начала XVIII в. во всей средней Европе.

В современном обществе, где никому не позволено обрабатывать поле, работать на фабрике или пользоваться орудием труда, без того чтобы не признать себя существом, подчиненным какому-нибудь господину, рабство, подчинение и привычка к кнуту навязываются самой формой общества. Наоборот, в коммунистическом обществе, которое признает право каждого на равных условиях на все орудия труда и на все средства существования, которые имеет общество, уже нет людей на коленях перед другими, кроме разве тех, кто по своему характеру являются добровольными рабами. Каждый считается рав-

ным другому в том, что касается его права на благополучное существование, лишь бы он не преклонялся перед волей и высокомерием других и поддерживал равенство во всех своих личных сношениях с товарищами по коммуне.

В самом деле, если присмотреться внимательнее, то нет никакого сомнения, что из всех учреждений, из всех испробованных до сих пор форм общественной организации коммунизм еще больше всех других может обеспечить свободу личности, если только основной идеею общины будет полная свобода, отсутствие власти – анархия.

Коммунизм, как учреждение экономическое, может принять все формы, начиная с полной свободы личности и кончая полным порабощением всех, – между тем как другие формы общественной жизни не могут проявляться безразлично в том или другом виде: те из них, например, которые не признают гражданского и имущественного равенства, неизбежно влекут за собою порабощение одних людей другими. Коммунизм же может проявиться, например, в форме монастыря, в

котором все монахи, безусловно, подчиняются воле настоятеля, но он может также выразиться и в форме вполне свободного товарищества, в котором каждый член сохраняет полнейшую независимость; причем само товарищество существует только до тех пор, покуда его члены желают оставаться вместе и, нисколько не стремясь накладывать принуждение, стараются, наоборот, защищать свободу каждого и увеличивать и расширять ее во всех направлениях.

Коммунизм, конечно, может быть начальническим, принудительным – и в этом случае, как показывает опыт, община скоро гибнет, – или же он может быть анархическим. Тогда как государство, будь оно основано на крепостном праве или же на коллективизме и коммунизме, роковым образом должно быть принудительным. Иначе оно перестает быть государством!

Оно не может присвоить себе по желанию ту или иную форму. Те, кто думает, что это возможно, придают слову «государство» произвольный смысл, противоречащий происхождению и многовековой истории этого

учреждения. Государство есть ярко выраженный тип иерархического учреждения, выработанный веками для того, чтобы подчинить всех людей и все их возможные группировки централизованной воле.

Государство по необходимости основано на принципе иерархии, начальства, иначе оно перестает быть государством[130].

Есть еще один весьма важный пункт, который должен обратить на себя внимание каждого, кто дорожит свободой. Теперь уже начинают понимать, что без коммунизма человек никогда не достигнет полного развития личности, которое составляет, может быть, самое пламенное желание каждого мыслящего существа. Очень вероятно, что этот существенный пункт был бы давно признан, если бы люди не смешивали индивидуализации, то есть полного развития личности, с индивидуализмом. А последний – это давно пора признать – есть не что иное, как буржуазный лозунг «каждый для себя и Бог для всех», причем буржуазия думала найти в этом средство освободиться от общества, налагая на рабочих экономическое рабство под покровитель-

ством государства. Впрочем, теперь она уже замечает, что сама также стала рабом государства.

Что коммунизм лучше всякой другой формы общежития может обеспечить экономическую свободу – ясно из того, что он лучше, чем всякая другая форма производства, может обеспечить каждому члену общества благосостояние и даже удовлетворение потребностей роскоши, требуя взамен не более четырех или пяти часов работы в день, вместо того чтобы требовать от него десять или девять или хотя бы даже восемь часов в день. Дать каждому досуг в течение десяти или одиннадцати часов из тех шестнадцати часов в сутки, которые представляют нашу сознательную жизнь (около восьми часов надо положить на сон), – уже значит расширить свободу личности настолько, что такого расширения человечество добивается как идеала, вот уже сколько тысяч лет. Раньше это было невозможно, так что всякое стремление к комфорту, богатству и прогрессу должно было быть исключено из коммунистического общества. Но в настоящее время, при наших мо-

гучих способах машинного производства, это вполне возможно. В коммунистическом обществе человек легко сможет иметь каждый день полных десять часов досуга и вместе с тем пользоваться благосостоянием. А такой досуг уже представляет освобождение от одной из самых тяжелых форм рабства, существующих теперь в буржуазном строе. Досуг сам по себе составляет громадное расширение личной свободы.

Затем, признать всех людей равными и отречься от управления человека человеком опять-таки представляет расширение свободы личности; причем мы не знаем никакой другой формы общежития, при которой это увеличение личной свободы могло бы быть достигнуто в той же мере даже в мечтах. Но достичь этого возможно будет лишь тогда, когда первый шаг будет сделан: когда каждому члену общества будет обеспечено существование и когда никто не будет вынужден продавать свою силу и свой ум тому, кто соблаговолит воспользоваться этой силой ради собственной наживы.

Наконец, признать, как это делают комму-

нисты, что первое основание всякого дальнейшего развития и прогресса общества есть разнообразие занятий, опять-таки представляет расширение свободы личности. Если мы так организуем общество, что каждый его член будет совершенно свободен и сможет отдаваться в часы досуга всему, чему ему вздумается в области науки, искусства, творчества, общественной деятельности и изобретения; если в самые часы работы будет возможно работать в разнообразных отраслях производства, воспитание будет вестись сообразно этой цели – в коммунистическом обществе это вполне возможно, – то этим достигнется еще большее увеличение свободы, так как перед каждым из нас широко раскроется возможность расширить свои личные способности во всех направлениях. Области, прежде недоступные, как наука, художество, творчество, изобретения и так далее, откроются для каждого.

В какой мере личная свобода осуществится в каждой общине или в каждом союзе общин, будет зависеть исключительно от основных воззрений, которые возьмут верх при основа-

нии общин. Так, например, мы знаем одну религиозную общину, в которой человеку возбранялось даже выражать свое внутреннее состояние. Если он чувствовал себя несчастным и горе выражалось на его лице, к нему немедленно подходил один из «братьев» и говорил: «Тебе грустно, брат? А ты все-таки сострой веселое лицо: иначе огорчительно подействуешь на других братьев и сестер». И мы знаем также одну английскую общину, состоявшую из семи человек, в которой один из членов – Кочкаревы[131] водятся между социалистами – требовал назначения председателя («с правом бранить») и четырех комитетов: садоводства, продовольствия, домашнего хозяйства и вывоза, с абсолютными правами для председателя каждого из комитетов.

Есть, конечно, общины, которые были основаны или были переполнены впоследствии такими «преступными фанатиками власти» (особый тип, рекомендуемый ученикам доктора Ломброзо[132]), и немало общин было основано фанатиками «поглощения личности обществом». Но такие коммуны произвел не коммунизм. Их породило церковное христи-

анство (глубоко начальническое в своих основных началах) и римское право, то есть государство и его учения. Таково государственное воспитание людей, привыкших думать, что никакое общество не может существовать без судьи и ликторов, вооруженных розгами и секирою, и эта идея останется постоянной угрозой и помехою коммунизму, пока люди не отделаются от нее. Но основное начало коммунизма – вовсе не начальство, а то простое утверждение, что для общества выгоднее и лучше овладеть всем, что нужно для производства и жизни общества, не высчитывая, что каждый из нас произвел и потребил. Это основное понятие ведет к освобождению, к свободе, а не к порабощению.

Мы можем, таким образом, высказать следующие заключения: до сих пор попытки коммунизма кончались неудачею, потому что:

они имели исходною точкою религиозный восторг, тогда как в общине следовало просто видеть способ экономического производства и потребления;

они отчуждались от общества, его жизни и

его борьбы;

они были пропитаны духом начальствования;

они оставались одиночными, вместо того чтобы соединиться в союзы: общины были слишком малы;

они требовали от своих членов такого количества труда, которое не оставляло им никакого досуга, и стремились всецело поглотить их;

они были основаны как сколки с патриархальной и подчиненной семьи, тогда как им следовало, наоборот, поставить себе целью наивозможно полное освобождение личности.

Коммунизм – учреждение хозяйственное, и как таковое он отнюдь не предрешает, какая доля свободы будет предоставлена в общине личности, почину личности и отпору, который встретит в отдельных личностях стремление к утверждению навеки однажды установленных обычаев. Коммунизм может стать подначальным, и в таком случае община неизбежно гибнет; и он может быть вольным и привести в таком случае, как это слу-

чилося даже при неполном коммунизме в городах XII в., к зарождению новой цивилизации, полной сил и обновившей тогда Европу.

Из этих двух форм коммунизма – вольного и подначального – только тот и будет устойчивым и будет иметь задатки прогресса в жизни, который, принимая во внимание стесненность теперешней жизни, сделает все, что возможно, чтобы расширить свободу личности во всех возможных направлениях.

В этом последнем случае свобода личности, увеличенная приобретенным ею досугом, а также возможностью обеспечить себе благосостояние и вольным трудом при меньшем числе рабочих часов, так же мало пострадает от коммунизма, как и от проводимого теперь в городах газа и воды, от продуктов, посылаемых на дом большими магазинами, от современной гостиницы или от того, что мы теперь в часы работы вынуждены вести ее сообщая с тысячами других людей.

Имея анархию как цель и как средство, коммунизм станет возможен, тогда как без этой цели и средства он должен обратиться в закрепощение личности и, следовательно,

привести к неудаче.

3. Государство, его роль в истории

I

Избирая предметом этого очерка государство и ту роль, которую оно сыграло в истории, я имел в виду живо ощущаемую теперь потребность в серьезном исследовании самой идеи государства, его сущности, его роли в прошлом и того значения, которое оно может иметь в будущем.

Социалисты разных оттенков расходятся главным образом по вопросу о государстве. Среди многочисленных фракций, существующих между нами и отвечающих разнице в темпераментах, в привычках мышления и, особенно, в степени доверия к надвигающейся революции, можно проследить два главных направления.

На одной стороне стоят все те, кто надеется осуществить социальную революцию посредством государства, сохраняя большую часть его отправлений и даже расширяя их и пользуясь ими для революции. А на другой стоят те, кто, подобно нам, видит в государстве – и

не только в современной или какой-нибудь другой его форме, которую оно может принять, но в самой сущности его, – препятствие для социальной революции, самое серьезное препятствие для развития общества на началах равенства и свободы, так как государство представляет историческую форму, выработавшуюся и сложившуюся с целью помешать этому развитию. Люди, стоящие на такой точке зрения, стремятся поэтому не преобразовать, а совершенно уничтожить государство.

Различие, очевидно, очень глубокое. Ему соответствуют два течения, которые борются теперь повсюду и сталкиваются как в философии, так и в литературе и в общественной деятельности нашего времени. И если ходячие понятия о государстве останутся такими же сбивчивыми, каковы они теперь, то именно вокруг них и произойдет, без всякого сомнения, самая ожесточенная борьба, едва только настанет то, надеюсь, близкое время, когда коммунистические идеи попытаются осуществиться на практике, в жизни общества.

Поэтому мне кажется, что для нас, так часто нападавших на современное государство,

особенно важно выяснить теперь причину его зарождения, исследовать, какую роль оно играло в прошлом, и сравнить его с предшествовавшими ему учреждениями.

Условимся прежде всего в том, что мы разумеем под словом «государство».

Известно, что в Германии существует целая школа писателей, которые постоянно смешивают государство с обществом. Такое смешение встречается даже у серьезных немецких мыслителей, а также и у многих французских писателей, которые не могут представить себе общества без государственного подавления личной и местной свободы. Отсюда и возникает обычно обвинение анархистов в том, что они хотят «разрушить общество» и проповедуют «возвращение к вечной войне каждого со всеми».

А между тем такое смешение двух совершенно разных понятий, «государство» и «общество», идет вразрез со всеми приобретениями, сделанными в области истории в течение последних пятидесяти лет; это значит забывать, что люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем создались государ-

ства, и что среди современных европейских народностей государство есть явление недавнего происхождения, развившееся лишь с XVI столетия, причем самыми блестящими эпохами в жизни человечества были именно те, когда местные вольности и местная жизнь еще не были задавлены государством и когда массы людей жили в общинах и вольных городах.

Государство есть лишь одна из тех форм, которые общество принимало в течение своей истории. Каким же образом можно смешивать постоянное с случайным – понятие об обществе с понятием о государстве?

С другой стороны, государство нередко смешивают с правительством, и так как государство немислимо без правительства, то иногда говорят, что следует стремиться к уничтожению правительства, а не к уничтожению государства.

Мне кажется, однако, что в государстве и правительстве мы имеем понятия совершенно различного характера. Понятие о государстве подразумевает нечто совершенно другое, чем понятие о правительстве, – оно обнимает

собой не только существование власти над обществом, но и сосредоточение управления местную жизнь в одном центре, т. е. территориальную концентрацию, а также сосредоточение многих отправлений общественной жизни в руках немногих. Оно предполагает возникновение совершенно новых отношений между различными членами общества. Весь механизм законодательства и полиции выработан для того, чтобы подчинить одни классы общества господству других классов.

Это характерное различие, ускользающее, может быть, на первый взгляд, ясно выступает при изучении происхождения государства.

Из чего следует, что, для того чтобы понять государство, есть один только способ: это определить его историческое развитие, и это именно я попробую сделать теперь.

Древняя Римская империя была государством в точном смысле слова. До сих пор она остается идеалом всех законников.

Ее органы как сетью покрывали ее обширные владения. Все сосредоточивалось в Риме: экономическая жизнь, военное управление, юридические отношения, богатства, образо-

ванность и даже религия. Из Рима шли законы, судьи, легионы для защиты территории, губернаторы для управления провинциями, боги. Вся жизнь империи восходила к Сенату, а позднее – к кесарю, всемогущему, всеведающему богу империи. В каждой провинции, в каждом округе был свой Капитолий в миниатюре, своя частица римского самодержавия, от которой вся местная жизнь получала свое направление. Единый закон, закон, установленный Римом, управлял империей, и эта империя была не союзом граждан, а сборищем подданных.

Юристы и государственники даже и в наше время восхищаются единством этой империи, единым духом ее законов, красотой – говорят они – и гармонией ее организации.

И, несмотря на это, внутреннее разложение, с одной стороны, и вторжение варваров извне – с другой, смерть местной жизни, потерявшей способность противостоять нападению извне, а также испорченность в самом народе, распространявшаяся от центра, господство богатых, завладевших землями, и бедность тех, кто обрабатывал землю своими

руками, привели к распадению империи, на развалинах которой зародилась и развилась новая цивилизация – наша цивилизация.

И если, оставляя в стороне древнюю историю Востока, мы обратимся к изучению происхождения и роста этой молодой, «варварской» цивилизации, вплоть до периода, когда она породила в свою очередь наши современные государства, то сущность государства станет нам совершенно ясной. Мы не смогли бы яснее понять ее, даже если бы мы погрузились в изучение Римской империи, Македонского царства или деспотических монархий Востока.

Беря за отправной пункт этих могучих варваров, уничтоживших Римскую империю, мы сможем проследить развитие всей нашей цивилизации, начиная с самого ее зарождения вплоть до той ступени, когда началось государство.

II

Большинство философов прошлого столетия объясняло происхождение человеческих обществ очень просто.

Вначале – говорили они – люди жили ма-

ленькими отдельными семьями, и постоянная вражда между этими семьями была обычным, нормальным состоянием. Но в один прекрасный день люди, убедившись в неудобствах этой бесконечной борьбы, решили образовать между собою общество. Разъединенные семьи согласились между собою, заключили общественный договор и добровольно подчинились власти, которая – со школьной скамьи нас так учили – сделалась отныне источником и началом всяческого прогресса в человечестве. Нужно ли прибавлять, что наши теперешние правительства и до сего дня олицетворяют эту благороднейшую роль соли земли, роль умиротворителей и цивилизаторов рода человеческого? Так значит, по крайней мере, во всех учебниках и даже во многих философских трактатах.

Возникнувши в эпоху, когда о происхождении человека было известно еще очень мало, эта теория господствовала в продолжение всего XVIII в. И мы должны признать, что в руках энциклопедистов и Руссо идея «общественного договора» была могучим орудием в борьбе с божественным правом королей. Но,

тем не менее, какие бы услуги эта теория ни оказала в прошедшем, в настоящее время она должна быть признана ошибочной и отвергнута.

На самом деле все животные, за исключением лишь некоторых хищников, хищных птиц и некоторых вымирающих видов, живут обществами. В борьбе за существование именно виды животных, живущих обществами, имеют всегда преимущество перед необщественными видами. В каждом классе животных они занимают вершину лестницы, и теперь не может быть никакого сомнения в том, что первые человекоподобные существа уже жили обществами.

Общество не было выдуманно человеком, оно существовало раньше появления человекоподобных существ[133].

Мы также знаем теперь – антропология вполне доказала это, – что исходным пунктом для человечества послужила не обособленная семья, а род или племя. Патриархальная семья в том виде, как она существует у нас или как мы находим ее в древнееврейских преданиях, явилась уже гораздо позднее. Раньше

этого десятки тысяч лет люди жили родами или племенами, и в течение этого первоначального периода – будем, если угодно, называть его периодом диких или первобытных племен, – в человечестве выработался уже целый ряд учреждений, обычаев или общественных привычек, задолго предшествовавших учреждениям патриархальной семьи.

В таком первобытном племени обособленной семьи не существовало, точно так же как ее не существует среди многих других млекопитающих, живущих обществами. Деление внутри племени производилось, скорее, по поколениям и с самых дальних времен, теряющихся в темной глубине доистории человеческого рода, возникали ограничения, не допускавшие брачных союзов между мужчинами и женщинами разных поколений и дозволявшиеся им внутри одного и того же поколения. Следы этого периода можно еще и теперь встретить среди некоторых современных племен, а также их находят в языках, правах и суевериях народов, стоящих даже на гораздо более высоком уровне развития.

Племя сообща охотилось и собирало слу-

жившие в пищу растения, а затем, утолив свой голод, дикари со страстью предавались своим драматическим танцам. До сих пор мы находим на окраинах наших материков и в наименее доступных на земном шаре горных областях племена, недалеко ушедшие от этой первобытной ступени.

Накопление частной собственности в этот период было невозможно, потому что все, принадлежавшее лично отдельному члену племени, после его смерти сжигалось или уничтожалось там, где хоронили его труп. Это до сих пор практикуется, даже в Англии, среди цыган; следы же этого обычая мы находим в похоронных церемониях у всех так называемых цивилизованных народов: китайцы сжигают сделанные из бумаги изображения тех вещей, которыми владел умерший, а у нас за умершим военным ведут его коня и несут его шпагу и ордена. Смысл этих обычаев утрачен; сохранилась одна форма.

Первобытные люди не только не проповедовали презрения к человеческой жизни, а, напротив того, испытывали отвращение к убийству и кровопролитию. Пролить кровь –

и не только кровь человека, но даже некоторых животных, например медведя, — считалось таким большим преступлением, что за каждую каплю пролитой крови виновный в этом должен был поплатиться соответственным количеством своей крови.

Убийство члена своего племени было, таким образом, делом совершенно неизвестным; так, мы знаем наверное, что, например у инуитов[134] или эскимосов, которые представляют собою остатки людей каменного века, еще до сих пор уцелевшие в полярных областях, также у алеутов и т. д. не было ни одного убийства внутри племени в течение 50, 60 и более лет.

Но когда племенам, различным по происхождению, по цвету и по языку, случалось во время своих переселений сталкиваться между собою, то между ними действительно нередко происходили войны. Правда, что уже в те времена люди старались по возможности смягчить эти столкновения, как показали исследования Мэна, Поста, Э. Ниса и др.; уже и тогда обычай начинал вырабатывать зародыши того, из чего впоследствии должно было

возникнуть международное право. Так, например, нельзя было нападать на деревню, не предупредивши об этом ее жителей; также никто никогда не смел убивать на тропинках, по которым женщины ходили за водой. А при заключении мира у некоторых племен излишек убитых на одной из сторон вознаграждался соответственной платой с другой.

Однако все эти предосторожности и многие другие были недостаточны. Солидарность не распространялась далее одного рода или племени. В результате происходили ссоры, и эти ссоры доходили до ранений и убийств между членами различных родов и племен.

С тех пор одно общее правило начало распространяться между родами и племенами: «Ваши убили или ранили одного из наших, поэтому мы вправе убить одного из ваших или нанести ему совершенно такую же рану» – все равно кому, потому что за всякий поступок каждого из своих членов отвечало все племя. Известное библейское изречение – «кровь за кровь, око за око, зуб за зуб, рану за рану и жизнь за жизнь» («но отнюдь не более», как совершенно верно заметил Кениг-

свартер), произошло от этого же обычая. Таково было понятие этих людей о справедливости, и нам нечего особенно гордиться перед ними, потому что принцип «жизнь за жизнь», до сих пор еще царящий в наших уголовных законах, есть не что иное, как одно из многочисленных переживаний.

Таким образом, уже в этот первобытный период выработался целый ряд общественных учреждений (многие из них я оставляю в стороне) и сложилось целое уложение (конечно, устное) племенной нравственности. И для поддержания этого ядра общественных привычек в силе достаточно было влияния обычая, привычки и предания. Никакой другой власти не существовало.

У первобытных людей были, конечно, свои временные вожди. Колдуны и призыватели дождя – иначе, ученые того времени – старались воспользоваться своим действительным или кажущимся знанием природы для того, чтобы управлять своими соплеменниками. Точно так же приобретали влияние и силу те, кто лучше других умел запоминать поговорки, притчи и песни, в которых воплощалось

предание. Они рассказывали на народных праздниках эти притчи и песни, в которых передавались решения, принятые когда-либо народным собранием в том или ином споре. У многих племен так делается еще и теперь. Уже тогда «знающие» старались удержать за собой право на управление людьми, не передавая своих знаний никому, кроме избранных, посвященных. Все религии и даже все искусства и все ремесла были, как мы знаем, вначале окружены различными «таинствами»; и современные исследования показывают нам, какую важную роль играют секретные общества посвященных в первобытных племенах, чтобы поддержать в них известные предписанные преданием обычаи. В этом уже заключаются зародыши власти.

Таким же образом во время столкновений между племенами и во время переселений наиболее храбрый, смелый, а в особенности наиболее хитрый, естественно, становился временным вождем. Но союза между хранителем «закона» (т. е. тем, кто умел хранить предания и древние решения), военным вождем и колдуном тогда еще не было, а потому

о существовании среди этих первобытных племен государства так же не может быть речи, как о существовании его в обществах пчел и муравьев или у современных нам па-тагонцев и эскимосов.

А между тем в этом состоянии люди жили многие тысячи лет, его пережили и варвары, разорившие Римскую империю; в то время они только что выходили из этого быта.

В первые века нашего летоисчисления среди племен и союзов племен, населявших Среднюю и Северную Азию, произошло громадное передвижение. Целые потоки народов, теснимые более или менее образованными соседями, шли с азиатских плоскогорий – откуда их гнало, вероятно, быстрое высыхание рек и озер, – устремляясь в равнины, на запад, на Европу, тесня друг друга, смешиваясь и переплетаясь друг с другом в их распространении к западу.

Во время этих передвижений, когда столько племен, различных по происхождению и по языку, смешивались между собою, то первобытный племенной быт, который существовал тогда у большинства диких туземцев

Европы, неизбежно должен был распаться. Первобытный племенной союз был основан на общности происхождения, на поклонении общим предкам. Но какая же могла быть общность происхождения между группами, образовавшимися в хаосе переселений, в войнах между различными племенами, причем среди некоторых племен кое-где зарождалась уже патриархальная семья, образовавшаяся благодаря захвату несколькими лицами женщин, отнятых или похищенных у соседних племен?

Старые связи были порваны, и, чтобы избежать совершенной гибели (участь, которая в действительности и постигла многие племена, с того времени совершенно исчезнувшие для истории), приходилось создавать новые связи. И они возникли. Их нашли в общинном владении земель, т. е. тою областью, на которой каждое племя наконец осело.

Владение сообца известной областью, той или другой долиной, теми или другими холмами сделалось основанием нового соглашения. Боги-предки потеряли всякое значение; их место заняли новые, местные боги долин,

рек и лесов, которые и дали религиозное освящение новым союзам, заменив собой богов первобытного родового быта. Позднее христианство, всегда готовое приноравливаться к остаткам язычества, создало из них местных святых.

С этих пор сельская община, состоящая вполне или отчасти из обособленных семей, соединенных однако же общим владением земель, сделалась на все последующие века необходимым связующим основанием народного союза.

На громадных пространствах Восточной Европы, Азии и Африки сельская община существует и до сих пор. Под таким же строем жили и варвары, разрушившие Римскую империю, — германцы, скандинавы, славяне и т. д. И благодаря изучению варварских законов[135], а также обычаев и законов, господствующих среди современных нам союзов сельских общин у кабиллов, монголов, индусов, африканцев и других народов, стало возможным восстановить во всей ее полноте ту форму общества, которая послужила исходной точкой нашей современной цивилиза-

ции. Всмотримся же поближе в эти учреждения.

III

Сельская община состояла в прежние времена – как состоит и теперь – из отдельных семей, которые однако же в каждой деревне владели землею сообща. Они смотрели на нее как на общее наследие и распределяли ее между собою, смотря по величине семей, по их нуждам и силам. Сотни миллионов людей и до сих пор еще живут при таком порядке в Восточной Европе, в Индии, на Яве и в других местах. Таким же образом устроились и в наше время добровольно русские крестьяне в Сибири, когда государство предоставило им свободу населять, как они хотели, огромные сибирские пространства.

Теперь обработка земли в сельской общине производится в каждом хозяйстве отдельно. Вся пахотная земля делится между семьями (и переделывается, когда нужно), и каждая обрабатывает новое поле как может. Но вначале обработка земли также происходила сообща – и во многих местах этот обычай сохранился еще до сих пор, по крайней мере, при

обработке некоторых участков общинной земли. Точно так же свозка леса и расчистка чащоб, постройка мостов, возведение укреплений, или «городков», или башен, которые служили убежищем в случае нашествия, – все это делалось сообща, как и до сих пор еще делается сотнями миллионов крестьян там, где сельской общине удалось устоять против вторжения государства. Но, выражаясь современным языком, «потребление» происходило посемейно, каждая семья имела свой скот, свой огород и свои запасы, так что могла уже накоплять и передавать накопленное по наследству.

Во всех делах мир имел верховную власть. Местный обычай был законом, а общее собрание всех глав семейств – мужчин и женщин – было судьей, и притом единственным судьей и по гражданским, и по уголовным делам. Когда один из жителей, принося жалобу против другого, втыкал свой нож в землю на том месте, где мир по обыкновению собирался, то мир был обязан «постановить приговор» на основании местного обычая, после того как свидетели обеих сторон установят под прися-

гой факт и обстоятельства обиды.

Мне не хватило бы времени изложить вам все то, что представляет интересного эта ступень развития общности, так что я должен отослать желающих к моей книге «Взаимная помощь». Здесь же мне достаточно сказать, что все учреждения, которыми различные государства впоследствии завладели в интересах меньшинства, все понятия о праве, которые мы находим в наших законах (искаженные к выгоде опять-таки меньшинства), и все формы судебной процедуры, насколько они охраняют личность, получили свое начало в общинном быте. Так что, когда мы воображаем, что сделали большой шаг вперед, вводя у себя, например, суд присяжных, — мы в действительности только возвращаемся к учреждению так называемых «варваров», претерпевшему ряд изменений в пользу правящих классов. Римское право было не чем иным, как надстройкою над правом обычным.

Одновременно с этим благодаря обширным добровольным союзам сельских общин развивалось и сознание их национального

единства.

Основанная на общем владении землею, а нередко и на общей ее обработке, обладающая верховной властью, и судебною, и законодательною – на основании обычного права, – сельская община удовлетворяла большей части общественных потребностей своих членов.

Однако не все нужды были удовлетворены; оставались такие, которым нужно было искать удовлетворения. Но дух того времени был таков, что человек не обращался к правительству, как только возникала какая-нибудь новая потребность, а, наоборот, сам брал инициативу и создавал, по соглашению с другими, союз, лигу, федерацию, общество, больших или малых размеров, многочисленное или малочисленное, чтобы удовлетворить эту вновь народившуюся потребность. И действительно, общество того времени было буквально покрыто сетью клятвенных братств, союзов для взаимопомощи, задруг как внутри сельской общины, так и вне ее, в союзе общин.

Мы можем наблюдать эту ступень развития и проявление этого духа даже теперь, сре-

ди тех варваров, союзы которых не были поглощены государствами, сложившимися по римскому или, вернее, по византийскому типу.

Так, у кабиллов, например, довольно хорошо сохранилась сельская община со всеми только что упомянутыми ее отправлениями: общинная земля, общинный суд и т. д. Но у человека существует потребность действия, потребность распространить свою деятельность и за тесные пределы своей деревни. Одни отправляются странствовать по свету в поисках приключений в качестве купцов; другие берутся за то или другое ремесло, за то или другое искусство. Так вот, те и другие, купцы и ремесленники соединяются между собою в «братства», даже если они принадлежат к различным деревням, племенам или союзам общин. Союз необходим им для взаимной защиты в далеких странствованиях, для передачи друг другу секретов ремесла – и они соединяются. Они приносят клятву в братстве и действительно практикуют его на удивление европейцам – на деле, а не только на словах.

Помимо этого, с каждым может случиться несчастье. Обыкновенно тихий и спокойный человек, быть может, завтра в какой-нибудь ссоре переступит границы, положенные правилами приличия и общежития, нанесет кому-нибудь оскорбление действием, раны или увечье. А в таком случае придется уплатить раненому или обиженному очень тяжелое вознаграждение: обидчик должен будет защищаться перед деревенским судом и восстановить истину при помощи свидетельствующих под присягой шести, десяти или двенадцати «соприсягателей». Это еще одна причина, почему ему важно вступить в какое-нибудь братство.

Мало того, у людей является потребность потолковать о политике, может быть, даже поинтриговать, потребность распространять то или иное нравственное убеждение, тот или другой обычай. Наконец, внешний мир также требует охраны, приходится заключать союзы с соседними племенами, устраивать обширные федерации, распространять понятия междуплеменного права. И вот, для удовлетворения всех этих эмоциональных и ум-

ственных потребностей кабилы, монголы, малайцы и проч(ие) не обращаются ни к какому правительству, да у них его и нет; они – люди обычного права и личного почина, не испорченные на все готовыми правительством и церковью. Они поэтому соединяются прямо; они образуют братства, политические и религиозные общества, союзы ремесел гильдии, как их называли в Средние века в Европе, или софы, как их называют теперь кабилы. И эти софы выходят далеко за пределы своей деревни; они распространяются в далеких пустынях и чужеземных городах, и в этих союзах действительно практикуется братство. Отказать в помощи члену своего софа, даже если бы для этого пришлось рискнуть всем своим имуществом и самую жизнь, – значит стать изменником «братству», с таким человеком обращаются как с убийцей «брата».

То, что мы находим теперь среди кабил, монголов, малайцев и т. д., было существенной чертой общественной жизни так называемых варваров в Европе, от V до XII и даже до XV в. Под именем гильдий, задруг, братств, университетов (*universitas*) и т. п. повсюду су-

ществовало великое множество союзов для самых разнообразных целей: для взаимной защиты; для отмщения оскорблений, нанесенных какому-нибудь члену союза, и для совместного наказания обидчика; для замены мести «око за око» вознаграждением за обиду, после чего обидчик обыкновенно принимался в братство; для совместной работы в своем ремесле; для взаимной помощи во время болезни; для защиты территории; для сопротивления нарождавшейся внешней власти; для торговли; для поддержания «доброго соседства» и для распространения тех или других идей – одним словом, для всего того, за чем современный европеец, воспитавшийся на заветах кесарского и папского Рима, обыкновенно обращается к государству. Очень сомнительно даже, можно ли было в те времена найти хоть одного человека – свободного или крепостного, – за исключением, конечно, поставленных самими братствами вне закона, изгнанных из братств – изгоев, который не принадлежал бы к каким-нибудь союзам или гильдиям помимо своей общины.

В скандинавских сагах воспеваются дела

этих братств: «беспредельная верность “по-братимов”», поклявшихся друг другу в дружбе, составляет предмет лучших из этих эпических песен; между тем как церковь и нарождающаяся королевская власть, представительницы вновь всплывшего византийского или римского закона, обрушиваются на них своими проклятиями, анафемой и указами, которые, к счастью, остаются мертвой буквой.

Вся история того времени теряет свой смысл и делается совершенно непонятной, если не принимать в расчет этих братств, этих союзов братьев и сестер, которые возникали повсюду для удовлетворения самых разнообразных нужд как экономической, так и духовной жизни человека.

Чтобы понять громадный шаг вперед, сделанный во время существования этих двух учреждений – сельской общины и свободных клятвенных братств, – вне всякого влияния со стороны Рима, христианства или государства, достаточно сравнить Европу, какую она была во время нашествия варваров, с тем, чем она стала в X или XI в. За эти пятьсот или шестьсот лет человек успел покорить девственные

леса и заселить их: страна покрылась деревнями, окруженными полями и изгородями и находящимися под защитой укрепленных городков; между ними, через леса и болота, были проложены тропы.

В этих деревнях мы находим уже зачатки различных ремесел и целую сеть учреждений для поддержания внутреннего и внешнего мира. За убийство или нанесение ран сельчане уже не стремятся мстить убийством обидчика или кого-нибудь из его родных и земляков или нанести им соответственные раны, как это делалось в былые времена в родовом быте. Бывшие дружинники – бояре и дворяне – еще держатся этого устарелого правила (и в этом причина их бесконечных войн), но у крестьян уже вошло в обычай платить установленное судьями вознаграждение за обиду, после чего мир восстанавливается, и обидчик, если не всегда, то в большинстве случаев, принимается в семью, которую он обидел своим нападением.

Во всех спорах и тяжбах мы находим здесь третейский суд как глубоко укоренившееся учреждение, вполне вошедшее в ежедневный

обиход наперекор епископам и нарождающимся князьям, которые требуют, чтобы каждая тяжба разбиралась ими или их ставленниками, чтобы иметь, таким образом, возможность взимать в свою пользу пеню, которую раньше мир налагал на нарушителей общественного спокойствия и которой теперь завладевают князья и епископы.

Наконец, сотни сел объединяются уже в могучие союзы – зачатки будущих европейских наций, – которые клятвою обязуются поддерживать внутренний мир, считают занимаемую ими землю общим наследием и заключают между собою договоры для взаимной защиты. Такие союзы мы встречаем еще и до сих пор у монгольских, тюрко-финских и малайских племен.

Тем не менее, черные тучи мало-помалу начинают собираться на горизонте. Рядом с этими союзами возникают другие союзы – союзы правящего меньшинства, которые пытаются превратить свободных людей в крепостных или подданных. Рим погиб, но его предания оживают. С другой стороны, и христианская «церковь», мечтающая о восточных все-

могущих церковных государствах, охотно оказывает свою могучую поддержку нарождающейся гражданской и военной власти.

Человек далеко не такой кровожадный зверь, каким его обыкновенно представляют, чтобы доказать необходимость господства над ним; он, наоборот, всегда любил спокойствие и мир. Иногда он, может быть, и не прочь подраться, но он не кровожаден по природе и во все времена предпочитал скотоводство и обработку земли военным похождениям. Вот почему, как только крупные передвижения варваров начали ослабевать, как только толпы пришельцев осели более или менее на занятых ими землях, мы видим, что забота о защите страны от новых пришельцев и воителей поручается одному человеку, который набирает себе небольшую дружину из искателей приключений, привыкших к войнам, или прямо разбойников, тогда как остальная масса народа занимается разведением скота или обработкой земли. Затем мало-помалу «защитник» начинает уже накапливать богатства: бедному дружиннику он дает лошадь и оружие (стоившее тогда очень доро-

го) и таким образом поработцает его; он начинает приобретать первые зачатки военной власти.

С другой стороны, большинство начинает мало-помалу забывать предания, служившие ему законом; изредка лишь найдется в каждом селе какой-нибудь старик, удержавший в памяти рассказы о прежних случаях решения, из которых складывается обычное право, он поет о них песни или рассказывает былины народу во время больших общинных праздников. Тогда мало-помалу обособляются семьи, которые делают как бы своим ремеслом, переходящим от отца к сыну, запоминание этих стихов и песен, т. е. сохранение «закона» во всей его чистоте. К ним обращаются сельчане за разрешением запутанных споров и тяжб, особенно когда две деревни или два союза деревень отказываются признать решение третейских судей, выбранных из их среды.

В этих семьях гнездятся уже зачатки княжеской или королевской власти, и чем больше изучаешь учреждения того времени, тем более убеждаешься в том, что знание обычно-

го права способствовало больше приобретению этой власти, чем сила оружия. Люди дали себя покорить гораздо больше из-за желания «наказать» обидчика «по закону», чем вследствие прямого покорения оружием.

Таким образом, создается первое «объединение властей», первое общество для взаимного обеспечения совместного господства, то есть союз между судьей и военачальником как сила, враждебная сельской общине. Обе эти должности соединяются в одном лице, которое окружает себя вооруженными людьми, чтобы приводить в исполнение судебные приговоры; укрепляется в своей крепости; начинает накоплять и сохранять за своей семьей богатства того времени, т. е. хлеб, скот, оружие, и мало-помалу утверждает свое господство над соседними крестьянами.

Ученые люди этого времени, т. е. знахари, волхвы и попы, оказывают ему поддержку и получают свою долю власти; или же, присоединяя силу меча и значение обычного права к грозному могуществу колдуна, попы завладевают властью в своих интересах. Отсюда вытекает светская власть епископов в IX, X и

XI вв.

Не одну главу, а целый ряд книг нужно было бы написать, чтобы изложить подробно этот в высшей степени важный предмет и рассказать обстоятельно, как свободные люди превратились постепенно в крепостных рабов, обязанных работать на своих светских или духовных господ, живших в замках; как понемногу и как бы оцупью создавалась власть над деревнями и городами; как соединялись и восставали крестьяне, пытаясь бороться против этого растущего господства, и как они были побеждаемы в борьбе против крепких стен замков и против охраняющих их с головы до ног вооруженных людей.

Довольно будет сказать, что около X и XI в. Европа, видимо, шла полным ходом по пути к образованию варварских монархий, подобных тем, какие мы находим теперь в Средней Африке, или к образованию церковных государств (теократии) вроде тех, которые встречаются в истории Востока. Это не могло, конечно, произойти сразу, в один день, но, во всяком случае, зачатки таких мелких деспотических королевств и теократии уже были

налицо, и им оставалось только развиваться все больше и больше.

К счастью, однако, тот «варварский» дух скандинавов, саксов, кельтов, германцев и славян, который в течение семи или восьми веков заставлял их искать удовлетворения своих нужд в личном почине и путем свободного соглашения братств и гильдий, — этот дух еще жил в деревнях и городах. Варвары, правда, позволили поработить себя и уже работали на господ, но дух свободного почина и свободного соглашения еще не был в них убит окончательно. Их союзы оказались в высшей степени живучими, а крестовые походы только способствовали их пробуждению и развитию в Западной Европе.

И вот, в XI и XII столетиях, по всей Европе вспыхивает с замечательным единодушием восстание городских общин, задолго до того подготовленное этим федеративным духом эпохи и выросшее на почве соединения ремесленных гильдий с сельскими общинами и клятвенных братств ремесленников и купцов. В итальянских общинах восстание началось еще в X в.

Это восстание, которое большая часть официальных историков предпочитает замалчивать или преуменьшать, спасло Европу от грозившей ей опасности. Оно остановило развитие теократических монархий, в которых наша цивилизация, вероятно, погибла бы после нескольких веков пышного показного могущества, как погибли цивилизации Месопотамии, Ассирии и Вавилона. Этой революцией началась новая полоса жизни – полоса свободных городских общин.

IV

Неудивительно, что современные историки, воспитанные в духе римского права и привыкшие смотреть на Рим как на источник всех учреждений, не могут понять духа общинного движения в XI и XII вв. Это смелое признание прав личности и образование общества путем свободного соединения людей в деревни, города и союзы – были решительным отрицанием того духа единства и централизации, которым отличался древний Рим и которым проникнуты все исторические представления современной официальной науки.

Восстания XII столетия нельзя приписать ни какой-нибудь выдающейся личности, ни какому-нибудь центральному учреждению. Они представляют собою естественное явление роста человечества, подобное родовому строю и деревенской общине; они принадлежат не какому-нибудь одному народу или какой-нибудь области, а известной ступени человеческого развития.

Вот почему официальная наука не может понять смысла этого движения и почему историки Огюстен Тьерри и Сисмонди, оба писавшие в начале XIX столетия и действительно понимавшие этот период, до настоящего времени не имели последователей во Франции. Только теперь Люшер[136] попытался – и то очень несмело – следовать по пути, указанному великим историком меровингского и коммуналистического периода (Ог. Тьерри). По той же причине и в Германии исследования этого периода и смутное понимание его духа только теперь выдвигаются вперед. В Англии верную оценку этих веков можно найти только у поэта Уильяма Морриса[137], а не у историков, за исключением разве Гри-

на[138], который, однако, только под конец жизни начал понимать его. В России же, где, как известно, влияние римского права менее глубоко, Беляев, Костомаров, Сергеевич[139] и некоторые другие превосходно поняли дух веcheвого периода.

Средневековые вольные города-общины составились, с одной стороны, из сельских общин, а с другой – из множества союзов и гильдий, существовавших в эту эпоху вне территориальных границ. Они образовались из федераций этих двух родов союзов, под защитой городских стен и башен.

Во многих местах средневековая община явилась как результат мирного, медленного роста. В других же – как во всей Западной Европе – она была результатом революции. Когда жители того или другого местечка чувствовали себя в достаточной безопасности за своими стенами, они составляли «соприсягательство» (*conjuratin*). Члены его клялись взаимно забыть все прежние дела об обидах, драках или увечьях, а в будущем – не прибегать в случае ссоры ни к какому другому судье, кроме выбранных ими самими гильдейских или

городских синдиков. Во всяком ремесленном союзе, во всякой добрососедской гильдии, во всякой задруге этот обычай существовал издавна. То же было и в сельской общине, пока епископу или князю не удалось ввести в нее, а впоследствии навязать силою своих судей.

Теперь все слободы и приходы, вошедшие в состав города, вместе с братствами и гильдиями, создавшимися в нем, составляли *amitas* («дружбу»), выбирали своих судей и клялись быть верными возникшему постоянному союзу между всеми этими группами.

Наскоро составлялась и принималась хартия. Иногда посылали для образца за хартией в какой-нибудь соседний город (мы знаем теперь сотни таких хартий) – и новая община была готова. Епископу или князю, которые до сих пор вершили суд среди общинников и часто делались их господами, теперь оставалось только признать совершившийся факт или же бороться против молодого союза оружием. Нередко король, т. е. такой князь, который старался добиться главенства над другими князьями и казна которого была всегда пуста, «жаловал» хартию за деньги. Он отказывался

этим от назначения общине своего судьи, но вместе с тем возвышался, приобретал больше значения перед другими феодальными баронами как покровитель таких-то городов. Но это далеко не было общим правилом; сотни вольных городов жили без всякого другого права, кроме собственной воли, под защитой своих стен и копий.

В течение одного столетия это движение распространилось (нужно заметить, путем подражания) с замечательным единодушием по всей Европе. Оно охватило Шотландию, Францию, Нидерланды, Скандинавию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Россию. И когда мы сравниваем теперь хартии и внутреннее устройство вольных городов французских, английских, шотландских, нидерландских, скандинавских, германских, богемских, русских, швейцарских, итальянских или испанских, — нас поражает почти буквальное сходство этих хартий и республик, выросших под сенью такого рода общественных договоров. Какой знаменательный урок всем поклонникам Рима и гегельянцам, которые не могут себе представить другого способа до-

стигнуть однообразия учреждений, кроме рабства перед законом!

От Атлантического океана до среднего течения Волги и от Норвегии до Сицилии вся Европа была покрыта подобными же вольными городами, из которых одни, как Флоренция, Венеция, Нюрнберг или Новгород, сделались многолюдными центрами, другие же оставались небольшими городами, состоявшими всего из сотни, иногда даже двадцати семейств; причем они все-таки считались равными в глазах других, более цветущих городов.

Развитие этих полных жизни и силы организмов шло, конечно, не везде одним и тем же путем. Географическое положение и характер внешних торговых сношений, препятствия, которые приходилось преодолевать, — все это создавало для каждой из этих общин свою историю. Но в основе всех их лежало одно и то же начало. Как Псков в России, так и Брюгге в Нидерландах, как какое-нибудь шотландское местечко с тремястами жителей, так и цветущая богатая Венеция со своими людными островами, как любой городок в се-

верной Франции или Польше, так и красавица Флоренция, – все они составляли те же *amitas*, те же союзы сельских общин и соединенных гильдий, защищенных городскими стенами. В общих чертах их внутреннее устройство было везде одно и то же.

По мере роста городского населения стены города раздвигались, становились толще, и к ним прибавлялись новые и все более высокие башни; каждая из этих башен воздвигалась тем или другим кварталом города, той или другой гильдией и носила свой особый характер. Город делился обыкновенно на несколько кварталов или концов – четыре, пять или шесть, ограниченных улицами, которые расходились по радиусам от центрального кремля или собора к стенам города. Эти концы были обыкновенно заселены, каждый особым ремеслом или мастерством; новые ремесла – молодые цехи – занимали слободы, которые со временем также вносились в черту города и городских стен.

Каждая улица и приход представляли особую земельную единицу, соответствующую старинной сельской общине; они имели сво-

его уличанского или приходского старосту, свое уличанское вече[140], свое народное судилище, своего избранного священника, свою милицию, свое знамя и часто свою печать – символ государственной независимости. Эту независимость они сохраняли и при вступлении в союз с другими улицами и приходами.

Профессиональной единицей, часто совпадавшей, или почти совпадавшей, с улицей или приходом, являлась гильдия – ремесленный союз. Этот союз точно так же сохранял своих святых, свои уставы, свое вече, своих судей. У него была своя касса, своя земля, свое ополчение, свое знамя. Оно точно так же имело свою печать в качестве эмблемы полной независимости. В случае войны, если гильдия считала нужным, ее милиция шла рядом с милициями других гильдий и ее знамя водружалось рядом с большим знаменем, или *carosse*, всего города.

Наконец, город представлял собою союз этих концов, улиц, приходов и гильдий; он имел свое общенародное собрание всех жителей в главном вече, свою главную ратушу, выборных судей и свое знамя, вокруг которо-

го собирались знамена всех гильдий и улиц. Он вступал в переговоры с другими городами как вполне равноправная единица, соединялся с кем угодно и заключал с кем хотел национальные и международные союзы. Так, английские «Cinque Ports», т. е. Пять Портов, расположенные около Дувра, образовали союз с французскими и нидерландскими портовыми городами по другую сторону пролива, и точно так же русский Новгород соединялся с скандинаво-германской Ганзой и т. д. Во внешних сношениях каждый город имел все права современного государства. Именно в это время и создалась, благодаря добровольному соглашению, та сеть договоров, которая потом стала известна под именем международного права; эти договоры находились под охраной общественного мнения всех городов и соблюдались лучше, чем теперь соблюдается международное право государствами.

Часто в случае неумения решить какой-нибудь запутанный спор город «посылал искать решение» к соседнему городу. Дух того времени – стремление обращаться скорее к третейскому суду, чем к власти, – беспрестан-

но проявлялся в таком обращении двух спорящих общин к третьей как посреднице!

То же представляли и ремесленные союзы. Они вели свои торговые сношения и союзные дела совершенно независимо от городов и вступали в договоры помимо всяких национальных делений. И когда мы теперь гордимся международными конгрессами рабочих, мы в своем невежестве совершенно забываем, что международные съезды ремесленников и даже подмастерьев собирались уже в XV столетии.

В случае нападения средневековый город или защищался сам и вел ожесточенные войны с окрестными феодальными баронами, ежегодно назначая одного или двух человек для команды над своими милициями; или же он принимал к себе особого «военного защитника» – какого-нибудь князя или герцога, избираемого городом на один год и с правом дать ему отставку, когда город найдет нужным. На содержание дружины ему обыкновенно давали деньги, собираемые в виде судебных взысканий и штрафов, но вмешиваться во внутренние дела города ему запрещалось.

лось[141].

Иногда, когда город был слишком слаб, чтобы вполне освободиться от окружающих феодальных хищников, он обращался как к более или менее постоянному «военному защитнику» к епископу или князю той или другой фамилии – гвельфов или гибеллинов в Италии, Рюриковичей в России или Ольгердовичей – в Литве, но при этом город зорко следил, чтобы власть епископа или князя никоим образом не распространялась дальше дружинников, живущих в замке. Ему даже запрещалось въезжать в город без особого разрешения. Известно, что английская королева и до сих пор не может въехать в Лондон без разрешения лорда-мэра, т. е. городского головы.

Мне очень хотелось бы подробно остановиться на экономической стороне жизни средневековых городов, но она была так разнообразна, что о ней нужно было бы говорить довольно долго, чтобы дать о ней верное понятие, – принужден поэтому отослать читателя к тому, что говорил по этому поводу в книге «Взаимная помощь», основываясь на массе новейших исторических исследований. До-

статочно будет заметить, что внутренняя торговля всегда делалась гильдиями, а не отдельными ремесленниками, и что цены назначались по взаимному соглашению. Кроме того, внешняя торговля велась вначале исключительно самими городами: ее вел «Господин Великий Новгород», Генуя и т. д., и только впоследствии она сделалась монополией купеческих гильдий, а еще позже – отдельных личностей. По воскресеньям и по субботам после обеда (это считалось временем для бани) никто не работал. Закупкой главных предметов необходимых потребностей, как хлеб, уголь и т. п., заведовал город, который потом и доставлял их своим жителям по своей цене. В Швейцарии закупка зерна целым городом сохранялась в некоторых городах до середины XIX столетия.

Вообще мы можем сказать, на основании множества всевозможных исторических документов, что никогда человечество, ни прежде, ни после этого периода, не знало такого сравнительного благосостояния, обеспеченного для всех, каким пользовались средневековые города. Теперешняя нищета,

неуверенность в будущем и чрезмерный труд в средневековом городе были совершенно неизвестны.

Благодаря всем этим элементам – свободе, организации от простого к сложному, тому, что производство и внутренний обмен велись ремесленными союзами (гильдиями), а внешняя торговля велась всем городом как таковым, а закупка главных предметов потребления также производилась самим городом, который распределял их между гражданами по себестоимости, – благодаря также духу предприимчивости, развитому такими учреждениями, средневековые города в течение первых двух столетий своего свободного существования сделали центрами благосостояния для всего своего населения, центрами богатства, высокого развития и образованности, невиданных до тех пор.

Когда рассматриваешь документы, дающие возможность установить размер заработной платы в вольных городах сравнительно со стоимостью предметов потребления (Т. Роджерс[142] сделал это для Англии, а многие немецкие писатели для Германии), то яс-

но видно, что труд ремесленника и даже простого поденщика того времени оплачивался лучше, чем оплачивается в наше время труд наиболее искусного рабочего. Счетные книги Оксфордского университета, которые имеются за семь столетий начиная с XII века и некоторых имений в Англии, а также некоторых немецких и швейцарских городов, ясно доказывают это.

С другой стороны, обратите внимание на художественную отделку, на количество орнаментов, которыми работник того времени украшал не только настоящие произведения искусства, как, например, городскую ратушу или собор, но даже самую простую домашнюю утварь, какую-нибудь решетку, какой-нибудь подсвечник, чашку или горшок, – и вы сейчас же поймете, что он не знал ни торопливости, ни спешности, ни переутомления нашего времени; он мог ковать, лепить, ткать, вышивать не спеша – что теперь могут делать лишь очень немногие работники-артисты.

Если же мы взглянем на работы, делавшиеся рабочими бесплатно для украшения церк-

вей и общественных зданий, принадлежавших приходам, гильдиям или всему городу, а также на их приношения этим зданиям — будь то произведения искусства, как художественные панели, скульптурные произведения, изделия из кованого железа, чугуна или даже серебра или же простая работа столяра или каменщика, то мы сразу увидим, какого благосостояния сумели достигнуть тогдашние города. Мы увидим также на всем, что бы ни делалось в то время, отпечаток духа изобретательности и искания нового; дух свободы, вдохновлявший весь их труд, и чувство братской взаимности. Она не могла не развиться в гильдиях, где люди одного и того же ремесла объединялись не только ради практических нужд или технической стороны своего ремесла, но и связаны были узами братства и общности. Гильдейскими правилами предписывалось, например, чтобы два «брата» всегда присутствовали у постели каждого «брата» в случае болезни, что в те времена чумы и повальных зараз требовало немало самоотвержения. В случае же смерти гильдия брала на себя все хлопоты и расходы по похоро-

ронам умершего, брата или сестры, и считала своим долгом проводить до могилы его тело и позаботиться об его вдове и детях.

Ни отчаянной нищеты, ни подавленности, ни неуверенности в завтрашнем дне, ни оторванности в бедности, которые висят над большинством населения современных городов, в этих «оазисах, возникших в XII веке среди феодальных лесов», – совершенно не было известно.

Под защитой своих вольностей, выросших на почве свободного соглашения и свободно-го почина, в этих городах возникла и развилась новая цивилизация, с такой быстротой, что ничего подобного этой скорости не встречается в истории ни раньше, ни позже.

Вся современная промышленность ведет свое начало от этих городов. В течение трех столетий ремесла и искусства достигли в них такого совершенства, что наш век превзошел их разве только в скорости производства, редко – в качестве и почти никогда в художественности изделий. Несмотря на все наши усилия оживить искусство, разве мы можем сравняться в живописи по красоте с Рафаэ-

лем? По силе и смелости – с Микеланджело? В науке и искусстве – с Леонардо да Винчи? В поэзии и красоте языка – с Данте? Или в архитектуре – с творцами соборов в Лионе, Реймсе, Кёльне, Пизе, Флоренции, которых «строителями», по прекрасному выражению Виктора Гюго, «был сам народ»? И где же найти такие сокровища красоты, как во Флоренции и Венеции, как ратуши в Бремене и Праге, как башни Нюрнберга и Пизы и т. д. до бесконечности? Все эти памятники искусства – творения того периода вольных городов.

Если вы захотите одним взглядом измерить все, что было внесено нового этою цивилизацией, сравните купола собора Св. Марка в Венеции – с неумелыми норманскими сводами; или картины Рафаэля – с наивными вышивками и коврами Байё; нюрнбергские математические и физические инструменты и часы – с песочными часами предыдущих столетий; звучный язык Данте – с варварской латынью X века... Между этими двумя эпохами вырос целый новый мир!

За исключением еще одной славной эпохи – опять-таки эпохи вольных городов в

Древней Греции, – человечество никогда еще не шло так быстро вперед, как в этот период. Никогда еще человек в течение двух или трех веков не переживал такого глубокого изменения, никогда еще ему не удавалось развить до такой степени свое могущество над силами природы.

Вы, может быть, подумаете о нашей современной цивилизации, успехами которой мы так гордимся. Но она, во всех своих проявлениях, есть лишь дитя той цивилизации, которая выросла среди вольных средневековых городов. Все великие открытия, создавшие современную науку, как компас, часы, печатный станок, открытие новых частей света, порох, закон тяготения, закон атмосферного давления, развитием которого явилась паровая машина, основания химии, научный метод, указанный Роджерсом Бэконом[143] и прилагавшийся в итальянских университетах, – что все это, как не наследие вольных городов и той цивилизации, которая развилась в них под охраной общинных вольностей?

Мне, может быть, скажут, что я забываю внутреннюю борьбу партий, которой полна

история этих общин, забываю уличные схватки, отчаянную борьбу с феодальными владельцами, восстания «молодых ремесел» против «старых ремесел», кровопролития и репрессалии этой борьбы...

Нет, я вовсе не забываю этого. Но вместе с Лео[144] и Ботта[145], двумя историками средневековой Италии, с Сисмонди, с Феррари, Джино Каппони[146] и многими другими, я вижу в этих столкновениях партий залог вольной жизни этих городов, – вижу, как после каждого из таких столкновений жизнь города делала новый и новый шаг вперед. Лео и Ботта заканчивают свой подробный обзор этой борьбы, этих кровавых уличных столкновений, происходивших в средневековых итальянских городах, и совершившегося одновременно с ними громадного движения вперед (обеспечение благосостояния для всех жителей, возрождение новой цивилизации) следующей очень верною мыслью, которая часто мне приходит в голову; я желал бы, чтобы каждый революционер нашего времени запомнил ее. «Коммуна только тогда и представляет, – говорят они, – картину нравствен-

ного целого, только тогда и носит общественный характер, когда она, подобно самому человеческому уму, допускает в своей среде противоречия и столкновения».

Да, столкновения, но разрешающиеся свободно, без вмешательства какой-то внешней силы, без вмешательства государства, давящего своею громадною тяжестью на одну из чашек весов, в пользу той или другой из борющихся сил.

Подобно этим двум писателям, я также думаю, что «навязывание» мира часто причиняет гораздо больше вреда, чем пользы, потому что таким образом противоположные вещи насильно связываются ради установления однообразного порядка; отдельные личности и мелкие организмы приносятся в жертву одному огромному, поглощающему их телу – бесцветному и безжизненному.

Вот почему вольные города до тех пор, пока они не стремились сделаться государствами и распространять свое господство над деревнями и пригородами, т. е. создать «огромное тело, бесцветное и безжизненное», – росли и выходили из этих внутренних столкно-

вений с каждым разом моложе и сильнее. Они процветали, хотя на их улицах гремело оружие, тогда как двести лет спустя та же самая цивилизация рушилась под шум войн, которые стали вести между собою государства.

Дело в том, что в вольных городах борьба шла для завоевания и сохранения свободы личности, за принцип федерации, за право свободного союза и совместного действия; тогда как государства воевали из-за уничтожения всех этих свобод, из-за подавления личности, за отмену свободного соглашения, за объединение всех своих подданных в одном общем рабстве перед королем, судьей и попом, т. е. перед государством.

В этом вся разница. Есть борьба, есть столкновения, которые убивают, и есть такие, которые двигают человечество вперед.

V

В течение XV в. явились новые, современные варвары и разрушили всю эту цивилизацию средневековых вольных городов. Им, конечно, не удалось уничтожить ее совершенно; но, во всяком случае, они задержали

ее рост по крайней мере на два или на три столетия и дали ей другое направление, заведя человечество в тупик, в котором оно бьется теперь, не зная, как из него выйти на свободу.

Они сковали по рукам и по ногам личность, отняли у нее все вольности; они потребовали, чтобы люди забыли свои союзы, строившиеся на свободном почине и свободном соглашении. Они требовали, чтобы все общество подчинилось решительно во всем единому повелителю. Все непосредственные связи между людьми были разрушены на том основании, что отныне только государству и церкви должно принадлежать право объединять людей; что только они призваны ведать промышленные, торговые, правовые, художественные, общественные и личные интересы, ради которых люди XII в. обыкновенно соединялись между собой непосредственно.

И кто же были эти варвары? – Не кто иной, как государство – вновь возникший тройственный союз между военным вождем, судьей (наследником римских традиций) и священником, тремя силами, соединившимися

ради взаимного обеспечения своего господства и образовавшими единую власть, которая стала повелевать обществом во имя интересов общества и в конце концов раздавила его.

Естественно, является вопрос – каким образом новые варвары могли одолеть такие могущественные организмы, как средневековые вольные города? Откуда почерпнули они силу для этого?

Эту силу, прежде всего, дала им деревня. Как древнегреческие города не сумели освободить рабов и погибли от этого, так и средневековые города, освобождая горожан, не сумели в то же время освободить от крепостного рабства крестьян.

Правда, почти везде во время освобождения городов горожане, сами соединявшие ремесло с земледелием, пытались привлечь деревенское население к делу своего освобождения. В течение двух столетий горожане Италии, Испании и Германии вели упорную войну с феодальными баронами и проявили в этой борьбе чудеса героизма и настойчивости. Они отдавали последние силы на то, что-

бы победить господские замки и разрушить окружавший их феодальный строй.

Но успех, которого они достигли, был неполный, и, утомившись борьбой, они заключили с баронами мир, в котором пожертвовали интересами крестьянина. Вне пределов той территории, которую города отбили для себя, они предали крестьянина в руки барона, — только чтобы прекратить войну и обеспечить мир. В Италии и Германии города даже признали барона гражданином с условием, чтобы он жил в самом городе. В других местах они разделили с ним господство над крестьянами, и горожане сами стали владеть крепостными.

И за то же бароны отомстили горожанам, которых они и презирали, и ненавидели, как «черный народ». Они начали заливать кровью улицы городов из-за вражды и мести между своими дворянскими родами, которые не отдавали, конечно, своих раздоров на суд презираемых ими общинных судей и городских синдиков, а предпочитали разрешать их на улицах, с оружием в руках, натравливая одну часть горожан на другую.

Кроме того, дворяне стали развращать горожан своею расточительностью, своими интригами, своею роскошной жизнью, своим образованием, полученным при королевских или епископских дворах. Они втягивали граждан в свои бесконечные ссоры. И граждане, в конце концов, начали подражать дворянам; они сделались в свою очередь господами и стали обогащаться внешней торговлей и за счет труда крепостных, живших в деревнях, вне городских стен.

При таких условиях короли, императоры, цари и паны нашли поддержку в крестьянстве, когда они начали собирать свои царства и подчинять себе города. Там, где крестьяне не шли прямо за ними, они во всяком случае предоставляли им делать что хотят. Они не защищали городов.

Королевская власть постепенно складывалась именно в деревне, в укрепленном замке, окруженном сельским населением. В XII в. она существовала лишь по имени; мы знаем теперь, что такое были те предводители мелких разбойничьих шаяк, которые присваивали себе титул короля, не имевший тогда, как

доказал Огюстен Тьерри, – почти никакого значения. Скандинавские рыбаки имели своих «королей над неводом», даже у нищих были свои «короли»: король, князь, конунг, был просто временный предводитель.

Медленно и постепенно, то тут, то там, какому-нибудь более сильному или более хитрому князю или тому, у кого был лучше расположен в данной местности замок, удавалось возвыситься над остальными. Церковь, конечно, была всегда готова поддержать его. Путем насилия, интриг, подкупа, а где нужно – и кинжала, и яда – он достигал господства над другими феодалами. Так складывалось, между прочим, Московское царство[147]. Но местом возникновения королевской власти никогда не были вольные города с их шумным вечем, с их Тарпейской скалой[148] или рекой для тиранов; эта власть всегда зарождалась в провинции, в деревнях.

Во Франции, после нескольких неудачных попыток основаться в Реймсе или Лионе, будущие короли избрали для этого Париж, который был собранием деревень и маленьких городков, окруженных богатыми деревнями, но

где не было вольного вечевого города. В Англии королевская власть основалась в Вестминстере – у ворот многолюдного Лондона; в России – в Кремле, построенном среди богатых деревень на берегу Москвы-реки, после неудачных попыток в Суздале и Владимире; но она никогда не могла укрепиться в Новгороде или во Пскове, в Нюрнберге или во Флоренции.

Соседние крестьяне снабжали королей зерном, лошадьми и людьми; кроме того, нарождающиеся тираны обогащались и торговлей – уже не общинной, а королевской. Церковь окружала их своими заботами, защищала их, поддерживала их своей казной; наконец, изобретала для королевского города особого святого и особые чудеса. Она окружала благоговением Парижскую Богоматерь и Московскую Иверскую. В то время как вольные города, освободившись из-под власти епископов, с юношеским пылом стремились вперед, церковь упорно работала над восстановлением своей власти через посредство нарождающихся королей; она окружала в особенности нежными заботами, фимиамом и золотом фа-

мильную колыбель того, кого она в конце концов избирала, чтобы в союзе с ним восстановить свою силу и влияние. Повсюду – в Париже, в Москве, в Мадриде, в Вестминстере мы видим, как церковь заботливо охраняет колыбель королевской или царской власти с горящим факелом для костров в руках, и рядом с ней всегда находится палач.

Упорная в работе, сильная своим образованием в государственном духе, опираясь в своей деятельности на людей с твердой волей и хитрым умом, которых она умело отыскивала во всех классах общества; искусенная опытом в интригах и сведущая в римском и византийском праве, церковь неустанно работала над достижением своего идеала – утверждением сильного короля в библейском духе, т. е. неограниченного в своей власти, но послушного первосвященнику: короля, который был бы простым гражданским орудием в руках церкви.

В XVI в. совместная работа этих двух заговорщиков – короля и церкви – была в полном ходу. Король уже господствовал над своими соперниками – баронами, и его рука уже была

занесена над вольными городами, чтобы раздавить в свою очередь и их.

Впрочем, и города XVI столетия были уже не тем, чем мы их видели в XII, XIII и XIV вв.

Родились они из освободительной революции XII в., но у них не достало смелости распространить свои идеи равенства ни на окружающее деревенское население, ни даже на тех горожан, которые позднее поселились в черте городских стен как в убежище свободы и которые создавали там новые ремесла.

Во всех городах явилось различие между старыми родами, сделавшими революцию XII в., – иначе, просто «родами» – и молодыми, которые поселились в городах позднее. Старая «торговая гильдия» не выказывала желания принимать в свою среду новых пришельцев и отказывалась допустить к участию в своей торговле «молодые ремесла». Из простого торгового агента города, который прежде продавал товары за счет города, она превратилась в маклера и посредника, который сам богател за счет внешней торговли и вносил в городскую жизнь восточную пышность. Позднее «торговая гильдия» стала ростовщиком,

дававшим деньги городу, и соединилась с землевладельцами и духовенством против «простого народа»; или же она искала опоры для своей монополии, для своего права на обогащение в ближайшем короле, давая ему денежные пособия для борьбы с его соперниками или даже с городами. Переставши быть общинной и сделавшись личной, торговля наконец убивала вольный город.

Кроме того, старые ремесленные гильдии, которые вначале составляли город и его вече, сперва не хотели признавать за юными гильдиями более молодых ремесел те же права, какими пользовались сами. Молодым ремеслам приходилось добиваться равноправия путем революции, и о каждом из городов, которого история нам известна, мы узнаем, что в нем происходила такая революция. Но если в большинстве случаев она вела к обновлению жизни, ремесел и искусств – что очень ясно заметно во Флоренции, – то в других городах она иногда кончалась победой богатых (popolo grasso) над бедными (popolo basso), подавлением движения, бесчисленными ссылками и казнями, особенно в тех случаях, где в

борьбу вмешивались бароны и духовенство.

Нечего и говорить, что впоследствии, когда короли, прошедшие через школу макиавеллизма, стали вмешиваться во внутреннюю жизнь вольных городов, они избрали предлогом для вмешательства «защиту бедных от притеснения богатых», – чтобы покорить себе и тех и других, когда король станет господином города. То, что происходило в России, когда московские великие князья, а впоследствии цари, шли покорять Новгород и Псков под предлогом защиты «черных сотен» и «мелких людишек» от богатых, случилось также повсеместно: в Германии, во Франции, в Италии, в Испании и т. д.

Кроме того, города должны были погибнуть еще потому, что самые понятия людей изменились. Учения канонического и римского права совершенно извратили их умы.

Европеец XII столетия был по существу федералистом. Он стоял за свободный почин, за свободное соглашение, за добровольный союз и видел в собственной личности исходный пункт общества. Он не искал спасения в повиновении, не ждал пришествия спасителя об-

щества. Понятие христианской или римской дисциплины было ему совершенно чуждо.

Но под влиянием, с одной стороны, христианской церкви, всегда стремившейся к господству, всегда старавшейся наложить свою власть на души, и в особенности на труд верующих, а с другой, под влиянием римского права, которое уже начиная с XII в. проникало ко дворам сильных баронов, королей и пап и скоро сделалось любимым предметом изучения в университетах, — под влиянием этих двух так хорошо отвечающих друг другу, хотя и яро враждовавших вначале учений умы людей постепенно развращались, по мере того как поп и юрист приобретали больше и больше влияния.

Человек начинал любить власть. Если в городе происходило восстание низших ремесел, он звал к себе на помощь какого-нибудь спасителя: выбирал диктатора или городского царька и наделял его неограниченной властью для уничтожения противной партии. И диктатор пользовался ею со всей утонченной жестокостью, заимствованной от церкви и от восточных деспотий.

Церковь оказывала ему поддержку: ведь ее мечта была – библейский король, преклоняющий колена перед первосвященником и становящийся его послушным орудием! Кроме того, она ненавидела всем сердцем и тот дух светской науки, который царствовал в вольных городах в эпоху первого возрождения – т. е. возрождения XII в.[149]; она проклинала «языческие идеи», которые, под влиянием вновь открытой древнегреческой цивилизации, звали человека назад к природе; и в конце концов церковь подавила впоследствии движение, выливавшееся в восстание против папы, духовенства и церкви вообще. Костер, пытки и виселица – излюбленное оружие церкви – были пущены в ход против еретиков. Для церкви в этом случае было безразлично, кто бы ни был ее орудием – папа, король или диктатор, лишь бы костер, дыбы и виселица делали свое дело против еретиков.

Под давлением этих двух влияний – римского юриста и духовенства – старый федералистский дух, создавший свободную общину, дух свободного почина и свободного соглашения, вымирал и уступил место духу дисципли-

плины, духу правительственной и пирамидальной организации. И богатые классы, и народ одинаково требовали спасителя себе извне.

И когда этот спаситель явился, когда король, разбогатевший вдали от шумного городского веча, в им самим созданных городах, поддерживаемый церковью со всеми ее богатствами и окруженный подчиненными ему дворянами и крестьянами, постучался в городские ворота с обещанием «бедным» своей мощной защиты от богатых, а «богатым» – защиты от мятежных бедных, города, уже носившие в себе самих яд власти, не были в силах ему сопротивляться. Они отперли королю свои ворота.

Кроме того, уже с XIII в. монголы покоряли и опустошали Восточную Европу, и теперь в Москве возникало под покровительством татарских ханов и православной церкви новое царство. Затем турки вторглись в Европу и основали свое государство, опустошая все на своем пути и дойдя в 1453 г. до самой Вены. И чтобы дать им отпор, в Польше, в Богемии, в Венгрии – в центре Европы – возникали силь-

ные государства. В то же время на другом конце Европы, в Испании, жестокая война против мавров и их изгнание дали возможность основаться в Кастилии и Арагоне новой могущественной державе испанской монархии, опиравшейся на римскую церковь и инквизицию, на меч и застенки.

Эти набеги и войны вели неизбежно к вступлению Европы в новый период жизни – в период военных государств, которые стремились «объединить», т. е. подчинить, все другие города одному королевскому или великокняжескому городу.

А раз сами города превращались уже в мелкие государства, то последние были неизбежно обречены на поглощение крупными...

VI

Победа государства над вольными общинами и федералистическими учреждениями Средних веков не совершилась, однако, беспрепятственно. Было даже время, когда можно было сомневаться в его окончательной победе.

В городах и обширных сельских областях в средней Европе возникло громадное народ-

ное движение, религиозное по своей форме и внешним проявлениям, но чисто коммунистическое и проникнутое стремлением к равенству по своему содержанию.

Еще в XIV в. мы видим два таких крестьянских движения: во Франции (около 1358 г.) и в Англии (около 1380 г.); первое известно в истории под названием Жакерии[150], а второе носит имя одного из своих крестьянских вождей Уата Тэйлора[151]. Оба они потрясли тогдашнее общество до основания. Оба были направлены, впрочем, главным образом против феодальных помещиков. И хотя оба были разбиты, они разбили феодальное могущество. В Англии народное восстание решительно положило конец крепостному праву; а во Франции Жакерия настолько остановила его развитие, что дальнейшее его существование было, скорее, прозябанием, и оно никогда не могло достигнуть такого развития, какого достигло впоследствии в Германии и Восточной Европе.

И вот в XVI в. подобное же движение вспыхнуло и в Центральной Европе под именем движения «гуситов» в Богемии и «ана-

баптистов» в Германии, Швейцарии и Нидерландах. В Западной Европе это было восстание не только против феодальных баронов и помещиков, но полное восстание против церкви и государства, против канонического и римского права, во имя первобытного христианства.

В течение многих и многих лет смысл этого движения совершенно искажался казенными и церковными историками, и только теперь его до некоторой степени начинают понимать.

Лозунгами этого движения были, с одной стороны, полная свобода личности, не обязанной повиноваться ничему, кроме предписаний своей совести, а с другой – коммунизм. И только уже гораздо позднее, когда государству и церкви удалось истребить самых горячих защитников движения, а самое движение ловко повернуть в свою пользу, восстание лишилось своего революционного характера и выродилось в реформацию Лютера [152].

С Лютером оно было принято и князьями, но началось оно с проповеди безгосудар-

ственного анархизма, а в некоторых местах и с практического его применения, – к сожалению, однако, с примесью религиозных форм. Но если откинуть религиозные формулы, составлявшие неизбежную дань тому времени, то мы увидим, что это движение по существу подходило к тому направлению, представляемыми которого являемся теперь мы. В основе его было: отрицание всяких законов, как государственных, так и якобы божественных, на том основании, что собственная совесть человека должна быть единственным его законом, а затем – признание общины единственной распорядительницей своей судьбы; причем она должна отобрать свои земли от феодальных владельцев, и, вступая в вольные союзы с другими общинами, она переставала нести какую бы то ни было денежную или личную службу государству.

Одним словом, выражалось стремление осуществить на практике коммунизм и равенство. Так, когда Денка[153], одного из философов анабаптистского движения, спросили, признает ли он авторитет Библии, он ответил, что единственными обязательными

для поведения человека он признает только два правила, которые он сам находит для себя в Библии. Но эти самые неопределенные выражения, заимствованные из церковного языка, этот самый авторитет «книги», в которой легко найти доводы «за» и «против» коммунизма, «за» и «против» власти, эта особая неясность, когда речь заходит о решительном провозглашении свободы, эта самая религиозная окраска движения уже заключала в себе зародыши его поражения.

Возникши в городах, движение скоро распространилось и на деревни. Крестьяне отказывались повиноваться кому бы то ни было и, надевши старый сапог или лапоть на копьё вместо знамени, отбирали у помещиков захваченные ими общинные земли, разрывали цепи крепостного рабства, прогоняли попов и судей и организовывались в вольные общины. И только при помощи костра, пытки и виселицы, только вырезавши в течение нескольких лет больше 100 000 крестьян королевской или императорской власти, при поддержке папства и реформированной церкви – Лютер толкал на убийства даже больше,

чем сам папа, – удалось положить конец этим восстаниям, которые одно время угрожали самому существованию зарождавшихся государств.

Лютеранская реформация, сама родившаяся из анабаптизма, но потом поддержанная государством, помогала истреблению народа и подавлению того самого движения, которому она была обязана в начале своего существования всей своей силой. Остатки этого громадного умственного течения укрылись в общинах «моравских братьев», которые, в свою очередь, были раздавлены сто лет спустя церковью и государством. И только небольшие уцелевшие группы их спаслись, переселившись кто в юго-восточную Россию (меннонитские общины, позднее переселившиеся в Канаду), кто в Гренландию, где они и до сих пор еще живут общинами и отказываются нести какую бы то ни было службу государству.

С тех пор существование государства было обеспечено. Законовед, поп, помещик и солдат, сомкнувшись в дружный союз вокруг трона, могли теперь снова продолжать свою

гибельную работу.

И сколько лжи было нагромождено историками и государственниками, находившимися на службе у государства, об этом периоде! Всех нас учили в школе, что государство сослужило человечеству огромную службу, создавши национальные союзы на развалинах феодального общества; что такие союзы оказывались прежде неосуществимыми, вследствие соперничества городов, и только государства сумели объединить народы! Все мы учились этому в школьные годы, и почти все верили этому и в зрелом возрасте.

И вот теперь мы узнаем, что, несмотря на все свое соперничество, средневековые города в течение четырехсот лет работали над сплочением этих союзов путем федерации, основанной на добровольном соглашении, и что они вполне успели в этом.

Ломбардский союз, например, охватывал все города северной Италии и имел свою федеральную казну в Милане. Другие федерации, как Тосканский союз, Рейнский союз (включавший 60 городов), федерация вестфальских, богемских, сербских, польских и

русских городов, покрывали собою всю Европу, Торговый Ганзейский союз одно время обнимал города Скандинавии, северной Германии, Польши и России вокруг Балтийского моря. Все элементы, нужные для образования добровольных союзов, и даже само практическое осуществление их здесь налицо.

До сих пор можно еще видеть живые примеры таких союзов. Посмотрите на Швейцарию. Там союз возник, прежде всего, между сельскими общинами (так называемые «старые кантоны»), и такой же союз возник в то же время во Франции, в области Лана (Laon). Затем, так как в Швейцарии города никогда не отделялись вполне от деревень (как это было в других странах, где города вели обширную внешнюю торговлю), то швейцарские города помогли деревням во время восстания крестьян в XVI в., а потому швейцарскому союзу удалось объединить и те и другие в одну федерацию и уцелеть до сих пор.

Но государство, по самой сущности своей, не может терпеть вольного союза; для государственного законника он составляет пугало: «государство в государстве»! Государство

не хочет терпеть внутри себя добровольного союза людей, существующего самого по себе. Оно признает только подданных. Только государство и его сестра церковь присвоили себе исключительное право быть соединительным звеном между отдельными личностями.

Понятно поэтому, что государство непременно должно было стремиться уничтожить города, основанные на прямой связи между гражданами. Оно обязано было уничтожить всякую внутреннюю связь в таком городе, уничтожить самый город, уничтожить всякую прямую связь между городами. На место федеративного принципа оно должно поставить подчинение и дисциплину. В этом – самое основное его начало. Без него оно перестанет быть государством и превращается в федерацию.

И вот весь XVI в. – век резни и войн – вполне поглощается этой борьбой на жизнь и смерть, которую нарождающееся государство объявило по городам и их союзам. Города осаждаются, берутся приступом и разграбляются; их население избивается и ссылается, и в конце концов государство одерживает победу по

всей линии! И вот каковы последствия этой победы.

В XV в. вся Европа была покрыта богатыми городами; их ремесленники, каменщики, ткачи и резчики производили чудеса искусства; их университеты клали основания современной опытной науке; их караваны пересекали материки, а корабли бороздили моря и реки.

И что же осталось от всего этого через двести лет? Города с 50 000 и 100 000 жителей, как Флоренция, где было больше школ и больше постелей в госпиталях на каждого жителя, чем теперь в наилучше обставленных в этом отношении столицах, превратились в захудалые местечки. Их жители были либо перебиты, либо сосланы, либо разбежались. Их богатства присвоены государством или церковью. Промышленность увядала под мелочной опекой чиновников; торговля умерла. Самые дороги, которые соединяли между собой города, в XVII в. сделались непроходимыми.

Государство и война – нераздельны, и войны опустошали Европу и доканчивали разорение тех городов, которых государство не

успело разорить непосредственно.

Если города были раздавлены, то, может быть, хоть деревни выиграли от государственной централизации? Нисколько! Посмотрите, что говорят историки о жизни в деревнях Шотландии, Тосканы и Германии в XIV в., и сравните это с описанием деревенской нищеты в Англии в 1648 г., во Франции при «короле-солнце» Людовике XIV, в Германии, в Италии – одним словом, повсюду после столетнего господства государства.

В России это было нарождающееся государство Романовых, которые ввели крепостное право и придали ему скоро формы рабства.

Везде нищета, которую единогласно признают и отмечают все. Там, где крепостное право было уже уничтожено, оно под самыми разнообразными формами было восстановлено, а где еще не было уничтожено, оно оформилось, под покровом государства, в свирепое учреждение, обладавшее всеми характерными особенностями древнего рабства, и даже хуже того.

Но разве можно было ожидать чего-нибудь

другого от государства, раз главной его заботой было уничтожить, вслед за вольными городами, сельскую общину, разрушить все связи, существовавшие между крестьянами, отдать их земли на разграбление богатым и подчинить их, каждого в отдельности, власти чиновника, попа и помещика?

VII

Уничтожить независимость городов: разграбить богатые торговые и ремесленные гильдии; сосредоточить в своих руках всю внешнюю торговлю городов и убить ее; забрать в свои руки внутреннее управление гильдий и подчинить внутреннюю торговлю и все производство, все ремесла, во всех мельчайших подробностях, стаду чиновников и тем самым убить и промышленность, и искусства; задушить местное управление; уничтожить местное ополчение; задавить слабых налогами в пользу сильных и разорить страну войной – такова была роль нарождающегося государства в XVI и XVII столетиях по отношению к городским союзам.

То же самое, конечно, происходило и в деревнях, среди крестьян. Как только государ-

ство почувствовало себя достаточно сильным, оно поспешило уничтожить сельскую общину, разорить крестьян, вполне предоставленных его произволу, и разграбить общинные земли.

Правда, историки и политико-экономы, состоящие на жалованье у государства, учили нас всегда, что сельская община представляет собою устарелую форму землевладения, мешающую развитию земледелия, и что потому она осуждена была на исчезновение под «влиянием естественных экономических сил». Политики и буржуазные экономисты продолжают говорить это и до сих пор, и, к сожалению, есть даже революционеры и социалисты (претендующие на название «научных» социалистов), которые повторяют эту заученную ими в школе басню.

А между тем это самая возмутительная ложь, которую только можно встретить в науке. История кишит документами, несомненно доказывающими всякому, кто только желает знать истину (относительно Франции для этого достаточно хотя бы одного сборника законов Даллоза[154]), что государство сперва

лишило сельскую общину независимости, всяких судебных, законодательных и административных прав, а затем ее земли были или просто разграблены богатыми, под покровительством государства, или же конфискованы непосредственно самим государством.

Во Франции грабеж этот начался еще в XVI столетии и продолжался еще более деятельно в XVII в. Еще в 1659 г. государство взяло общины под свое особое покровительство, и достаточно прочесть указ Людовика XIV (1667 г.), чтобы понять, что грабеж общинных земель начался с этого времени. «Люди присваивали себе земли, когда им вздумается... земли делились... чтобы оправдать грабеж, выдумывались долги, якобы числившиеся за общинами», говорит король в этом указе... а два года спустя он конфискует в свою собственную пользу все доходы общин. Вот что называется «естественной смертью» на якобы научном языке.

В течение следующего столетия половина, по крайней мере, всех общинных земель была просто-напросто присвоена аристократией и духовенством под покровительством госу-

дарства. И несмотря на это, общины все-таки продолжали существовать до 1787 г. Общинники все еще собирались где-нибудь под вязом, распределяли земли, назначали налоги; сведения об этом вы можете найти у Бабо [155] – «Община при старом режиме» (Vabeau. Le village sous l'ancien regime). Тюрго нашел, однако, что общинные советы «слишком шумны», и уничтожил их в той провинции, которой он управлял; на место их он поставил собрания выборных из состоятельной части населения. В 1787 г., т. е. накануне революции, государство распространило эту меру на всю Францию. Мир был уничтожен, и управление делами общин перешло в руки немногих синдиков, избранных наиболее зажиточными буржуа и крестьянами.

Учредительное собрание поспешило подтвердить этот закон в декабре 1789 г., после чего буржуазия, занявшая место дворян, стала грабить остатки общинных земель. И потребовался целый ряд крестьянских бунтов, чтобы заставить Конвент в 1793 г. утвердить то, что было уже сделано восставшими крестьянами в восточной Франции, т. е. он издал

распоряжение о возвращении крестьянам общинных земель. Но это случилось только тогда, когда крестьяне своим восстанием и так уже отбили землю, и проведено это было только там, где они сами совершили это на деле.

Такова, пора бы это знать, судьба всех революционных законов: они осуществляются на практике только тогда, когда уже являются совершившимся фактом.

Тем не менее, признавая право общин на землю, которая была у них отнята после 1669 г., Законодательное собрание не упустило случая подпустить в этот закон буржуазного яда. В нем сказано, что земли, отнятые у дворян, должны быть разделены поровну только между «гражданами» – то есть между деревенской буржуазией. Одним росчерком пера Конвент лишил, таким образом, права на землю «присельщиков»[156], т. е. массу обедневших крестьян, которые больше всего и нуждались в общинных угодьях. К счастью, в ответ на это крестьяне опять стали бунтовать в 1793 г., и тогда только Конвент издал новый закон, предписывавший разделение

земель между всеми крестьянами. Но это распоряжение никогда не было приведено в исполнение и послужило лишь предлогом для новых захватов общинных земель.

Всех этих мер, казалось, было бы достаточно, чтобы заставить общины «умереть естественной смертью», как выражаются эти господа. И, однако, общины продолжали существовать. 24 августа 1794 г. господствовавшая тогда реакционная власть нанесла им новый удар. Государство конфисковало все общинные земли, сделало из них запасный фонд, обеспечивающий национальный долг, и начало продавать их с аукциона крестьянам, а больше всего сторонникам буржуазного переворота, кончившегося казнью якобинцев, т. е. «термидорцам».

К счастью, 2-го прериала пятого года[157] этот закон был отменен, после трехлетнего существования. Но в то же время были уничтожены и общины, на место которых были учреждены «кантональные советы», чтобы государство легко могло наполнять их своими чиновниками. Так продолжалось до 1801 г., когда сельские общины опять были

восстановлены; но зато правительство присвоило себе право назначать мэров и синдиков во всех 36 000 общин Франции! Эта нелепость продолжала существовать до революции 1830 г., после которой был возобновлен закон 1784 г. В промежутках между этими мерами общинные земли подверглись опять конфискации государством в 1813 г.; затем в течение трех лет предавались разграблению. Остатки земель были возвращены только в 1816 г.

Но и это еще был не конец. Каждое новое правительство видело в общинных землях источник, из которого можно было черпать награды для людей, которые служили правительству поддержкой. После 1830 г. три раза – (в) первый в 1837 г. и в последний уже при Наполеоне III издавались законы, предписывавшие крестьянам разделить общинные леса и пастбища подворно; и все три раза правительства были вынуждены отменять эти законы ввиду сопротивления крестьян. Тем не менее, Наполеон III умел все-таки воспользоваться этим и утянуть для своих любимцев несколько крупных имений.

Таковы факты, и таковы на «научном» языке «экономические законы», под ведением которых общинное землевладение во Франции умерло «естественною смертью». После этого, может быть, и смерть на поле сражения тысячи солдат есть также «естественная смерть»?

То, что произошло во Франции, случилось также в Бельгии, в Англии, в Германии, в Австрии; короче говоря, во всей Европе, за исключением славянских стран[158].

Страннее всего то, что и периоды разграбления общин во всех странах Западной Европы также совпадают. Разница была только в приемах. Так, в Англии не решались проводить общих мер, а предпочли издать несколько тысяч отдельных актов об отгораживании, которыми дворянско-буржуазный парламент в каждом отдельном случае утверждал конфискацию земли, облакая помещика правом удерживать за собой обгороженную им землю. И парламент делает это до сих пор. Несмотря на то, что в Англии до сих пор еще видны следы тех борозд, которые служили для временных переделов общинных земель

на участки, по столько-то на семью, и что мы находим в сочинениях Маршала[159] ясное описание этого рода землевладения, существовавшего еще в начале XIX в., и что общинное хозяйство сохранилось еще в некоторых коммунах, до сих пор еще находятся ученые люди (вроде Сибома[160], достойного ученика Фюстель де Куланжа[161]), которые утверждают, что в Англии сельских общин никогда не существовало, помимо крепостного права!

Те же приемы мы видим и в Бельгии, и в Германии, и в Италии, и в Испании. Присвоение в личную собственность прежних общинных земель было таким образом почти завершено к 50-м годам XIX столетия. Крестьяне удержали за собой лишь жалкие клочки своих общинных земель.

Вот к чему привел союз взаимного страхования между помещиком, попом, солдатом и судьей – т. е. государством – в отношении к крестьянам, которых он лишил последнего средства обеспечения от нищеты и экономического рабства.

Теперь спрашивается: организуя и покрыва-

вая таким образом грабеж общинных земель, могло ли государство допустить существование общины как органов местной жизни?

Очевидно, нет.

Допустить, чтобы граждане образовали в своей среде союз, которому были бы присвоены обязанности государства, было бы противоречием государственному принципу. Государство требует прямого и личного подчинения себе подданных, без посредствующих групп: оно требует равенства в рабстве; оно не может терпеть «государства в государстве».

Поэтому в XVI столетии, как только государство начало складываться, оно приступило к разрушению связей, существовавших между гражданами в городах и в деревнях. Если оно иногда и мирилось с некоторой тенью самоуправления в городских учреждениях – но никогда с независимостью, – то это делалось исключительно ради формальных целей, ради возможно большего облегчения общего государственного бюджета; или же для того, чтобы дать возможность состоятельным людям в городах обогащаться на счет народа;

это происходило, например, в Англии до самого последнего времени и отражается до сих пор в ее учреждениях и обычаях: все городское хозяйство, вплоть до самого последнего времени, было в руках нескольких богатых лавочников.

И это вполне понятно. Местная жизнь развивается из обычного права, тогда как римский закон ведет к сосредоточению власти в немногих руках. Одновременное существование того и другого невозможно; одно из двух должно исчезнуть.

Вот почему, например, в Алжире, при французском управлении, когда кабилльская джемма, или сельская община, ведет какой-нибудь процесс о своих землях, каждый член общины должен обратиться к суду с отдельной просьбой, так как суд, скорее, выслушает пятьдесят или двести просителей, чем одно коллективное ходатайство целой джеммы. Якобинский устав Конвента (известный под именем Кодекса Наполеона) не признал обычного права: для него существует только римское или, скорее, византийское право.

Вот почему если где-нибудь во Франции

буря ломает дерево на большой дороге или если какой-нибудь крестьянин пожелает заплатить камнелому два или три франка, вместо того чтобы самому набить щебня для починки его участка общинной дороги, то для этого должны засесть и царапать перьями целых пятнадцать чиновников министерства внутренних дел и государственного казначейства; эти великие дельцы должны обменяться более чем пятьюдесятью бумагами и отношениями, раньше чем дерево будет продано и крестьянин получит разрешение внести свои два-три франка в общинную кассу.

Вам это, может быть, покажется невероятным? Посмотрите в «*Journal des Economistes*» (апрель 1893 г.) статью Трикоша, который составил подробный список всех этих пятидесяти бумаг.

И это, не забудьте, происходит при третьей республике! – говорю здесь не о «варварских» приемах старого порядка, который ограничивался всего пятью или шестью бумагами. Понятно, почему ученые говорят, что в то варварское время контроль государства был только номинальный.

Но если бы дело было только в этом! Что значили бы, в конце концов, лишних 20 000 чиновников и несколько сот лишних миллионов рублей в бюджете! Ведь это сущие пустяки для любителей «порядка» и единообразия!

Но важно то, что в основании всего этого лежит нечто гораздо худшее: самый принцип, убивающий все живое.

У крестьян одной и той же деревни всегда есть тысячи общих интересов: интересы хозяйственные, отношения между соседями, постоянное взаимное общение; им по необходимости приходится соединяться между собою ради всевозможнейших целей. Но такого соединения государство не любит – оно не желает и не может позволить, чтобы они соединялись. Оно дает им школу, попа, полицейского и судью; чего же им больше? И если у них явятся еще какие-нибудь нужды, они должны в установленном порядке обращаться к церкви и к государству.

Так, вплоть до 1883 г. во Франции строго запрещалось крестьянам составлять между собою какие бы то ни было союзы, хотя бы для того, например, чтобы покупать вместе

химическое удобрение или осушать свои поля. Республика решилась, наконец, даровать крестьянам эти права только в 1883–1886 гг., когда был издан закон о синдикатах, хотя и урезанный всевозможными ограничениями и мерами предосторожности. Раньше этого во Франции всякое общество, имевшее более 19 членов, считалось противозаконным.

И наш ум так извращен полученным нами государственным образованием, что мы способны радоваться, например, даже тому, что земледельческие синдикаты начали с тех пор быстро распространяться во Франции; мы даже не подозреваем того, что право союзов, которого крестьяне были лишены целые столетия, составляло их естественное достояние в Средние века, что это было бесспорное достояние всякого и каждого, свободного или крепостного. А мы настолько пропитались рабским духом, что воображаем, будто это право составляет одно из «завоеваний демократии».

Вот до какого невежества довели нас наше исковерканное и извращенное государством образование и наши государственные пред-
рассудки!

VIII

«Если у вас есть какие-нибудь общие нужды в городе или в деревне, обращайтесь с ними к церкви и к государству. Но вам строго воспрещается соединяться вместе непосредственно и заботиться о них самим». Эти слова раздаются по всей Европе начиная с XVI столетия.

Уже в указе английского короля Эдуарда III, обнародованном в конце XIV столетия, сказано, что «все союзы, товарищества, собрания, организованные общества, статуты и присяги, уже установленные или имеющие быть установленными среди плотников и каменщиков, отныне будут считаться недействительными и упраздненными». Но когда восстания городов и другие народные движения, о которых говорилось выше, были подавлены и государство почувствовало себя полным хозяином, оно решилось наложить руку на все, без исключения, народные учреждения (гильдии, братства и т. д.), которые соединяли до тех пор и ремесленников, и крестьян. Оно прямо уничтожило их и конфисковало их имущество.

Особенно ясно это видно в Англии, где существует масса документов, отмечающих каждый шаг этого уничтожения. Мало-помалу государство накладывает руку на гильдии и братства, оно давит их все сильнее и сильнее. Оно постепенно отменяет сначала их союзы, потом их празднества, их суды, их старшин, которых оно заменило своими собственными чиновниками и судьями. Затем, в начале XVI в., при Генрихе VIII, государство уже прямо и без всяких церемоний конфискует имущества гильдий. Наследник «великого» протестантского короля Эдуард VI dokonчил работу своего отца.

Это был настоящий дневной грабеж, «без всякого оправдания», как совершенно верно говорят. И этот самый грабеж так называемые «научные» экономисты выдают нам теперь за «естественную» смерть гильдий в силу «экономических законов».

И в самом деле, могло ли государство терпеть ремесленные гильдии или корпорации, с их торговлей, с их собственным судом, собственной милицией, казной и организацией, скрепленной присягой? Для государственных

людей они были «государством в государстве»! Настоящее государство было обязано раздавить их; и оно, действительно, раздавило их повсюду – в Англии, во Франции, в Германии, в Богемии, в России, сохранив от них лишь внешнюю форму, удобную для его фискальных целей и составляющую просто часть огромной административной машины.

Удивительно ли после этого, что гильдии и ремесленные союзы, лишённые всего того, что прежде составляло их жизнь, и подчинённые королевским чиновникам, ставши при этом частью администрации, превратились в XVIII столетии лишь в бремя, в препятствие для промышленного развития – вместо того, чтобы быть самой сущностью его, какой они были за четыреста лет до того? Государство убило их.

В самом деле, оно не только уничтожило ту независимость и самобытность, которые были необходимы для жизни гильдий и для защиты их от вторжения государства; оно не только конфисковало все богатства и имущества гильдий: оно вместе с тем присвоило себе и всю их экономическую жизнь.

Когда внутри средневекового города случилось столкновение промышленных интересов или когда две гильдии не могли прийти к обоюдному соглашению, — за разрешением спора не к кому было больше обращаться, как ко всему городу. Спорящие стороны бывали принуждены сойтись на чем-нибудь, найти какой-нибудь компромисс, потому что все гильдии города были заинтересованы в этом. И такую сделку находили; иногда в случае нужды в качестве третейского судьи приглашался соседний город.

Отныне единственным судьей являлось государство. По поводу каждого мельчайшего спора в каком-нибудь ничтожном городке в несколько сот жителей в королевских и парламентских канцеляриях скоплялись ворохи бесполезных бумаг и кляуз. Английский парламент, например, был буквально завален тысячами таких мелких местных дрызг. Пришлось держать в столице тысячи чиновников (большею частью продажных), чтобы сортировать, читать, разбирать все эти бумаги и постановлять по ним решения; чтобы регулировать и упорядочивать ковку лошадей, беле-

ние полотна, соление селедок, делание бочек и т. д. до бесконечности... А кучи дел все росли и росли!

Но и это было еще не все. Скоро государство наложило свою руку и на внешнюю торговлю. Оно увидело в ней средство к обогащению и поспешило захватить ее. Прежде, когда между двумя городами возникало какое-нибудь разногласие по поводу стоимости вывозимого сукна, чистоты шерсти или вместимости бочонков для селедок, города сносились по этому поводу между собою. Если спор затягивался, они обращались к третьему городу и призывали его в третейские судьи (это случалось сплошь да рядом); или же созывался особый съезд гильдий ткачей или бочаров, чтобы прийти к международному соглашению насчет качества и стоимости сукна или вместимости бочек.

Теперь явилось государство, которое взялось решать все эти споры из одного центра, из Парижа или из Лондона. Оно начало предписывать через своих чиновников объем бочек, качество сукна; оно учитывало число ниток и их толщину в основе и утке; оно начало

вмешиваться своими распоряжениями в подробности каждого ремесла.

Результаты вам известны. Задавленная этим контролем промышленность в XVIII столетии вымирала. Куда, в самом деле, девалось искусство Бенвенуто Челлини под опекой государства? – Оно умерло! – А что случилось с архитектурой тех гильдий каменщиков и плотников, произведениям которых мы удивляемся до сих пор? – Стоит лишь взглянуть на уродливые памятники государственного периода, чтобы сразу ответить, что архитектура замерла, замерла настолько, что и до сих пор еще не может оправиться от удара, нанесенного ей государством.

Что стало с брюжскими полотнами, с голландскими сукнами? Куда девались те кузнецы, которые умели так искусно обращаться с железом, что чуть ли не во всяком европейском городке из-под их рук выходили изящнейшие украшения из этого неблагородного металла? Куда девались токари, часовщики, те мастера, которые создали в Средние века славу Нюрнберга своими точными инструментами? Вспомните хотя бы Джеймса Уатта

[162], который в конце XVIII в. напрасно искал в продолжение тридцати лет работника, умеющего выточить точные цилиндры для его паровой машины; его мировое изобретение в течение тридцати лет оставалось грубой моделью за неимением мастеров, которые могли бы сделать по ней машину.

Таковы были результаты вмешательства государства в промышленность. Все, что оно умело сделать, — это придавить, принизить работника, обезлюдить страну, посеять нищету в городах, довести миллионы людей в деревнях до голодания — выработать систему промышленного рабства!

И вот эти-то жалкие остатки старых гильдий, эти-то организмы, раздавленные и задушенные государством, эти-то бесполезные части государственной администрации «научные» экономисты смешивают в своем невежестве со средневековыми гильдиями! То, что было уничтожено Великой Революцией как помеха промышленности, были уже не гильдии и даже не рабочие союзы; это были бесполезные и даже вредные части государственной машины.

Французская революция смела много мусора. Но что якобинцы, вынесенные революцией ко власти, тщательно сохранили, – это власть государства над промышленностью, над промышленным работником – рабочим.

Вспомните, что говорилось в Конвенте – в страшном террористическом Конвенте – по поводу одной стачки. На требование стачечников Конвент ответил:

«Одно государство имеет право блюсти интересы граждан. Вступая в стачку, вы составляете коалицию, вы создаете государство в государстве. А потому – смертная казнь за стачку!»

Обыкновенно в этом ответе видят только буржуазный характер Французской революции. Но нет ли в нем еще другого, более глубокого смысла? Не указывает ли он на отношение государства ко всему обществу вообще, – отношение, нашедшее себе самое яркое выражение в якобинстве 1793 г.?

«Если вы чем-нибудь недовольны, обращайтесь к государству! Оно одно имеет право удовлетворять жалобы своих подданных. Но соединяться вместе для самозащиты – этого

нельзя!» Вот в каком смысле республика называла себя «единой и нераздельной».

И разве не так же думает и современный социалист-якобинец? Разве Конвент, с присущей ему свирепой логикой, не выразил сущности его мыслей?

В этом ответе Конвента выразилось отношение всякого государства ко всем сообществам, ко всем частным организациям, каковы бы ни были их цели.

Что касается стачки в России, она и теперь еще считается преступлением против государства. В значительной степени то же можно сказать и о Германии, где император Вильгельм еще недавно говорил углекопам: «Обращайтесь ко мне, но если вы когда-нибудь посмеете действовать в своих интересах сами, вы скоро познакомитесь со штыками моих солдат!»

То же самое почти всегда происходит и во Франции. И даже в Англии только после столетней борьбы путем тайных обществ, путем кинжала, пускаемого в ход против предателя и хозяина, путем подкладывания пороха под машины (не дальше как в 1860 г.), наждака в

подшипники и т. п. английским рабочим почти удалось добиться права стачек. Они скоро добьются его окончательно, если только не попадутся в ловушку, уже расставленную им государством, которое хочет навязать им обязательное посредничество в столкновениях с хозяевами в обмен на закон о восьмичасовом рабочем дне.

Больше ста лет ужасной борьбы! И сколько страданий, сколько рабочих умерло в тюрьмах, сколько сослано в Австралию, убито, повешено! И все это для того, чтобы вернуть себе то право соединяться в союзы, которое, повторяю опять, – составляло достоинство каждого человека, свободного или крепостного, в те времена, когда государство еще не успело наложить свою тяжелую руку на общество[163].

Но разве только одни рабочие подверглись этой участи? Вспомните о той борьбе, которую пришлось выдержать с государством буржуазии, чтобы добиться права образовывать торговые общества, – права, которое государство предоставило ей только тогда, когда увидело в таких обществах способ создавать мо-

нополии в пользу своих слугителей и пополнять свою казну. А борьба за то, чтобы сметь говорить, писать или даже думать не так, как велит государство посредством своих академий, университетов и церкви! А борьба, которую пришлось выдержать за то, чтобы иметь право учить детей хотя бы только грамоте, – право, которое государство оставляет за собой и которым оно не пользуется! А право даже веселиться сообща? – уже не говорю о выборных судьях или о том, что в Средние века человеку очень часто предоставлялось самому выбирать, у какого судьи он желает судиться и по какому закону.

И я не говорю также о той борьбе, которая еще предстоит нам, прежде чем наступит день, когда будет сожжена книга возмутительных наказаний, порожденных духом инквизиции и восточных деспотий, – книга, известная под названием Уголовного Закона!

Или посмотрите на систему налогов – учреждение чисто государственного происхождения, являющееся могучим орудием в руках государства, которое пользуется им как во всей Европе, так и в молодых республиках

Соединенных Штатов Америки, для того чтобы держать под своей пятою массы населения, доставлять выгоды своим сторонникам, разорять большинство в угоду правящему меньшинству и поддерживать старые общественные деления, старые касты.

Подумайте затем о войнах, без которых государство не может ни образоваться, ни существовать, – войны, которые делаются фатальными, неизбежными, как только мы допустим, что известная местность (только потому, что она составляет одно государство) может иметь интересы, противоположные интересам соседних местностей, составляющих часть другого государства. Подумайте только о прошлых войнах и будущих, которые грозят нам и которые покоренные народы принуждены будут вести, чтобы завоевать себе право дышать свободно; о войнах за торговые рынки, о войнах для создания колониальных империй. А мы все знаем слишком хорошо во Франции, какое рабство несет с собой война, все равно, кончается ли она победой или поражением.

Но из всех перечисленных мною зол едва

ли не самое худшее – это воспитание, которое нам дает государство как в школе, так и в последующей жизни. Государственное воспитание так извращает наш мозг, что само понятие о свободе в нас исчезает и заменяется понятиями рабскими.

Грустно видеть, как глубоко многие из тех, которые считают себя революционерами, глубоко ненавидят анархистов только потому, что анархическое понятие о свободе не укладывается в то узкое и мелкое представление о ней, которое они почерпнули из своего проникнутого государственным духом воспитания. А между тем нам приходится встречаться с этим на каждом шагу.

Зависит это от того, что в молодых умах всегда искусно развивали, и до сих пор развивают, дух добровольного рабства с целью упрочить навеки подчинение подданного государству. Философию, проникнутую любовью к свободе, всячески стараются задушить ложною религиозно-государственною философией. Историю извращают, начиная уже с самой первой страницы, где рассказывают басни о меровингских, каролингских и рюри-

ковских династиях, и до самой последней, где воспевается якобинство, а народ и его роль в создании общественных учреждений обходятся молчанием. Даже естествознание ухитряются извратить в пользу двуголового идола, церкви и государства, а психологию личности, и еще больше общества, искажают на каждом шагу, чтобы оправдать тройственный союз – из солдата, попа и палача. Даже теория нравственности, которая в течение целых столетий проповедовала повиновение церкви или той или другой якобы священной книге, освобождается теперь от этих пут только затем, чтобы проповедовать повиновение государству. «У вас нет никаких прямых обязанностей по отношению к вашему ближнему, в вас нет даже чувства взаимности; все ваши обязанности – обязанности по отношению к государству; без государства вы перегрызли бы друг другу горло, – учит нас эта новая религия, называющая себя «научною», в то время как она молится все тому же престарелому римскому и кесарскому божеству. Сосед, друг, общинник, согражданин, ты должен забыть все это! Ты должен сноситься с другими не

иначе как через посредство одного из органов твоего государства. И все вы должны упражняться в одной добродетели: учиться быть рабами государства. Государство – твой бог!»

И это прославление государства и дисциплины, над которыми трудятся и церковь, и университет, и печать, и политические партии, производится с таким успехом, что даже революционеры не смеют смотреть этому новому идолу прямо в глаза.

Современный радикал – централист, государственный и якобинец до мозга костей. По его же стопам идут и социалисты. Подобно флорентийцам конца XV столетия, которые отдались в руки диктатуры государства, чтобы спастись от деспотизма патрициев, современные социалисты не находят ничего лучшего, как призвать тех же богов – ту же диктатуру, то же государство, чтобы спастись от гнусностей экономической системы, созданной тем же государством!

Если вы вникнете глубже во все разнообразные факты, которых мы могли лишь поверхностно коснуться в этом кратком очерке; если вы посмотрите на государство, каким

оно явилось в истории и каким по существу своему оно продолжает быть и теперь; если вы убедитесь, как убедились мы, что общественное учреждение не может служить безразлично всем желаемым целям, потому что, как всякий орган, оно развивается посредством того, что оно выполняет ради одной известной цели, а не ради всех возможных целей, – вы поймете, почему мы неизбежно приходим к заключению о необходимости уничтожения государства.

Мы видим в нем учреждение, которое, развиваясь в течение всей истории человеческих обществ, служило для того, чтобы мешать всякому прямому союзу людей между собою, чтобы препятствовать развитию местного почину и личной предприимчивости, душить уже существующие вольности и мешать возникновению новых, и все это – чтобы подчинить народные массы ничтожному меньшинству. И мы знаем, что учреждение, которое прожило уже несколько столетий и прочно сложилось в известную форму ради того, чтобы выполнить такую роль в истории, уже не может быть приноровлено к роли про-

тивоположной.

Что же нам говорят в ответ на этот довод, неопровержимый для всякого, кто только задумывался над историей?

Нам противопоставляют возражение почти детское: «Государство уже есть; оно существует и представляет готовую и сильную организацию. Зачем же разрушать ее, если можно ею воспользоваться? Правда, теперь она вредна, но это потому, что она находится в руках эксплуататоров. А раз она попадет в руки народа, почему же не послужить для благой цели, для народного блага?»

Это – все та же мечта маркиза Позы в драме Шиллера, пытавшегося превратить самодержавие в орудие освобождения, или мечта аббата Фромана в романе Золя «Рим», пытающегося сделать из католической церкви рычаг социализма!..

Не грустно ли, что приходится отвечать на такие доводы? Ведь те, кто рассуждает таким образом, или не имеют ни малейшего понятия об истинной исторической роли государства, или же представляют себе социальную революцию в таком жалком и ничтожном ви-

де, что она не имеет ничего общего с социалистическими стремлениями.

Возьмем как живой пример Францию.

Всем нам, мыслящим людям, известен тот поразительный факт, что третья республика во Франции, несмотря на свою республиканскую форму, остается по существу монархической. Все мы упрекаем ее за то, что она оказалась неспособной сделать Францию республиканской; я уже не говорю о том, что она ничего не сделала для социальной революции: я хочу только сказать, что она даже не внесла республиканских нравов и республиканского духа. В самом деле, ведь все то немногое, что действительно было сделано в течение последних двадцати пяти лет для демократизации нравов или для распространения просвещения, делалось повсюду, даже и в европейских монархиях, под давлением духа того времени, которое мы переживаем.

Откуда же явился во Франции этот странный государственный строй – республиканская монархия?

Происходит он оттого, что Франция была и осталась государством в той же мере, в какой

она была сорок лет тому назад. Держатели власти переменили свое имя, но все это огромное чиновничье здание, созданное во Франции по образцу императорского Рима, осталось.

Вся эта ужасная централизованная организация, созданная для того, чтобы обеспечить и увеличить эксплуатацию народных масс в пользу нескольких привилегированных масс, и составляющая самую сущность государства, осталась; колеса этого громадного механизма продолжают по-прежнему обмениваться пятьюдесятью бумагами каждый раз, когда ветром снесет дерево на большой дороге, и миллионы, собранные с народа, продолжают сыпаться в карманы привилегированных. Штемпель на бумагах изменился; но государство, его дух, его органы, его территориальная централизация и централизация действий, его фаворитизм, т. е. покровительство «своим», его роль создателя монополий – остались без перемены. Мало того: как всякие паразиты, они день ото дня все больше и больше расползаются по всей стране.

Республиканцы – по крайней мере искрен-

ние – долго льстили себя надеждой, что им «удастся» воспользоваться государственной организацией для того, чтобы произвести перемену в республиканском смысле; мы видим теперь, как они ошиблись в расчетах.

Вместо того чтобы уничтожить старую организацию, уничтожить государство и создать новые формы объединения, исходя из самых основных единиц каждого общества – из сельской общины, свободного союза рабочих и т. д., – они захотели «воспользоваться старой, уже существующей организацией». И за это непонимание той истины, что историческое учреждение нельзя заставить по произволу работать то в том, то в другом направлении, что оно имеет свой собственный путь развития, которым оно шло в течение веков, – они заплатились тем, что были сами поглощены этим учреждением.

А между тем здесь дело еще не шло об изменении всех экономических отношений общества, как это ставим мы: их вопрос был лишь в изменении некоторых политических отношений между людьми! И это даже оказалось невозможно!

И, несмотря на эту полную неудачу, несмотря на такой жалкий результат, нам все еще с упорством продолжают повторять, что завоевание государственной власти народом будет достаточно для совершения социальной революции! Нас хотят уверить, несмотря на все неудачи, что старая машина, старый организм, медленно выработавшийся в течение хода истории с целью убивать свободу, поработать личность, подыскивать для притеснения законное основание, создавать монополии, отуманивать человеческие умы, постепенно приучая их к рабству мысли, – вдруг окажется пригодным для новой роли, вдруг явится и орудием, и рамками, в которых каким-то чудом создастся новая жизнь... водворится свобода и равенство на экономическом основании, исчезнут монополии, наступит пробуждение общества и завоевание им лучшего будущего! Какая печальная, трагическая ошибка!..

Какая нелепость! Какое непонимание истории! Чтобы дать простор широкому росту социализма, нужно вполне перестроить все современное общество, основанное на узком

лавочническом индивидуализме. Вопрос не только в том, чтобы, как иногда любили выражаться на метафизическом языке, «возвратить рабочему целиком весь продукт его труда», но в том, чтобы изменить самый характер всех отношений между людьми, начиная с отношений отдельного обывателя к какому-нибудь церковному старосте или начальнику станции и кончая отношениями между различными ремеслами, деревнями, городами и областями. На каждой улице, во всякой деревушке, в каждой группе людей, сгруппировавшихся около фабрики или железной дороги, должен проснуться творческий, созидательный и организационный дух, — для того чтобы и на фабрике, и на железной дороге, и в деревне, и в лавке, и в складе продуктов, и в потреблении, и в производстве, и в распределении все перестроилось по-новому. Все отношения между личностями и человеческими группами должны будут подвергнуться перестройке с того самого часа, когда мы решимся дотронуться впервые до современной общественной организации, до ее коммерческих или административных учреждений.

И вот эту-то гигантскую работу, требующую свободной деятельности народного творчества, хотят втиснуть в рамки государства, хотят ограничить пределами пирамидальной организации, составляющей сущность государства! Из государства, самый смысл существования которого заключается, как мы видели, в подавлении личности, в уничтожении всякой свободной группировки, всякого свободного творчества, в ненависти ко всякому личному почину и в торжестве одной идеи, которая по необходимости должна быть идеей посредственности, из этого-то механизма хотят сделать орудие для выполнения гигантского превращения!.. Целым общественным обновлением хотят управлять путем указов и избирательного большинства!.. Какое ребячество!

Через всю историю нашей цивилизации проходят два течения, две враждебные традиции: римская и народная, императорская и федералистская, традиция власти и традиция свободы.

И теперь, накануне великой социальной революции, эти две традиции опять стоят ли-

цом к лицу.

Которое нам выбрать из этих двух всегда борющихся в человечестве течений – течение народное или течение правительственного меньшинства, стремящегося к политическому и религиозному господству, – сомнения быть не может. Наш выбор сделан.

Мы присоединяемся к тому течению, которое еще в XII в. приводило людей к организации, построенной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной федерации тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются, если хотят, цепляться за традиции канонического и императорского Рима!

История не представляет одной непрерывной линии развития. По временам развитие останавливалось в одной части света, а затем возобновлялось в другой. Египет, Азия, берега Средиземного моря, Центральная Европа поочередно пребывали очагами исторического развития. И каждый раз развитие начиналось с первобытного племени; затем оно переходило к сельской общине; затем наступал период вольных городов и, наконец, период государ-

ства, во время которого развитие продолжалось некоторое время, но затем вскоре замирало.

В Египте цивилизация началась в среде первобытного племени, достигла ступени сельской общины; потом пережила период вольных городов и позднее приняла форму государства, которое, после временного процветания, привело к смерти страны.

Развитие снова началось в Ассирии, в Персии, в Палестине. Снова оно прошло через те же ступени – первобытного племени, сельской общины, вольного города, всесильного государства, и затем опять наступила смерть!

Новая цивилизация возникла в Греции. Опять начавшись с первобытного племени, медленно пережив сельскую общину, она вступила в период республиканских городов. В этой форме греческая цивилизация достигла своего полного расцвета. Но вот с Востока на нее повеяло ядовитым дыханием восточных деспотических традиций.

Войны и победы создали Македонскую империю Александра. Водворилось государство и начало сосать жизненные соки из цивили-

зации, пока не настал тот же конец – смерть!

Образованность перенеслась тогда в Рим. Здесь мы опять видим зарождение ее из первобытного племени, потом сельскую общину и затем вольный город. Опять в этой форме Римская цивилизация достигла своей высшей точки. Но затем явилось государство, империя и с нею конец – смерть!

На развалинах Римской империи цивилизация возродилась среди кельтских, германских, славянских и скандинавских племен. Медленно вырабатывало первобытное племя свои учреждения, пока они не приняли формы сельской общины. На этой ступени они дожили до XII столетия. Тогда возникли республиканские вольные города, породившие тот славный расцвет человеческого ума, о котором свидетельствуют нам памятники архитектуры, широкое развитие искусств и открытия, положившие основание нашему естествознанию. Но затем, в XVI в., явилось на сцену государство и... неужели опять смерть?

Да, смерть, или возрождение! Смерть, если мы не сумеем перестроить общество на свободном, противогосударственном фундамен-

те.

Одно из двух. Или государство раздавит личность и местную жизнь; завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собою войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов, и как неизбежный конец – смерть!

Или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения.

Выбирайте сами!

4. Современное государство

I. Главный принцип современных обществ

Для нас особенно важно разобраться в отличительных чертах современного общества и государства, чтобы определить, куда мы идем, что нами уже приобретено теперь и что мы надеемся завоевать в будущем.

Общество, в настоящем его виде, конечно, не является результатом какого-нибудь основного начала, логически развитого и приложенного ко всем потребностям жизни. Как всякий живой организм, общество представляет собой, наоборот, очень сложный результат тысячи столкновений и тысячи соглашений, вольных и невольных, множества пережитков старого и молодых стремлений к лучшему будущему.

Подчиненный язычеству и духовенству дух древности, рабство, империализм, крепостничество, средневековая община, старые предрассудки и современный дух – все это представлено в теперешнем обществе, более или менее, со всеми оттенками, под всеми

формами всевозможных оттенков. Тени прошлого и облики будущего, обычаи и понятия, сохранившиеся еще от каменного века, и стремления к будущему, еле обрисовывающемуся на горизонте, – все это существует в нем в состоянии постоянной борьбы в каждом человеке, в каждом общественном слое и в каждом поколении, как и во всем обществе, взятом в целом.

Однако если мы посмотрим на крупные столкновения и великие народные революции, совершившиеся в Европе начиная с XII столетия, мы увидим, что в них выражается одно стремление. Все эти восстания были направлены на разрушение того, что осталось в виде пережитка от древнего рабства в более мягкой форме – против крепостного права. Все они имели целью освобождение или крестьян, или горожан, или тех и других от принудительного труда, который был навязан им силой закона в пользу тех или других господ. Признать за человеком право располагать своею личностью и работать над тем, что он хочет и сколько он хочет, без того чтобы кто-либо имел право принуждать его к этому, –

иначе говоря, освободить личность крестьянина и ремесленника, такова была цель всех народных революций: великого восстания коммун XII в., крестьянских войн в XV–XVI вв. в Богемии, Германии и Голландии, революций 1381 г. и 1648 г. в Англии и, наконец, Великой Революции во Франции.

Правда, эта цель была достигнута только отчасти. По мере того как человек освобождался и завоевывал себе личную свободу, новые экономические условия навязывались ему, чтобы урезать его свободу, выковать для него новые цепи и угрозой голода подвести его под ярмо. Мы видели недавно пример в наши дни, когда русские крепостные, освобожденные в 1861 г., очутились в положении, при котором им пришлось дорогой ценой выкупать земли, которые они обрабатывали руками в течение многих веков, что привело их к упадку и нищете, и таким образом их порабощение было восстановлено. То, что происходило в России в наше время, было также и прежде в том или ином виде везде в Западной Европе. Когда физическое принуждение исчезало вследствие восстания или револю-

ции, то устанавливались новые формы того же принуждения. Личное рабство было уничтожено, но порабощение возникало в новой форме – экономической.

И, однако, несмотря на все господствующее начало современного общества, есть начало личной свободы, провозглашенное – по крайней мере в теории – для каждого члена общества. Согласно букве закона, труд не является более принудительным ни для кого. Нет более класса рабов, принужденных работать для своих господ; и в Европе, по крайней мере, нет более крепостных, обязанных отдавать своему господину три дня работы в неделю в обмен на кусок земли, к которому они оставались прикованными всю их жизнь. Каждый волен работать, если он хочет, сколько хочет и что он хочет, таков, по крайней мере, в теории, – основной принцип современного общества.

Мы знаем, однако, – и социалисты всех оттенков не перестают доказывать это каждый день, – насколько эта свобода кажущаяся. Миллионы и миллионы людей, женщин и детей постоянно принуждаются под угрозой го-

лода продать свою свободу, отдать свой труд хозяину на тех условиях, на которых он пожелает заставить их работать. Мы знаем – и мы стараемся ясно показать это народным массам, – что под формой аренды, найма и процента, платимых капиталисту, рабочий и крестьянин продолжают отдавать нескольким господам вместо одного господина те же три дня работы в неделю; очень часто даже больше, чем три дня в неделю, только бы получить право обрабатывать землю или даже жить хоть где-нибудь под защитой крова.

Мы знаем также, что если господа экономисты дадут себе труд заняться однажды, случайно, политической экономией и вычислят все, что различные господа (хозяин, капиталист, посредники, землевладелец и так далее, не говоря о государстве) берут прямо или косвенно из заработной платы рабочего, то мы будем поражены скудной долей, которая остается рабочему для оплаты труда тех других работников, которых продукты труда он потребляет: для уплаты крестьянину, выращивающему хлеб, который он ест; каменщику, строящему дом, в котором он живет; тем, кто

сделал его мебель, платье и так далее. Мы были бы поражены, видя, как мало возвращается всем этим работникам, которые производят все, что потребляет рабочий, по сравнению с громадной долей, которая идет баронам современного феодализма.

Заметьте, что это ограбление рабочего не делается более одним господином, сидящим законно на шее у каждого работника. Для этого существует механизм, чрезвычайно сложный, безличный и неответственный. Как и в прежнее время, рабочий отдает значительную часть своего труда привилегированным, но он более не делает этого под кнутом господина. Принуждение перестало быть телесным. Его выбросят на мостовую, его заставят жить в конуре, умирать с голоду, видеть, как его дети гибнут от истощения, побираться милостыней в старости, но его не разложат в полицейском участке на скамье, чтобы высечь за скверно сшитое платье или плохо обработанное поле, как это делалось еще при нашей жизни в Восточной Европе, а раньше практиковалось везде в Европе.

При теперешнем режиме, часто более же-

стоком и более неумолимом, чем старый режим, человек сохраняет, однако, чувство личной свободы. Мы знаем, что это чувство – почти иллюзия, самообман для пролетария. Но мы должны признать, что весь современный прогресс и все наши надежды на будущее еще основываются на этом чувстве свободы, как бы ограничена она ни была в действительности.

Самый несчастный из босоногих нищих в самый черный момент его несчастий не согласится поменять своей постели из камней под сводом моста на тарелку супа, которая давалась бы ему каждый день, но с цепью рабства на шее. Более того, это чувство, это требование личной свободы так дороги современному человеку, что мы постоянно видим, как целые массы рабочих терпят голод месяцами и идут с голыми руками на штыки государства, чтобы только удержать известные завоеванные права.

В самом деле, самые упорные стачки и самые отчаянные восстания происходили из-за вопросов о свободе, о завоеванных правах, – более чем из-за вопросов о заработной плате.

Таким образом, право работать над тем, чего хочет человек и сколько хочет, остается принципом современного общества. И самое сильное обвинение, которое мы выдвигаем против современного общества, состоит в том, что эта свобода, столь дорогая сердцу рабочего, остается все время воображаемой и призрачной благодаря тому, что он вынужден продавать свою силу капиталисту; так что современное государство есть могучее орудие для удержания рабочего в таком вынужденном положении; и достигает оно этого при помощи привилегий и монополий, которые оно постоянно дает одному классу граждан, к невыгоде и в ущерб рабочему. В самом деле, теперь начинают понимать, что принцип личной свободы, который так дорог всем завоевавшим ее и на котором все пришли к соглашению, ловко обходится благодаря целому ряду монополий; что те, кто ничем не владеет, делаются рабами тех, кто владеет, раз они вынуждены принимать условия владельца земли или фабрики, чтобы иметь возможность работать; что таким образом они платят богачам – всем богачам – громадную дань

благодаря монополиям, созданным в пользу богатых. Народ нападает на монополии не затем, чтобы помешать праздности, какую они дают привилегированным классам, но вследствие того господства над рабочим классом, которое они обеспечивают.

Серьезный упрек, который мы ставим современному обществу, состоит не в том, что оно пошло по ложной дороге, провозглашая, что отныне каждый будет работать над тем, что он хочет и сколько хочет. Мы его упрекаем в том, что оно создало такие условия собственности, которые не позволяют рабочему работать над тем, что он хочет и сколько хочет. Мы считаем это общество ненормальным и несправедливым, потому что, провозгласив начало личной свободы, оно поместило работника полей и фабрик в такие условия, которые уничтожают это начало; потому что оно низводит рабочего до состояния замаскированного рабства, до состояния человека, которого нищета заставляет работать для обогащения хозяев и для увековечения самому своего рабского состояния, — заставляет самого ковать себе свои цепи.

Но если так – если право «работать над тем, что хочешь и сколько хочешь» действительно дорого современному человеку; если всякая форма принудительного и рабского труда ему противна; если личная свобода для него важнее всего, – то ясно, что должен делать революционер.

Он отбросит всякие формы скрытого и замаскированного рабства. Он будет стремиться к тому, чтобы эта свобода не была пустым словом. Он постарается узнать, что мешает рабочему быть действительно единственным господином своих способностей и своих рук, и он будет работать над тем, чтобы разбить эти препятствия, – если нужно, силой. Но он будет остерегаться в то же время ввести новые препятствия, которые, увеличивая, может быть, его благосостояние, снова доведут человека до того, что он потеряет свою свободу.

Посмотрим же, что это за препятствия, которые в современном обществе обрезали свободу рабочего и сделали его рабом.

II. Рабы государства

Никто не может быть принужден по закону работать на другого. Такова, сказали мы, основа современного общества, завоеванная рядом революций. И те среди нас, кто знал крепостное право в первой половине последнего века или только видели его следы[164], те из нас, кто знал отпечаток, оставленный этим учреждением на физиономии всего общества, – те поймут с одного слова важность перемены, произведенной окончательной отменой легального крепостного права. Но если законной обязанности работать для другого более не существует среди частных лиц, то государство сохраняет за собой до сего времени право налагать на своих подданных обязательный труд. Более того, по мере того как отношения господина и раба исчезают в обществе, государство расширяет все более и более свое право на принудительный труд граждан; так что права современного государства заставили бы покраснеть от зависти законников XV и XVI вв., которые старались тогда обосновать королевскую власть.

Теперь государство налагает, например, на всех граждан обязательное обучение. Вещь, в

сущности, прекрасная, если смотреть на нее с точки зрения права ребенка идти в школу, когда родители хотят удержать его дома для работы, посылают работать на фабрику или даже учиться у невежественной монахини. Но в действительности – во что превратилось теперь обучение, даваемое в первоначальной школе? Ребенку набивают голову целой кучей учений, сочиненных именно для того, чтобы обеспечить право государства над гражданином; чтобы оправдать монополии, даваемые государством над целыми классами граждан; чтобы провозгласить как святую святых права богатого эксплуатировать бедного и делаться богатым благодаря этой бедности; чтобы внушить детям, что судебное преследование, производимое обществом, есть высшая справедливость и что завоеватели были величайшие люди человечества. Но что говорить! Государственное обучение, достойное наследие иезуитского воспитания, есть усовершенствованный способ убить всякий дух личного почина и независимости и научить ребенка рабству мысли и действия.

А когда ребенок вырастет, государство

явится за тем, чтобы принудить его к обязательной воинской повинности, и предпишет ему, кроме того, различные работы для коммуны и для государства, в случае нужды. Наконец, при помощи налогов оно заставит каждого гражданина произвести громадную массу работы для государства, а также для фаворитов государства, все время заставляя его думать, что это он сам добровольно подчиняется государству, что это он сам распоряжается через своих представителей деньгами, поступающими в государственную казну.

Таким образом, здесь провозглашен новый принцип. Личного рабства более не существует. Нет более рабов государства, как было раньше в течение прошедших веков, даже во Франции и Англии. Король не может более приказывать десяти или двадцати тысячам своих подданных являться к нему для постройки крепостей или для разбивки садов и возведения дворцов в Версале, несмотря на «чудовищную смертность среди рабочих, которых каждую ночь увозят, навалив полные телеги трупов», как писала мадам де Севинье [165]. Дворцы в Виндзоре, Версале и Петерго-

фе не строятся более путем принудительных работ. Теперь государство требует всех этих услуг от подданных путем налогов под предлогом производства полезных работ, охраны свободы граждан и увеличения их богатств.

Мы готовы первые радоваться уничтожению бывшего рабства и засвидетельствовать, насколько это важно для общего прогресса освободительных идей. Быть притащенным из Нанси или Лиона в Версаль, чтобы строить там дворцы, предназначенные для увеселения фаворитов короля, было гораздо тяжелее, чем платить такую-то сумму налогов, представляющую столько-то дней работы, хотя бы даже эти налоги были потрачены на бесполезные или даже вредные для народа работы. Мы более чем признательны деятелям 1793 г. за то, что они освободили Европу от принудительного труда.

Но тем не менее верно, что, по мере того как освобождение от личных обязательств человека по отношению к человеку завершилось в течение XIX в., обязательства по отношению к государству все продолжали расти. Каждые десять лет они увеличивались в чис-

ле, разнообразии и количестве труда, требуемого государством от каждого гражданина. К концу XIX в. мы видим даже, что государство вновь берет себе право на принудительный труд. Оно налагает, например, на железнодорожных рабочих (недавний закон в Италии) обязательный труд в случае стачки, и это – не что иное, как прежний принудительный труд в пользу больших акционерных компаний, владеющих железными дорогами. А от железной дороги до рудника и от рудника до фабрики – не более чем один шаг. И раз будет признан предлог общественного блага или даже только общественной необходимости или общественной полезности, то нет более границ для власти государства.

Если с углекопами или со служащими железных дорог еще не обращаются, как с увеличенными в государственной измене, каждый раз, как они начинают забастовку, и если их не вешают направо и налево, то это единственно потому, что необходимость в этом еще не чувствуется. Считают более удобным воспользоваться угрожающими жестами нескольких стачечников, чтобы расстрелять

толпу в упор и послать вожаков на каторгу. Это делается теперь постоянно и в республиках, и в монархиях.

До сих пор довольствовались «добровольным подчинением». Но в тот день, когда почувствовали в Италии необходимость в этом или, вернее, страх такой необходимости, парламент не поколебался ни одной минуты голосовать карательный закон, хотя железные дороги в Италии остаются еще в руках частных компаний. Для «себя», во имя «общественного блага» государство, конечно, не поколеблется сделать даже с большей суровостью то, что оно уже сделало для своих любимцев, для акционерных компаний. Оно уже сделало это в России. А в Испании оно доходит даже до пыток, чтобы охранять монополистов. Действительно, после ужасных пыток, применявшихся в 1907 г. в Монтжуйской тюрьме, пытка стала снова в Испании учреждением на пользу нынешних любимцев государства – владельцев финансовых фирм.

Мы идем так быстро в этом направлении, и вторая половина XIX в., воодушевленная тем, что подсказывали привилегированные

фавориты правительства, так далеко зашла в направлении централизации, что если мы не примем мер предосторожности, то в скором времени мы увидим, что стачечников и забастовщиков и всех недовольных не только будут расстреливать как мятежников и грабителей, но будут гильотинировать или ссылать в болотистые, вредные для здоровья места в какой-нибудь колонии только за то, что они не выполнили общественной службы.

Так делают в армии и так будут делать в рудниках. Консерваторы уже громко требовали этого в Англии.

Вообще, не надо обманываться. Два великих движения, два больших течения мысли и действия характеризовали XIX век. С одной стороны, мы видели борьбу против всех следов древнего рабства. Мало того что армии первой французской республики прошли через всю Европу, уничтожая крепостное право, но когда эти армии были изгнаны из стран, которые они освободили, и когда там было восстановлено крепостное право, то оно не могло продержаться долго. Веяние революции 1848 г. унесло его окончательно из Запад-

ной Европы; а в 1861 г. оно, как мы знаем, было уничтожено в России и 17 лет спустя на Балканах.

Более того, в каждой нации человек работал для утверждения своих прав на личную свободу. Он освободился от предрассудков относительно дворянства, королевской власти и высших классов: и путем тысячи и тысячи маленьких восстаний, произведенных в каждом углу Европы, человек утвердил, посредством созданных им же обычаев, свое право считаться свободным.

С другой стороны, все умственное движение века: поэзия, роман, драма, как только они перестали быть простой забавой для праздных, носили тот же характер. Беря Францию, вспомним о Викторе Гюго, о Евгении Сю[166] в его «Тайнах народа» («Mysteres du peuple»), Александре Дюма (отце, конечно) в его истории Франции, написанной в романах, о Жорж Занде[167] и т. д.; далее, о великих конспираторах Барбесе и Бланки, об историках, как Огюстен Тьерри, Сисмонди, Мишле, о публицистах, как П. Л. Куррье; наконец, о реформаторах-социалистах: Сен-Симоне, Фу-

рье, Консидеране, Луи Блане и Прудоне и, наконец, об основателе позитивной философии Огюсте Конте. Все они выразили в литературе движение мысли, которое происходило в каждом углу Франции, в каждой семье, в каждом мыслящем человеке, чтобы освободить человека от нравов и обычаев, оставшихся от эпохи личной власти человека над человеком. И что происходило во Франции, происходило везде, более или менее, чтобы освободить человека, женщину, ребенка от обычаев и идей, установленных веками рабства.

Но рядом с этим великим освободительным движением развивалось в то же время и другое, которое, к несчастью, также вело свое происхождение от Великой Революции. Оно имело своею целью развить всемогущество государства во имя неопределенного, двусмысленного выражения, которое открывало дверь не только всем лучшим намерениям, но также и тщеславию и вероломству – во имя общественного блага.

Происходя от эпохи, когда церковь стремилась завоевать души человеческие, чтобы вести их к спасению, и перейдя в наследие на-

шей цивилизации от Римской империи и римского права, идея всемогущества государства молча усиливалась и прошла громадный путь в течение последней половины XIX в.

Сравните только обязанность военной службы в той форме, как она существует сейчас, в наши дни, с тем, что она была в прошедшие века, – и вы будете поражены тем, насколько выросла эта обязанность по отношению к государству, под предлогом равенства.

Никогда крепостной в Средние века не позволял лишать себя человеческих прав до такой степени, как современный человек, который отказывается от них добровольно, просто по духу добровольного рабства. В двадцать лет, то есть в возрасте, когда человек жаждет свободы и склонен даже «злоупотреблять» этой свободой, молодой человек смиренно позволяет запереть себя на два или три года в казарму, где он разрушает свое физическое, умственное и моральное здоровье. Почему? Зачем?.. Затем, чтобы изучить ремесло, которое швейцарцы изучают в шесть недель, а буры изучили лучше, чем европейские ар-

мии, в процессе работы по расчистке девственной земли, объезжая свои прерии верхом.

Он не только рискует своею жизнью, но в своем добровольном рабстве он идет дальше, чем раб. Он позволяет своим начальникам контролировать его любовные дела, он бросает свою любимую женщину, дает обет целомудрия и гордится тем, что повинуется, как автомат, своим начальникам, хотя он не может ни судить, ни знать их военные таланты, ни даже их честность. Какой крепостной в средние века, кроме разве прислуги, следовавшей за военными сзади с обозом, согласился бы идти на войну на таких условиях, которым современный крепостной, одурелый от идеи дисциплины, подчиняется по своей доброй воле? Да что говорить! Крепостные рабы XX в. подчиняются даже ужасам и безобразиям исправительного батальона в Африке (Бириби) без всякого протеста с своей стороны!

Когда же крепостные – крестьяне и ремесленники – отказывались от права противопоставлять свои тайные общества таким же об-

цествам своих господ и защищать силой оружия свое право соединяться в союзы и общества? Было ли в Средние века такое черное время, когда народ городов отказался бы от своего права судить своих судей и бросить их в реку, когда он не одобрял бы их приговоров? И когда, даже в самые темные времена притеснений в древности, видно было, чтобы государство имело полную возможность возвращать своей школьной системой все народное образование, от первоначального обучения и до университета? Макиавелли[168] страстно желал этого, но вплоть до XIX в. его мечтания не были осуществлены!

Одним словом, в первой половине XIX в. имелось громадное прогрессивное движение, стремившееся к освобождению личности и мысли; и такое же громадное регрессивное движение взяло верх над предыдущим во второй половине века и теперь стремится восстановить старую зависимость, но уже по отношению к государству: увеличить ее, расширить и сделать ее добровольной! Такова характерная черта нашего времени.

Но это относится только к прямым обязан-

ностям. Что же касается обязанностей непрямых, вводимых посредством налогов и капиталистических монополий, то хотя они не сразу бросаются в глаза, тем не менее они все время растут и становятся столь угрожающими, что настало уже время заняться серьезным их изучением.

III. Налог – средство создания могущества государства

Если государство при помощи воинской повинности, народного образования, которым оно управляет в интересах богатых классов, при помощи церкви и тысячи своих чиновников обладает уже колоссальной властью над своими подданными, то эта власть еще усиливается при помощи налогов.

Безвредный вначале, даже, может быть, благословляемый самими плательщиками, когда он заменил принудительные работы, налог становится ныне все более и более тяжелым бременем. Теперь налог – могучее орудие, обладающее тем большей силой, что он скрывается под тысячью форм и что правители сознают его силу и способность управлять всею экономической и политической жизнью

общества в интересах правящих и богатых классов. Ибо те, кто стоят у власти, пользуются теперь налогами не только затем, чтобы получать свои жалованья, но в особенности затем, чтобы создавать и разрушать состояния, накапливать громадные богатства в руках немногих привилегированных, чтобы создавать монополии, разорять народ и порабощать его богатым; и все это происходит так, что плательщики и не догадываются даже о той власти, которую они дали в руки своему правительству.

– Но что же может быть более справедливо, чем налог, – скажут нам, конечно, защитники государства.

– Вот, например, – скажут нам, – мост, построенный жителями такой-то общины. Река, вздувшаяся от дождей, готова унести этот мост, если его сейчас же не перестроят. Разве не естественно и не справедливо призвать всех жителей общины к работам по перестройке моста? А так как у большинства жителей есть свои дела, то разве не разумно заменить личную работу каждого, то есть неопытный, вынужденный труд, налогом, ко-

торый позволит призвать рабочих и инженеров-специалистов?

Или вот ручей, который в половодье становится непроходимым. Почему жители соседних общин не возьмутся за постройку моста через него? Почему им не заплатить по столько-то с головы, вместо того чтобы приходиться самим и работать лопатами для исправления канавы или для мощения дороги? Или – зачем строить самим хлебный магазин, куда каждый житель должен будет сложить по столько-то хлеба в год на случай недорода, когда вместо этого можно предоставить государству заботиться о прокормлении во время голода, платя ему за то небольшой налог?

Все это кажется столь естественным, справедливым и разумным, что самый упрямый индивидуалист не имеет ничего возразить против этого – при том условии, конечно, что известное равенство условий существует в общине.

И, приводя все больше и больше подобных примеров, экономисты и защитники государства вообще спешат сделать заключение, что налог справедлив, желателен со всех точек

зрения и... «Да здравствует налог!»

И все-таки все эти рассуждения ложны и неверны. Ибо если некоторые общинные налоги действительно ведут свое происхождение из общинного труда, произведенного сообществом, то вообще налог или, скорее, многочисленные и громадные налоги, которые мы платим государству, имеют своим источником совсем другое происхождение, а именно завоевание.

Восточные монархии и позднее императорский Рим налагали принудительные работы именно на завоеванные народы. Римский гражданин был освобожден от этой обязанности и перелagal ее на народы, подчиненные его владычеству. И вплоть до Великой Революции (а отчасти и до наших дней) предполагаемые потомки расы завоевателей (римской, германской, нормандской), то есть «так называемые благородные дворяне», были избавлены от налогов. Мужики, черная кость, завоеванные белой костью, фигурировали одни на месте тех, кто подлежит принудительному труду и обложению налогами. Во Франции земли благородных или «тех, кто был возве-

ден в благородное состояние», не платили ничего до 1789 г. И до сих пор самые богатые землевладельцы в Англии не платят почти ничего за свои громадные владения и оставляют их необработанными в ожидании того, когда их стоимость удвоится вследствие недостатка земли.

Не из общинного труда, произведенного со свободного общего согласия, а именно из завоевания, из крепостного права происходят налоги, которые мы платим теперь государству. Действительно, когда государство заставляло подданных производить принудительные работы в XVI–XVIII вв., то дело шло вовсе не о тех работах, которые села и деревни предпринимали на основании свободного соглашения своих жителей. Общинные работы продолжали производиться жителями общин. Но рядом с этими работами, кроме них, сотни тысяч крестьян приводились под военным конвоем из отдаленных сел для постройки национальной дороги или крепости, для перевозки провизии, необходимой для питания армии, для следования на своих голодных лошадях за богатыми, отправлявшимися

для завоевания новых замков. Другие работали в рудниках и на фабриках государства; третьи, подгоняемые хлыстами управляющих, должны были повиноваться преступным фантазиям своих господ, занимаясь рытьем прудов у дворянских замков или строя дворцы для королей, для господ и их содержанок, тогда как жены и дети этих крепостных должны были питаться лебедой или просить милостыню по дорогам, а их отцы бросались голодные под пули солдат, чтобы отнять у конвоиров увозимый ими награбленный хлеб.

Принудительный труд, налагаемый сначала силой на покоренные народы (как это теперь еще делают и французы, и англичане, и германцы с неграми в Африке), а потом на всех «неблагородных», на «черную кость», — таково было истинное происхождение налога, который мы платим теперь государству. Нужно ли удивляться, что налог сохранил до наших дней отпечаток своего происхождения?

Для деревень было большим облегчением, когда с приближением Великой Революции

начали заменять принудительные работы на государство своего рода выкупом – налогом, платимым в виде денег. Когда Революция принесла, наконец, с собой луч света в крестьянские хижинки и уничтожила часть акцизных сборов и налогов, ложившихся тяжелым бременем на беднейшие классы, и когда идея более справедливого (и также более выгодного для государства) налога начала осуществляться, это вызвало, говорят нам, всеобщую радость в деревнях, особенно среди тех крестьян, кто наживался торговлей и ростовщичеством.

Но по сию пору налог остался верен своему первоначальному происхождению. В руках буржуазии, завладевшей властью, он не переставал расти, и его рост шел особенно на пользу буржуазии. Посредством налога, которого тягость не сразу чувствуется, клика правящих, то есть государство, которое представляет четверной союз короля, церкви, судьи и военачальника, не переставало расширять свои дела и обращаться с народом, как с завоеванной расой. Налог поражает так хорошо, что ныне благодаря этому драгоценному ору-

дию мы почти так же порабощены государством, как наши отцы когда-то были порабощены своими господами и барами.

Какое количество труда каждый из нас дает государству? Ни один экономист не попытался оценить число трудовых дней, которые рабочий на полях и на заводах отдает каждый год этому вавилонскому идолу, так что мы напрасно стали бы искать в трактатах политической экономии хотя бы приблизительной оценки того, что человек, производящий богатства, отдает государству из своего труда. Простая оценка, основанная на бюджетах государства, губерний, волостей и общин (которые также участвуют в расходах государства), ничего бы не сказала нам, потому что необходимо оценить не то, что входит в кассы казначейства, но то, что уплата каждого рубля, внесенного в казначейство, представляет собой из фактических расходов, произведенных плательщиком. Все, что мы можем сказать, это то, что количество труда, отдаваемого каждый год производителем государству, огромно. Это количество должно достигнуть — и для некоторых классов намного превзой-

ти – три дня работы в неделю, которые крепостной раб отдавал некогда своему господину.

И заметьте, что как бы мы ни старались перестроить систему налогов, главная их тяжесть в конечном счете всегда падает на рабочего. Каждая копейка, уплаченная в казну, платится в конце концов работником, производителем.

Государство может накладывать руку, более или менее, на доходы богачей. Но для этого еще требуется, чтобы богатые имели доходы, чтобы эти доходы были сделаны, произведены кем-нибудь, а они могут быть произведены только тем, кто производит что-нибудь своим трудом. Государство требует у богатого своей части его добычи, но откуда происходит эта добыча, представляющая собой в конечном счете определенное количество хлеба, железа, фарфора или проданных тканей – вообще всех результатов труда рабочего-производителя? Оставляя в стороне богатства, привозимые из-за границы и представляющие собой результат эксплуатации других работников, живущих в России, на Востоке, в

Аргентине, в Африке, работники самой страны должны отдать государству такое-то количество дней своего труда, не только чтобы уплатить свой налог, а также чтобы обогатить богатых.

Если налог, взимаемый государством, кажется в сравнении с его громадными расходами не столь тяжелым в Англии, как у других народов Европы, то это происходит по двум причинам. Прежде всего, парламент, состоящий наполовину из лордов землевладельцев, покровительствует им и позволяет брать громадные деньги с жителей городов и деревень, в то время как сами землевладельцы платят всего лишь ничтожный налог. Во-вторых – и это самое главное, – Англия больше всех европейских стран облагает налогами труд рабочих других народов[169].

Нам говорят иногда о прогрессивном налоге на доходы, который, по словам наших правителей, ударяет по карману богачей к выгоде бедняков. Такова была действительно идея Великой Революции, когда она ввела эту форму налога. Но теперь все, что мы получаем от налога, который только слегка прогрессивен,

это то, что он слегка задевает доходы богачей, т. е. у них берется немного больше, чем ранее, из того, что они выжали из рабочих. Но это все. И все-таки всегда платит рабочий – и платит он обыкновенно больше, чем государство берет у богатого.

Таким образом, мы сами видели в городе Бромлей, что, когда налог на жилые дома был увеличен нашей ратушей приблизительно на два рубля в год на каждую квартиру рабочего (полудомик, как говорят в Англии), сейчас же плата за эти квартиры повысилась на двенадцать рублей в год. Таким образом, домовладелец немедленно перекладывал на своих квартирантов увеличение налога и одновременно пользовался этим для увеличения своего дохода и эксплуатации.

Что же касается до косвенных налогов, мы знаем не только, что особенно задеваются этим налогом предметы, потребляемые всеми (другие – меньше), но также что всякое увеличение на несколько копеек налога на напитки, на кофе или хлеб отражается гораздо большим увеличением на ценах, платимых потребителем.

Кроме того, вполне очевидно, что единственно тот, кто производит, кто создает богатства своим трудом, может платить налог. Остальное есть не что иное, как дележка добычи, полученной предпринимателем того, кто производит, — дележка, которая всегда сказывается для работника лишь увеличением эксплуатации.

Таким образом, мы можем сказать, что, оставляя в стороне налоги, взимаемые с богатств, производимых за границей, миллиарды, вносимые каждый год в казну (в любой стране), ложатся почти всецело на труд миллионов работников, имеющих в стране. Тут рабочий платит как потребитель напитков, сахара, спичек, керосина; там, платя за свою квартиру, он выплачивает налог, накладываемый государством на владельца дома. Здесь, покупая свой хлеб, он платит земельные налоги, земельную ренту, квартирную плату и налоги булочника, оплачивает инспекцию, министерство финансов и т. д. Там, наконец, покупая себе платье, он оплачивает свои права на ввезенный из-за границы хлопок и монополию, созданную протекционизмом. По-

купая уголь, путешествуя в вагоне железной дороги, он оплачивает монополию на угольные рудники и железные дороги, созданную государством к выгоде для капиталистов, владельцев этих рудников и железных дорог. Коротко говоря, всегда он платит всю кучу налогов, налагаемых государством, округом, общиной на землю и ее продукты, на сырье, на мануфактуру, на доход хозяина, на привилегии образования – на все, что стекается в кассы коммуны, округа и государства.

Сколько же дней труда в год представляют собой все эти налоги? Разве не вполне вероятно, что, подсчитав итог, мы увидим, что современный рабочий работает более для государства, чем даже крепостной раб некогда работал на своего господина?

Но если бы только было это!

В действительности же налог дает правительству не только средство сделать эксплуатацию более усиленной, но также средство удерживать народ в бедности и создавать легально, не говоря о воровстве и о панамских мошенничествах, такие состояния, которых капитал один никогда не смог бы создать.

IV. Налог – средство обогащать богатых

Налог так удобен! Наивные люди – «дорогие граждане», как их именуют во время выборов, – привыкли видеть в налоге средство для совершения великих дел цивилизации, полезных для народа. Но правительства великолепно знают, что налог представляет им самый удобный способ создавать большие состояния за счет малых, делать народ бедным и обогащать некоторых, отдавать с большими удобствами крестьянина и рабочего во власть фабриканта и спекулянта, поощрять одну промышленность за счет другой и все вообще промышленности – за счет земледелия и в особенности за счет крестьянина или же всего народа.

Если бы завтра в палате депутатов решили ассигновать 20 млн руб. в пользу крупных землевладельцев (как лорд Сольсбюри сделал в Англии в 1900 г., чтобы вознаградить своих избирателей-консерваторов), то вся страна завопила бы как один человек, министерство было бы немедленно низвергнуто. А при помощи налога правительство перекачивает те же миллионы из карманов бедняков в карма-

ны богачей, так что бедные даже не замечают этой проделки. Никто не кричит, и та же цель достигается удивительным образом — настолько ловко, что это назначение налогов проходит незамеченным даже теми, кто делает своей специальностью изучение налогов.

Это так просто! Достаточно, например, увеличить на несколько копеек налоги, платимые крестьянином за каждую лошадь, телегу, корову и т. д., чтобы сразу разорить десятки тысяч земледельческих хозяйств. Те, кто уже с большим трудом едва-едва сводит концы с концами и кого малейший удар может окончательно разорить и отправить в ряды пролетариата, гибнут на этот раз от самого ничтожного увеличения налогов. Они продают свои участки земли и уходят в города, предлагая свой труд владельцам фабрик и заводов. Другие продают лошадь и с удвоенным усердием начинают работать лопатой, надеясь еще поправить свое положение. Но новое увеличение налогов, неизбежно вводимое через несколько лет, добивает их до конца, и они становятся также пролетариями.

Эта пролетаризация слабых государством,

правительством производится постоянно из года в год, и никто не кричит об этом, кроме самих разоренных, голос которых не доходит до широких кругов публики. Мы видели, как это производилось в грандиозном масштабе в течение последних сорока лет в России, особенно в центральной России, где мечты крупных промышленников о создании пролетариата осуществлялись потихоньку при помощи налогов, между тем как если бы был издан закон, который стремился бы одним почерком пера разорить несколько миллионов крестьян, то это вызвало бы протесты всего мира, даже в России при самодержавном правительстве. Налог, таким образом, мягко достигает того, что правительство не смеет делать открыто.

И экономисты, присваивающие себе название «научных», говорят нам об «установленных» законах экономического развития, о «капиталистическом фатализме» и о «самоотрицании», между тем как простое изучение налогов легко объяснило бы добрую половину того, что они приписывают предполагаемой фатальности экономических законов. Та-

ким образом, разорение и экспроприация крестьянина, которое происходило в XVII в. и которое Маркс назвал «первоначальным накоплением капитала», продолжается до наших дней из года в год при помощи такого удобного орудия – налога.

Вместо того чтобы увеличиваться согласно неизбежным законам, сила капитала была бы значительно парализована в своем распространении, если бы она не имела к своим услугам государства, которое, с одной стороны, создает все время новые монополии (рудники, железные дороги, вода для жилых помещений, телефоны, меры против рабочих союзов, судебное преследование забастовщиков и т. д.), а с другой стороны, создает состояния и разоряет массы рабочих посредством налога.

Если капитализм помог создать современное государство, то так же – не будем забывать этого – современное государство создает и питает капитализм.

Адам Смит в прошедшем столетии уже подчеркнул эту силу налога и наметил главные линии, по которым должно было идти

изучение налога, но после Смита такое изучение не продолжалось, и, чтобы показать теперь эту мощь налога, нам приходится собирать там и сям соответствующие случаи и примеры.

Так, возьмем земельный налог, являющийся одним из самых могучих орудий в руках государства. Восьмой отчет Бюро труда штата Иллинойса дает массу примеров, доказывающих, как – даже в демократическом государстве – создаются состояния миллионеров, просто при помощи того, как государство облагает земельную собственность в городе Чикаго.

Этот громадный город рос очень быстро, достигнув в течение пятидесяти лет 1 500 000 жителей. облагая налогами застроенные земли, в то время как незастроенные земли, даже на самых центральных улицах, облагались лишь слегка, государство создало состояния миллионеров. Участки земли на одной такой большой улице, которые стоили пятьдесят лет тому назад 2400 рублей за одну десятую часть десятины, ныне стоят от двух до двух с половиною миллионов.

Притом вполне очевидно, что если бы на-

лог был по столько-то за каждую квадратную сажень застроенной или незастроенной земли или если бы земля была муниципализована, то никогда подобные состояния не могли бы накапливаться. Город воспользовался бы ростом своего населения, чтобы понизить налоги на дома, населяемые рабочими. Теперь же наоборот; так как именно дома в шесть или десять этажей, населенные рабочими, выносят главную тяжесть налога, то, следовательно, рабочий должен работать, чтобы позволять богатым сделаться еще более богатыми. В вознаграждение за это он должен жить в нездоровых, плохих помещениях, что, как известно, останавливает духовный и умственный рост того класса, который живет в этих помещениях, и вместе с тем отдает всецело во власть фабриканта. Восьмой двугодовой отчет Бюро рабочей статистики Иллинойса 1894 г. полон поразительных сведений на эту тему.

Или возьмем английский арсенал в Вуличе. Некогда земли, на которых вырос Вулич, представляли из себя дикие луга, обитаемые только кроликами. Но с тех пор как государ-

ство построило там свой большой арсенал, Вулич и соседние деревни сделались большим городом с значительным населением, где 20 000 человек работают на фабриках государства, изготавливая орудия разрушения.

Однажды в июне 1890 г. один депутат потребовал от правительства увеличения заработной платы рабочим. «Зачем? – ответил министр-экономист Гошен. – Это все равно будет отобрано у них домовладельцами!.. В течение последних лет заработная плата увеличилась на 20 %, но плата за квартиры рабочих увеличилась за это время на 50 %. Увеличение заработной платы (цитирую дословно) вело, таким образом, только к тому, что в карманы домовладельцев (уже миллионеров) поступала гораздо большая сумма денег». Рассуждение министра, очевидно, верно, и факт, что миллионеры отбирают большую часть увеличения заработной платы, заслуживает того, чтобы его хорошенько запомнили. Он совершенно точен.

С другой стороны, все время жители Вулича, как жители всякого другого большого города, были принуждены платить двойные и

тройные налоги для устройства канализации, дренирования, мощения улиц, и город, таким образом, из полного всяких болезней превратился теперь в здоровый город. Благодаря же существующей системе земельного налога и земельной собственности вся эта масса денег пошла на то, чтобы обогатить уже богатых земледельцев и домовладельцев. «Они перепродают плательщикам налогов по частям те выгоды, которые они получили благодаря санитарным улучшениям и которые были уже оплачены этими самыми плательщиками», — замечает совершенно верно газета вулических кооператоров «Comradeship» («Товарищество»).

Или еще: в Вуличе завели паровой паром для переезда через Темзу и сообщения с Лондоном. Сначала это была монополия, которую парламент создал в пользу одного капиталиста, поручив ему установить сообщение с паровым паромом. Затем, по прошествии некоторого времени, так как монополист ввел слишком высокие цены за переезд, муниципалитет выкупил у него право держания парома. Все это стоило плательщикам более

2 000 000 руб. налогов в течение восьми лет! И вот маленький кусок земли, расположенный у парома, поднялся в цене на 30 000 руб., которые, конечно, были положены в карман землевладельцем. И так как этот кусок земли будет продолжать всегда возрастать в цене, то вот вам новый монополист, новый капиталист в добавление к легионам других, уже созданных английским государством.

Но этого мало! Рабочие государственных заводов Вулича кончили тем, что основали профессиональный союз и в результате долгой борьбы удерживали свою заработную плату на более высоком уровне, чем на других заводах подобного рода. Они основали также кооператив и уменьшили этим на одну четверть свои расходы на существование. Но «лучшая часть жатвы» все-таки идет в карманы господ! Когда кто-нибудь из этих господ решается продать кусочек своих земель, то его агент помещает в местных газетах следующее объявление (цитирую дословно):

«Высокая заработная плата, платимая арсеналом рабочим, благодаря их профессиональному союзу, и существование в Вуличе

прекрасного кооператива делают эту местность в высшей степени подходящей для постройки домов с рабочими квартирами». Иными словами, это значит: «Вы можете дорого заплатить за этот кусок, господа строители домов с рабочими квартирами. Вы получите все это назад очень легко с рабочих квартирантов». И строители платят, строят и затем с излишком собирают затраченные деньги с рабочего.

Но это еще не все. Вот несколько энтузиастов сумели после ужасных затруднений и колоссального труда основать в самом Вулице род кооперативного городка с домиками для рабочих. Земля была куплена кооперативом, дренирована, канализована; были проведены улицы; затем участки земли продавались рабочим, которые благодаря кооперативу могли на хороших условиях выстроить себе свои домики. Основатели радовались и торжествовали. Успех был полный, и они захотели узнать, на каких условиях им можно будет купить соседний кусок земли, чтобы увеличить кооперативный городок. Они платили раньше за свой участок 15 000 руб. за де-

сятину, теперь же с них спросили 30 000... Почему?..

– Но, господа, ваш городок идет очень хорошо, и поэтому стоимость нашей земли удвоилась, – говорили им.

– Великолепно! Значит, так как государство создало и поддерживало земельную монополию в пользу какого-нибудь капиталиста, то кооператоры работали только затем, чтобы еще обогатить этого капиталиста и чтобы сделать дальнейшее распространение их рабочего города невозможным!

– Да здравствует государство!

– Работай для нас, бедное животное, раз ты веришь, что можешь улучшить свою судьбу кооперативами, не осмеливаясь затрагивать в то же время собственность, налог и государство!

Но оставим Чикаго и Вулич – разве мы не видим в каждом большом городе, как государство, воздвигая дом в шесть этажей, гораздо больший, чем частный особняк богача, создает этим самым новую привилегию в пользу богача? Оно позволяет ему забирать себе в карман излишек стоимости, приданной его

земле увеличением и украшением города, особенно домом в шесть этажей, в котором гнездится беднота, работающая за нищенскую плату над украшением города.

Удивляются тому, что города растут так быстро за счет деревни, и не желают видеть, что вся финансовая политика XIX столетия направлена к тому, чтобы обложить как можно больше налогами земледельца – истинного производителя, так как он умеет добыть из земли в три, четыре, в десять раз больше продуктов, чем раньше, в пользу городов, то есть в пользу банкиров, адвокатов, торговцев и всей банды прожигателей жизни и правителей.

И пусть нам не говорят, что создание монополий в пользу богатых не есть самая главная суть современного государства и симпатий, которые оно встречает среди богатых и образованных людей, прошедших через школы государства. Вот последний великолепный пример того, как употребляли налоги в Африке.

Всем известно, что главной целью войны Англии против буров было уничтожение бурского закона, не позволявшего принуждать

негров работать в золотых копях.

Английские компании, основанные для эксплуатации этих мин, не давали тех доходов, на которые они рассчитывали. Вот что недавно заявил по этому поводу в парламенте лорд Грей: «Вы должны оставить навсегда идею о возможности разрабатывать ваши копи при помощи труда белых. Нужно найти средства, как притянуть к этому негров... Это можно было бы сделать, например, при помощи налога в один фунт на каждую хижину негров, как мы это уже делаем в Басутоланде, а также при помощи небольшого налога (12 шиллингов), который будет взиматься с тех негров, которые не смогут предъявить удостоверения о том, что они четыре месяца в году работали у белых» (Гобсон Дж. А. Война в Южной Африке. – Hobson. The War in South-Africa. P. 234).

Вот вам крепостное право, которое не осмеливались вводить открыто, но которое ввели при помощи налога. Представьте себе каждую жалкую хижину, обложенную налогом в десять рублей, и вы имеете перед собой крепостное рабство! И Рэдд, агент известного

Родса, пояснил это предложение, написав следующее:

«Если, под предлогом цивилизации, мы истребили от 10 000 до 20 000 дервишей нашими пушками Максима, то, конечно, не будем насилием заставить туземцев Южной Африки отдавать три месяца в году честному труду». Всегда те же два, три дня в неделю! Больше этого не нужно. Что же касается оплаты «честного труда», то Рэдд высказался по этому поводу очень определенно: от 24 до 30 руб. в месяц – это «болезненный сентиментализм». Четверти этого хватит за глаза (там же, с. 235). При таких условиях негр не разбогатеет и останется рабом. Нужно отобрать у него назад при помощи налога то, что он заработает как жалованье; нужно помешать ему давать себе отдых!

Действительно, с тех пор как англичане сделались господами Трансвааля и «черных», добыча золота поднялась со 125 млн руб. до 350 млн руб. Около 200 000 «черных» принуждены теперь работать в золотых копиях, чтобы обогащать компании, которые были главной причиной возникновения войны.

Но то, что англичане сделали в Африке, чтобы довести черных до нищеты и навязать им силой работу в рудниках, государство делало в течение трех веков в Европе по отношению к крестьянам, и оно еще делает это теперь, чтобы навязать тот же принудительный труд рабочим городов.

А универсанты нам еще толкуют о «незыблемых законах» политической экономии!

Оставаясь все время в области новейшей истории, мы могли бы привести другой пример ловкой операции, проведенной при помощи налога. Это можно было бы назвать – «Как британское правительство взяло с народа 2 000 000 руб., чтобы отдать их крупным чаоторговцам – водевиль в одном акте». В субботу 3 марта 1900 г. в Лондоне разнеслось известие, что правительство собирается увеличить ввозные пошлины на чай на два пенса (8 копеек) на фунт. Немедленно после этого в субботу и понедельник 22 000 000 фунтов чаю, который лежал на лондонской таможне, ожидая уплаты пошлин, были взяты коммерсантами, уплатившими пока пошлину по старой ставке; а во вторник цена чая в лондонских

магазинах была повсюду увеличена на два пенса. Если будем считать только 22 000 000 фунтов, взятых в субботу и понедельник, это составляет уже чистую прибыль в 44 000 000 пенсов (около 4 600 000 франков или почти 2 000 000 руб.), взятых из кармановплательщиков и переложенных в карманы чаоторговцев. Но то же самое было проделано и в других таможах – в Ливерпуле, в Шотландии и т. д., не считая чая, вышедшего из таможен раньше, чем узнали о предстоящем увеличении пошлины. Это, без сомнения, выразится в сумме около 5 000 000 руб., подаренных государством купцам.

То же самое с табаком, пивом, водкой, винами, – и вот вам богатые обогатились приблизительно на десяток миллионов, взятых из карманов бедных. А посему: «Да здравствует налог! И да здравствует государство!».

И вас, детей бедных, учат в первоначальной школе (дети богатых узнают совсем другое в университетах), что налог был создан для того, чтобы дать возможность бедным жителям деревень не отбывать более принудительных работ, заменив их небольшим

ежегодным взносом в кассу государства. И скажите вашей матери, согнувшейся под бременем многих лет труда и домашней экономии, что вас учат там великой и прекрасной науке – политической экономии!..

Возьмемте на самом деле образование. Мы прошли длинный путь с тех пор, когда коммуна находила сама дом для своей школы и для учителя, где мудрец, физик и философ окружали себя добровольными учениками, чтобы передать им секреты своей науки или своей философии. Теперь мы имеем так называемое бесплатное обучение, доставляемое государством за наш же счет; мы имеем гимназии, университеты, академии, научные общества, существующие на субсидии от государства, научные миссии и так далее.

Так как государство всегда чрезвычайно радо расширять сферу своих отправлений (а граждане не желают ничего лучшего, как избавляться от обязанности думать о делах общего интереса) и «освободиться» от своих сограждан, предоставляя общие дела кому-нибудь третьему, все устраивается удивительным образом. «Образование? – говорит госу-

дарство. – Прекрасно, милостивые государи-ни и милостивые государи, мы очень рады дать его вашим детям! Чтобы облегчить вам заботы, мы даже запретим вам вмешиваться в образование. Мы составим программы – и, пожалуйста, чтобы не было никакой критики! Сначала мы забьем головы вашим детям изучением мертвых языков и прелестей римского права. Это сделает их податливыми и покорными. Затем, чтобы отнять у них всякую склонность к непокорности, мы расскажем им о добродетелях государств и правительств и научим презирать управляемых. Мы внушим им, что они, выучив латынь, сделали солью земли, дрожжами прогресса, что без них человечество погибло бы. Это вам будет льстить, а что же касается до них, то они проглотят это с величайшим удовольствием и станут донельзя тщеславными. Это именно то, что нам нужно. Мы научим их, что нищета народных масс есть “закон природы”, – и они будут рады узнать это и повторять. Видоизменяя, однако, народное обучение сообразно изменяющемуся вкусу времени, мы также скажем им, что такова воля Бо-

жия, что таков “незыблемый закон”, согласно которому рабочий должен впасть в нищету, как только он начнет немного богатеть, потому что в своем благосостоянии он забывается до того, что хочет иметь детей. Все обучение будет иметь целью заставить ваших детей поверить, что вне государства, ниспосланного провидением, нет спасения! А вы будете нас хвалить за это, не правда ли?»

После того, заставив народ заплатить расходы на народное образование всех ступеней – первоначальное, второй ступени, университеты, академии, мы устроим дела таким образом, чтобы сохранить наиболее жирные, лучшие части бюджетного пирога для сыновей буржуазии. А этот большой добродушный богатырь, народ, гордясь своими университетами и своими учеными, даже не заметит, как из правительства мы устроим монополию для тех, кто сможет платить за роскошь гимназий и университетов для своих детей. Если бы мы сказали всем прямо и открыто о нашей цели, «что, мол, вами будут управлять, вас будут судить, защищать, учить и дурачить богатые в интересах богатых», то они,

конечно, возмутились бы и восстали. Это ясно. Но с помощью налога и нескольких хороших и очень «либеральных» законов, – например, заявив народу, что, для того чтобы занять высокий пост судьи или министра, нужно пройти и выдержать по крайней мере двадцать различных экзаменов, – добродушный богатырь найдет, что все очень хорошо!

Вот каким образом, потихоньку и постепенно, управление народа аристократией и богатыми буржуа – против которых народ некогда бунтовал, когда он встречался с ними лицом к лицу, – теперь устраивается с согласия и даже одобрения народа – под маской налога!

О налоге военном мы не станем говорить, так как все должны бы уже знать, что думать о нем. Когда же постоянная армия не была средством держать народ в рабстве? И когда регулярная армия могла завоевать страну, если ее встречал вооруженный народ?

Но возьмите какой угодно налог, прямой или косвенный: на землю, на доходы или на потребление, чтобы заключать государственные долги или под предлогом уплаты их (по-

тому что они ведь никогда не выплачиваются, а все растут да растут); возьмите налог для войны или для народного образования, рассмотрите его, разберите, к чему он нас ведет в конечном счете, и вас поразит громадная сила, могущество, которое мы передали нашим правителям.

Налог – самая удобная для богатых форма, чтобы держать народ в нищете. Он дает средство для разорения целых классов землевладельцев и промышленных рабочих, когда они, после ряда неслыханных усилий, добиваются небольшого улучшения своего благосостояния. В то же время он есть самый удобный способ для того, чтобы сделать правительство вечною монополией богатых. Наконец, он позволяет под благовидными предложениями готовить оружие, которое в один прекрасный день послужит для подавления народа, если он восстанет.

Как морское чудовище старинных сказок, он даст возможность опутывать все общество и направлять все усилия отдельных личностей к обогащению привилегированных классов и правительственной монополии.

И пока государство, вооруженное налогом, будет существовать, освобождение пролетариата не сможет совершиться никаким образом – ни путем реформ, ни путем революции. Потому что если революция не раздавит это чудище, то она сама будет им задушена; и в таком случае она сама очутится на службе у монополии, как это случилось с революцией 1793 г.

V. Монополии

Рассмотрим теперь, как современное государство, установившееся в Европе после XVI в., а впоследствии и в молодых республиках Америки, работало над тем, чтобы поработить личность. Признав освобождение нескольких слоев общества, которые разбили в свободных городах крепостное рабство, государство, как мы видели, постаралось удержать рабство как можно дольше для крестьян и восстановило экономическое рабство для всех в новой форме, поставив всех своих подданных под иго чиновников и целого класса привилегированных: бюрократии, церкви, земельных собственников, купцов и капиталистов. И мы только что видели, как государ-

ство воспользовалось для этой цели налогом.

Теперь мы бросим взгляд на другое орудие, которым государство умело так хорошо пользоваться, – создание привилегий и монополий в пользу некоторых из своих подданных и к невыгоде остальных. Здесь мы видим государство в его настоящей работе: оно выполняет свое настоящее назначение. Оно начало это делать с самого своего возникновения – именно это и дало ему возможность сорганизоваться и сгруппировать под своей защитой барина, солдата, священника и судью. За эту защиту и был признан король. Этому назначению он остается верен до наших дней; и если иногда он не выполнял этого, если он переставал охранять права привилегированных сословий, то смерть грозила этому историческому учреждению, которое приняло определенную форму для определенной цели и которое мы зовем государством.

Поразительно, в самом деле, до какой степени созидание различных преимуществ в пользу тех, кто уже имел их по рождению или в силу церковной или военной власти является самой существенной чертой организа-

ции, которая начала развиваться в Европе в XVI в. и заменять собой вольные города Средних веков.

Мы можем взять какую угодно нацию: Францию, Англию, германские государства, итальянские или славянские – везде мы встречаем у зарождающегося государства тот же характер. Поэтому нам будет достаточно бросить взгляд на развитие монополий у одного народа – Англии, например, где это развитие лучше изучено, – чтобы понять существенную роль государства у современных народов. Ни один из них не представляет в этом отношении исключения.

Мы видим совершенно ясно, как образование современного государства, зародившегося в Англии после конца XVI столетия, и образование монополий в пользу привилегированных шло рука об руку.

Уже перед царствованием Елизаветы, когда английское государство только что началось, короли Тюдорской династии создавали все время монополии для своих фаворитов. При Елизавете, когда морская торговля начала развиваться и ряд новых отраслей

промышленности выростал в Англии, это стремление еще более усилилось. Каждая новая промышленность обращалась в монополию – или в пользу иностранцев, плативших королеве, или в пользу царедворцев, которых желали вознаградить.

Эксплуатация залежей квасцов в Йоркшире, соли, свинцовых и угольных копей в Ньюкастле, стеклянная промышленность, усовершенствованная выделка мыла, булавок и так далее – все это было превращено в монополии, которые мешали развитию промышленности и убивали мелкие промыслы. Чтобы защитить интересы царедворцев, которым была пожалована мыльная монополия, доходили, например, до того, что частным лицам было запрещено выделывать мыло на дому при их собственном щелоке.

При короле Джеймсе I создание концессий и распределение патентов шло, все увеличиваясь, до 1624 г., когда наконец, при приближении революции, был издан закон против монополий. Но этот закон был двуличный: с одной стороны, он осуждал монополии, а в то же время не только поддерживал суще-

ствующие уже монополии, но и утверждал новые и очень важные. Кроме того, едва лишь он был издан, как его сейчас же стали нарушать. Для этого воспользовались одним из его параграфов, который был в пользу старых городских корпораций, и стали сначала устанавливать монополии в отдельных городах, а потом распространяли их на целые области. С 1630 по 1650 г. правительство воспользовалось также «патентами», чтобы учредить новые монополии.

Потребовалась революция 1688 г., чтобы наложить узду на эту оргию монополий.

И только в 1689 г., когда новый парламент (представлявший собой союз между торговой буржуазией и промышленностью и земельной аристократией, против королевского самодержавия и придворных) начал действовать, были приняты новые меры против создания монополий королем. Историки-экономисты говорят даже, что в течение почти целого века после 1689 г. английский парламент ревностно охранял свое право не позволять создания промышленных монополий, которые могли покровительствовать некоторым

промышленникам во вред другим.

Нужно действительно признать, что революция и усиление власти буржуазии дали этот результат и что крупные отрасли промышленности, как хлопок, шерсть, железо, уголь и т. п., могли развиваться без помех со стороны монополий. Они могли даже развиться настолько, что стали национальными отраслями, в которых участвовала масса мелких предпринимателей. А это позволило тысячам рабочих вносить в небольшие мастерские много всяких улучшений, без которых производство никогда не могло бы совершенствоваться.

Но тем временем сорганизовывалась и укреплялась государственная буржуазия. Правительственная централизация, которая есть суть всякого государства, шла вперед, и скоро снова началось образование новых монополий, но уже в новых областях и на этот раз в совсем другом масштабе, чем при Тюдорах. Тогда это был только детский период искусства. Теперь же государство достигло зрелого периода.

Если парламент сдерживался до некото-

рой степени представителями местной буржуазии и не мог вмешиваться в самой Англии в нарождавшиеся отрасли и покровительствовать одним за счет других, то он перенес свою монополистскую деятельность на колонии. Там он действовал на широкую ногу. Индийская компания, Канадская компания Гудзонова залива сделались своего рода богатейшими государствами, отданными нескольким группам частных лиц. Позднее концессии на земли в Америке, на золотосыпные россыпи в Австралии, привилегии на судоходство и захват новых отраслей промышленности сделались в руках государства средствами для жалования своих любимцев баснословными доходами. Колоссальные состояния были накоплены таким путем.

Верный своей природе английский парламент, состоявший из двух частей: буржуазии в палате общин и земельной аристократии в палате лордов, занялся в течение всего XVIII в. обращением крестьян в пролетариев крестьянства и передачей их, со связанными руками и ногами, во власть земельных собственников. При помощи законов об «огора-

живании» (Inclosure Acts), посредством которых парламент объявил общинные земли личной собственностью господина-лорда, если последний огородил их какой-нибудь изгородью, около 3 000 000 десятин общинных земель перешли из рук общин в руки господ между 1709 и 1869 гг. Вообще результат монополистского законодательства английского парламента был тот, что одна треть земли, годной для обработки в Англии, принадлежит теперь только 523 семьям.

Огораживанье было актом открытого грабежа; но в XVIII в. государство, обновленное революцией, уже чувствовало себя достаточно сильным, чтобы не обращать внимания на недовольство и случайные восстания крестьян. Притом его в этом поддерживала буржуазия.

Действительно, одаривая таким образом лордов земельной собственностью, парламент покровительствовал также промышленной буржуазии. Изгоняя крестьян из деревень в города, он давал промышленникам дешевые «рабочие руки» голодных людей. А вследствие толкования, данного парламен-

том закону о бедных, агенты хлопчатобумажных фабрикантов объезжали Работные дома (workhouses), то есть собственно тюрьмы, куда запирали безработных пролетариев с их семьями; и из этих тюрем агенты увозили фургоны, полные детей, которые под именем «учеников Работных домов» должны были работать четырнадцать и шестнадцать часов в день на хлопчатобумажных фабриках. Города Ланкаширской провинции носят до сих пор на своем народонаселении отпечаток своего происхождения. Худосочная кровь голодных детей, которые были привезены из Работных домов южных провинций для обогащения буржуазии и которых заставляли работать из-под кнута надсмотрщиков, очень часто с семи лет, видна еще теперь в хилом малокровном населении этих городов. Это продолжалось вплоть до XIX в.

Наконец, чтобы помочь новым рождающимся промышленностям, парламент уничтожал своим законодательством местную промышленность в колониях. Так было убито ткацкое производство, которое достигло было высокой степени артистического совершен-

ства в Индии. Таким образом, этот богатейший рынок был отдан в распоряжение английских коммерсантов. Выделка холста в Ирландии была таким же образом убита, к выгоде хлопчатобумажников Манчестера.

Мы видим, следовательно, что если буржуазный парламент, заботившийся об обогащении своих избирателей путем развития национальной промышленности, противился в течение XVIII в. тому, чтобы отдельные промышленники или отрасли английской промышленности обогащались в ущерб другим, то он все свое внимание отдал пролетаризации масс земледельческого населения Англии и колоний, которых он отдал на самую низкую эксплуатацию могущественных монополистов. В то же время, по мере сил, он поддерживал и покровительствовал в Англии даже горнопромышленным монополиям, установленным еще в предыдущем веке, как монополия угольных промышленников Ньюкастла, которая продержалась до 1844 г., и медная монополия, продолжавшаяся до 1820 г.

VI. Монополии в XIX в.

С первой половины XIX в. начали возникать, под покровительством закона, новые монополии, перед которыми старые были детской игрой.

Сначала внимание дельцов устремилось на железные дороги и на океанские пароходные линии, субсидируемые государством. Колоссальные состояния были созданы в течение немногих десятков лет в Англии и во Франции с помощью «концессий», полученных частными лицами и компаниями на постройку железных дорог, обыкновенно с гарантией известного дохода.

К этому прибавились большие металлургические и горнопромышленные общества для поставки железным дорогам железа на рельсы, железных или стальных мостов, подвижного состава и топлива – все эти общества умели получать баснословные доходы и страшно спекулировали приобретенными землями. За ними следовали крупные общества для постройки железных морских судов и для выделки железа, стали, меди для военного снаряжения и самого снаряжения: брони, пушек, ружей, холодного оружия и т. д.;

затем предприятия для постройки каналов (Суэц, Панама и т. д.); и, наконец, то, что называют «развитием» запоздалых в индустрии стран, т. е. попросту грабежом их, при помощи субсидий от своего государства. Миллионеры фабриковались тогда быстро, как грибы, наполовину – голодными рабочими, которых расстреливали без всякой пощады или ссылали на принудительные работы, как только они делали малейшую попытку мятежа.

Постройка широкой сети железных дорог в России (начатая в 60-х гг.) на полуостровах Европы, в Соединенных Штатах, в Мексике, в республиках Южной Америки – все это было источником неслыханных богатств, собранных посредством настоящего грабежа, под покровительством государства. Какое жалкое зрелище представлял, бывало, феодальный барон, когда он грабил купеческий караван, проходивший близ его замка! Теперь биржевые дельцы грабили сразу миллионы человеческих существ при открытом содействии государства и его правительств, самодержавных, парламентарных и республиканских.

Но это было не все. Скоро к этому присо-

единились еще: постройка судов для торгового флота, субсидируемая различными государствами; пароходные линии, также субсидируемые; затем подводные кабели и телеграфы; постройка туннелей и пересечение перешейков; украшение городов, начатое в грандиозном масштабе при Наполеоне III; и, наконец, возвышаясь над всем этим, как Эйфелева башня над соседними домами, царили государственные займы и субсидированные банки!

Весь этот танец миллиардов совершался при помощи «концессий». Финансы, торговля, война, вооружение, образование – все было использовано для создания монополий, для фабрикации уже не миллионеров, а миллиардеров, владельцев миллиардов.

И пусть не стараются оправдать эти монополии и концессии, говоря, что таким путем люди все-таки выполнили и завершили многие полезные предприятия. Потому что на каждый полезно затраченный миллион капитала для этих предприятий учредители компаний обременяли государственные долги тремя, четырьмя, пятью, иногда десятью мил-

лионами. Стоит вспомнить только Панаму, где миллионы были выброшены, чтобы «пустить вход» компании, и только десятая часть денег, внесенных акционерами, пошла на действительные работы по пересечению перешейка. Но что происходило с Панамой, происходит со всеми компаниями без исключения в Америке, в Республике Соединенных Штатов так же, как и в европейских монархиях. «Почти все наши компании, железнодорожные и другие, сказал Генри Джордж[170] в своей работе “Прогресс и бедность”, – перегружены таким образом. Там, где действительно пущен в дело доллар, выпускают облигации на два, три, четыре, пять и даже десять долларов; проценты же и дивиденды уплачиваются именно на эти фиктивные суммы».

И если бы только было это! Когда сформированы большие компании, то их власть над человеческими обществами такова, что ее можно сравнить только с властью разбойников, захватывавших некогда дороги и бравших дань с каждого путешественника, будь он пешеход или начальник торгового каравана. И с каждым миллиардером, появляющимся-

ся с помощью государства, в министерства сыплются дождем миллионы.

Грабеж народного богатства, который производился и производится с согласия и с помощью государства – особенно там, где еще остались естественные богатства для захвата, – просто ужасен и отвратителен. Нужно видеть, например, великую Трансканадскую железную дорогу, чтобы иметь представление о грабеже, одобренном государством. Все, что есть лучшего в плодородных землях великих озер Северной Америки или в больших городах на берегу рек, принадлежит компании, получившей привилегию на постройку этой линии. Полоса земли в семь с половиной верст шириной, по обеим сторонам дороги на всем ее протяжении, была отдана капиталистам, взявшим на себя постройку линии; и когда эта линия, подвигаясь к западу, достигла до малопродуктивных равнин, то вместо полосы земли вдоль дороги столько же десятин было отведено в местах плодородных, где земля скоро достигла очень высокой стоимости. Там, где государство еще раздавало землю бесплатно новым колонистам, земли, отдан-

ные Трансканадской дороге, были разделены на участки в одну квадратную милю, расположенные, как черные квадраты на шахматной доске, среди земель, отданных государством колонистам. В результате теперь квадраты, принадлежащие государству и отданные эмигрантам, все заселены, а земли, отданные капиталистам Трансканадской дороги, получили громадную ценность. Что же касается капитала, который, как предполагалось, компания затратила на постройку линии, то он представляет собой, по общему мнению, сумму, раздутую в три или четыре раза по сравнению с действительно затраченным капиталом.

Куда мы ни посмотрим, везде мы находим одно и то же настолько, что становится трудно указать хоть одно крупное богатство, обязанное своим возникновением только промышленности, без помощи какой-нибудь монополии правительственного происхождения. В Соединенных Штатах, как уже заметил Генри Джордж, найти такое богатство совершенно невозможно.

Точно так же громадное состояние Рот-

шильдов обязано всецело своим происхождением займам, сделанным королями у банкира – основателя этого рода, чтобы сражаться против других королей или против своих собственных подданных.

Не менее колоссальное состояние герцогов Вестминстерских обязано своим происхождением всецело тому, что их предки получили по простому капризу королей те земли, на которых теперь построена большая часть Лондона; и это состояние поддерживается единственно потому, что английский парламент, вопреки всякой справедливости, не желает поднимать вопроса о вопиющем присвоении лордами земель, принадлежащих английскому народу.

Что касается до богатств крупных американских миллиардеров – Астора, Вандербилта, Гульда; до королей трестов нефти, стали, рудников, железных дорог, даже спичек и т. д., – то все они ведут свое происхождение от монополий, созданных государством.

Одним словом, если бы кто-нибудь составил список богатств, которые были присвоены финансистами и дельцами с помощью

привилегий и монополий, созданных государством; если бы кто-нибудь сумел оценить богатства, которые были урезаны из общественного достояния всеми правительствами парламентарными, монархическими или республиканскими, чтобы отдать их частным лицам в обмен за более или менее замаскированную взятку, — то рабочие везде были бы глубоко поражены и возмущены. Получились бы неслыханные цифры, с трудом понимаемые теми, кто живет на свою скудную заработную плату.

Рядом с этими цифрами, которые являются продуктом узаконенного грабежа, те, о которых нам красноречиво говорят трактаты политической экономии, просто пустяки, выеденное яйцо. Когда буржуазные экономисты желают нас уверить, что в происхождении капитала мы находим несчастные копейки, накопленные, с лишениями для себя, хозяевами промышленных предприятий из доходов с этих предприятий, то или эти господа невежды, или сознательно говорят то, что неправда. Грабеж, присвоение и расхищение народных богатств с помощью государства, заинтересо-

вывая в этом «сильных мира сего», – вот истинный источник происхождения колоссальных богатств и состояний, накапливаемых каждый год землевладельцами и буржуазией.

– Но вы нам говорите, – возразят нам, может быть, – о захвате богатств в девственных странах, только недавно завоеванных для промышленной цивилизации XIX в. Дело обстоит совсем иначе в странах более зрелых в политической жизни, как Англия и Франция.

Между тем в странах передовых, с более развитой политической жизнью, происходит совершенно то же самое. Правительства этих государств находят постоянно новые предлоги для ограбления граждан в пользу своих любимцев. Разве «Панама», которая обогатила столько финансовых дельцов, не была чисто французским делом? Разве она не была приложением знаменитой фразы «Обогащайтесь!», произнесенной Гизо[171], и рядом с «Панамой», которая окончилась скандалом, разве не было сотен подобных ей, которые процветают вплоть до наших дней? Нам стоит только вспомнить о Марокко, о Триполитанской авантюре, об аванюре на реке Ялу в

Корею, о разграблении Персии и т. д. Эти акты высокого мошенничества происходят все время, и они прекратятся только после социальной революции.

Капитал и государство – два параллельно растущих организма, которые невозможны один без другого, и против которых поэтому нужно всегда бороться вместе – зараз против того и другого. Никогда государство не смогло бы организовать и приобрести силу и мощь, которую оно теперь имеет, ни даже ту, которую оно имело в Риме императоров, в Египте фараонов, в Ассирии и т. д., если бы оно не покровительствовало росту земельного и промышленного капитала и эксплуатации – сначала племен пастушеских народов, потом земледельческих крестьян и еще позднее промышленных рабочих. Таким образом, эта страшная, колоссальная организация, известная под именем государства, образовалась постепенно, мало-помалу, покровительствуя своим кнутом и мечом тем, кому она давала возможность захватить себе землю и обзавестись (сначала посредством грабежа, позднее при помощи принудительной рабо-

ты побежденных) некоторыми орудиями для обработки земли или для производства промышленных фабрикатов. Тех, у кого нечем было работать, государство заставляло работать для тех, кто владел землями, железом, рабами.

И если капитализм никогда не достиг бы своей настоящей формы без обдуманной и последовательной поддержки государством, то государство, с своей стороны, никогда не достигло бы своей страшной силы, своей всепоглощающей мощи и возможности держать в своих руках всю жизнь каждого гражданина, какую оно имеет теперь, если бы оно не работало сознательно, терпеливо и последовательно над тем, чтобы образовался капитал. Без помощи капитала королевская власть никогда даже не смогла бы освободиться от церкви; и без помощи капиталиста она никогда не могла бы наложить свою руку на все существование современного человека, с первых дней его школьного возраста до могилы.

Вот почему, когда говорят, что капитализм начинается с XV или XVI в., то это утверждение может рассматриваться как имеющее

некоторую полезность постольку, поскольку оно служит к утверждению параллелизма развития государства и капитала. Но факт состоит в том, что эксплуатация капиталиста существовала уже там, где были первые зародыши индивидуальной собственности на землю, там, где было установлено право таких-то людей пускать скот пастись на такой-то земле и, позднее, возможность обрабатывать такую-то землю при помощи принудительного или наемного труда. Даже теперь мы сами можем видеть, как капитал ведет уже свою зловредную работу у пастушеских монгольских народностей (монголы, буряты), которые едва выходят из стадии родового быта. Действительно, достаточно, чтобы торговля вышла из правил родового быта (в силу которых ничто не может быть продано одним членом рода другому того же рода); достаточно, чтобы торговля стала личной, чтобы уже появился капитализм. И когда государство (приходя извне или развиваясь в данном племени) накладывает свою руку на племя посредством налога и своих чиновников, как это оно уже делает с монгольскими племена-

ми, то пролетариат и капитализм уже появились и неизбежно начинают совершать свое развитие. И именно для того, чтобы отдать кабиллов, марокканцев, триполитанских арабов, египетских феллахов, персов и т. д. во власть капиталистов, привезенных из Европы, а также и местных эксплуататоров, – европейские государства совершают теперь свои завоевания в Африке и Азии. В странах, недавно завоеванных, можно видеть своими глазами, как государство и капитал тесно связаны между собой, как одно порождает другое, как они определяют взаимно свое параллельное развитие.

VII. Монополии в конституционной Англии. – В германии. – Короли эпохи

Экономисты, изучавшие в последнее время развитие монополий в различных государствах, отметили, что в Англии – не только в XVIII в., как это мы видели сейчас, но также и в XIX в. – созидание монополий в народной промышленности, а также созидание договоров между хозяевами для поднятия цен на их продукты, которые называют картелями или трестами, не достигало такой степени, какой

оно достигло за последнее время в Германии.

Однако этот факт объясняется не превосходством политической организации английского государства – оно так же создает монополии, как и все другие, но, как указывают эти самые экономисты, островным положением Англии, которое позволяет привозить по дешевым ценам товары (даже малой стоимости сравнительно с их количеством) и держаться свободной торговли.

С другой стороны, завоевав такие богатые колонии, как Индия, и колонизировав (также благодаря морскому положению) территории, как Северная Америка и Австралия, английское государство нашло в этих странах столь многочисленные возможности для монополии колоссального масштаба, что оно направило на это свою главную деятельность...

Без этих двух причин положение в Англии было бы совершенно такое же, как везде.

Действительно, уже Адам Смит отметил, что никогда трое хозяев не встречаются без того, чтобы не конспирировать против своих рабочих – и, очевидно, против потребителей. Стремление к созиданию картелей и трестов

всегда существовало в Англии, и читатель найдет в работе Макрости[172] множество фактов, показывающих, как хозяева устраивают заговоры против потребителей.

Английский парламент, как и все другие правительства, покровительствовал этим конспирациям хозяев; закон карал только соглашения среди рабочих, которые считались конспирацией против безопасности государства.

Но рядом с этим существовали беспощадный ввоз товаров, начиная с 40-х годов, и дешёвизна подвозки их по морю, что часто устраивало конспирации хозяев. Но так как Англия первая сумела создать у себя крупную промышленность, мало боявшуюся иностранной конкуренции и требовавшую свободного ввоза сырых материалов, и так как Англия в то же время отдала две трети своих земель кучке лордов, которые выгнали крестьян из своих имений, и так как она поэтому была вынуждена существовать на привозимые извне рожь, пшеницу, овес, мясо, то Англия была принуждена ввести и поддерживать у себя свободную торговлю[173].

Но свободная торговля позволяла также ввозить изделия мануфактурной промышленности. А потому – это очень хорошо рассказано в книге Германа Леви[174] – каждый раз, когда хозяева устраивали между собой заговор для поднятия цен на нитки, или цемент, или стеклянные изделия, эти товары ввозились из-за границы. Хотя низшие по качеству в большинстве случаев, они тем не менее составляли конкуренцию там, где низшее качество продукта уже принималось в расчет. Таким образом, планы хозяев, задумывавших устроить картель или своего рода трест, расстраивались. Но сколько пришлось потратить борьбы на то, чтобы удержать свободную торговлю, которая была совсем не по вкусу крупным лордам-землевладельцам и их фермерам!

Однако, начиная приблизительно с 1886–1895 гг., создание больших картелей или трестов хозяев, монополизировавших некоторые отрасли, начало происходить в Англии, как и в других странах. И причиной этого – как мы теперь знаем – было то, что синдикаты хозяев начали организовываться интерна-

ционально, чтобы включать предпринимателей одних и тех же отраслей, как в Англии, так и в странах, удержавших у себя ввозные пошлины[175].

Таким образом, привилегия, установленная где-нибудь в Германии или России в пользу немецких или русских фабрикантов, распространяется на страны свободной торговли, и влияние этих международных синдикатов начинает чувствоваться уже повсюду. Они поднимают – это нужно хорошенько заметить – не только цены на те специальные товары, которыми интересуется синдикат, но и на все товары.

Нужно ли прибавлять, что эти синдикаты или тресты пользуются высоким покровительством государства под тысячью разнообразных видов (банки и т. д.), тогда как международные синдикаты рабочих ставятся теми же правительствами под запрет. Так, французское правительство запрещает Интернационал, а бельгийское и германское правительства изгоняют немедленно агитатора, приехавшего из Англии, чтобы пропагандировать организацию рабочего международно-

го союза. Но мы никогда не видим, чтобы откуда-нибудь выгнали агента трестов[176].

Возвращаемся к английскому парламенту. Он никогда не упускал из виду миссию всех правительств, древних и современных государств: покровительствовать эксплуатации бедных богатыми. В XIX столетии, как и раньше, он никогда не пропускал создавать монополии, если к тому представлялся удобный случай. Так, профессор Леви, который желает показать, насколько Англия выше в этом отношении Германии, принужден тем не менее признать, что, поскольку условия ввоза этому не препятствовали, английский парламент не пропускал случая воспользоваться этим для покровительства монополиям.

Так, монополия угольных промышленников Ньюкастла в отношении лондонского рынка поддерживалась законом до 1830 г., и картель этих промышленников была распущена только в 1844 г. после сильной чартистской агитации. А в 1870–1880 гг. образовались коалиции судоходных компаний (Shipping Rings), о которых столько говорили в последнее время. Они, конечно, пользуются покро-

вительством государства.

Но если бы только это! Все, что можно было монополизировать, было отдано парламентом монополистам.

С тех пор, как начали освещать города газом, проводить в города чистую воду, устраивать канализацию для отвода нечистот, строить трамваи и, наконец, в самое последнее время проводить телефоны, английский парламент никогда не упускал случая обращать эти общепользные предприятия в монополии, в пользу привилегированных компаний. Так что теперь, например, жители городов в провинции Кент и во многих других графствах должны платить нелепые цены за воду, и им невозможно даже провести самим и распределять необходимую воду, потому что парламент уже отдал эту привилегию компаниям. То же было с газом и трамваями, и везде, до 1 января 1912 г., существовала монополия на телефоны.

Первые телефоны были введены в Англии несколькими частными компаниями. И государство, парламент, поспешил уступить им монополию на постройку телефонов в горо-

дах и в округах сроком на тридцать один год. Скоро большинство этих компаний объединилось в одну могущественную Национальную компанию, и получилась скандальная монополия. Благодаря своим магистральям и «концессиям», Национальная компания заставила англичан платить за телефон в пять и десять раз больше, чем где-либо в Европе. А так как компания, пользуясь своей монополией, при ежегодных расходах в 75 млн получала чистого дохода 27 млн (согласно официальным цифрам), то она и не старалась, конечно, увеличивать число своих станций, предпочитая платить жирные дивиденды своим акционерам и увеличивать свой резервный фонд (который уже в течение 15 лет достиг цифры свыше 100 млн). Это повышало «стоимость» компании и, следовательно, сумму, которую государство должно было уплатить ей, чтобы выкупить назад привилегию, если бы оно увидело себя вынужденным сделать это до истечения тридцати одного года.

В результате получилось то, что частный телефон, ставший обычным явлением на континенте, существовал в Англии только у ком-

мерсантов и богатых людей. И только 1 января 1912 г. вся сеть телефонов этой монополярной компании была выкуплена министерством почт и телеграфов, после того как монополисты обогатились от нее на много сотен миллионов.

Вот каким образом создают все растущую и баснословно богатую буржуазию в стране, где половина взрослых мужчин, живущих на заработок, то есть свыше 4 000 000 человек, получают менее 14 руб. в неделю, и свыше 3 000 000 человек менее 10 руб. Но 14 руб. в неделю в Англии при существующих ценах на продукты едва составляют тот необходимый минимум, на который семья, состоящая из двух взрослых и двух детей, может жить и оплачивать комнату, стоящую 2 руб. в неделю! Подробные исследования профессора Боуэя и Раунтри в Йорке, дополненные работами Киоцца-Моней, устанавливают это с полной ясностью.

Если так создавались монополии в стране свободной торговли, то что же сказать о протекционистских странах, где не только невозможна конкуренция иностранных товаров,

но большие индустрии железа, выделки рельсов, сахара и т. д. всегда испытывают затруднения в приискании денег и постоянно субсидируются государством? Германия, Франция, Россия, Америка являются настоящими рассадницами монополий и синдикатов хозяев, покровительствуемых государством. И эти организации, очень многочисленные и часто очень могущественные, имеют возможность поднимать цены на свои товары в ужасающей пропорции.

Почти все минералы, металлы, сырой сахар и рафинад, спирт для промышленности и множество производств (гвозди, фаянсовые изделия, табак, очистка нефти и т. п.) – все это обращено в монополии, в картели или тресты, всегда благодаря вмешательству государства и очень часто под его покровительством.

Один из ярких примеров этого рода мы находим в германских синдикатах сахара. Так как производство сахара здесь подчинено надзору государства и до известной степени его управлению, то 450 сахарных заводов объединились под покровительством государ-

ства, чтобы эксплуатировать публику. Эта эксплуатация продолжалась до Брюссельской конференции, которая немного ограничила заинтересованное покровительство сахарной промышленности германским и русским правительствами, чтобы «поддержать» английских сахаропромышленников.

То же самое происходит в Германии по отношению к другим производствам, каковы, например, водочный синдикат, вестфальский угольный синдикат, покровительствуемый синдикат фарфоровых фабрик, союз фабрикантов гвоздей, делаемых из германского железа, и т. д., не говоря уже о судоходных линиях, железных дорогах, заводах военного снаряжения и т. д. и не считая монополистские синдикаты для разработки минералов в Бразилии и множество других.

Мы напрасно стали бы искать другого в Америке: там та же картина. Не только во времена колонизации и в начале современной промышленности, но даже и теперь еще, каждый день, в каждом американском городе образуются скандальные монополии. Везде то же стремление поддержать и укрепить под

покровительством государства эксплуатацию бедных богатыми и бесчестными. Каждый новый шаг прогресса цивилизации вызывает новые монополии и новые акты эксплуатации под покровительством государства, – в Америке точно так же, как и в старых государствах Европы.

Аристократия и демократия, поставленные в рамки государства, действуют совершенно одинаково. И та и другая, достигнув власти, являются одинаковыми врагами самой простой справедливости по отношению к производителю всех богатств – работнику [177].

И если бы это была только бесчестная эксплуатация, какой отдаются государствами целые народы, чтобы дать разбогатеть известному количеству промышленников, компаний или банкиров! Если бы только было это! Но зло бесконечно более глубоко. Дело в том, что большие компании железных дорог, стали, угля, нефти, меди и т. д., крупные компании банков и больших финансистов становятся колоссальной политической силой во всех современных государствах. Стоит только

подумать о том, как банкиры и крупные финансисты господствуют над правительствами в вопросах войны. Известно, например, что личные симпатии не только Александра II, но и королевы Виктории к Германии влияли на русскую и английскую политику в 1870 г. и способствовали разгрому Франции. Известно также, насколько личные симпатии короля Эдуарда III содействовали образованию франко-английского соглашения. Но не будет никакого преувеличения, если мы скажем, что симпатии и предпочтения семьи Ротшильда, интересы высоких банковских кругов в Париже и Католического банка в Риме гораздо более сильны и могущественны, чем предпочтения и интересы королей и королев. Мы знаем, например, что отношения Соединенных Штатов к Кубе и Испании зависели гораздо больше от сенаторов, имевших монополии сахарной промышленности, чем от симпатий государственных деятелей Америки по отношению к повстанцам Кубы.

Анархия, ее философия, ее идеал

Не без некоторого колебания решился я избрать предметом настоящей лекции философию и идеал анархизма. Многие до сих пор еще думают, что анархизм есть не что иное, как ряд мечтаний о будущем или бессознательное стремление к разрушению всей существующей цивилизации. Этот предрассудок привит нам нашим воспитанием, и для его устранения необходимо более подробное обсуждение вопроса, чем то, которое возможно в одной лекции. В самом деле, давно ли – всего несколько лет тому назад – в парижских газетах пресерьезно утверждалось, что единственная философия анархизма – разрушение, а единственный его аргумент – насилие.

Тем не менее об анархистах так много говорилось за последнее время, что некоторая часть публики стала наконец знакомиться с нашими теориями и обсуждать их, иногда даже давая себе труд подумать над ними; и в настоящую минуту мы можем считать, что одержали победу по крайней мере в одном пункте: теперь уже часто признают, что у

анархиста есть некоторый идеал – идеал, который даже находят слишком высоким и прекрасным для общества, не состоящего из одних избранных.

Но не будет ли, с моей стороны, слишком смелым говорить о философии в той области, где, по мнению наших критиков, нет ничего, кроме туманных видений отдаленного будущего? Может ли анархизм претендовать на философию, когда ее не признают за социализм вообще?

Я постараюсь ответить на этот вопрос по возможности ясно и точно, причем заранее извиняюсь перед вами в том, что некоторые из примеров, которыми я воспользуюсь, заимствованы из одной лекции, читанной мною в Лондоне.

Но эти примеры, мне кажется, лучше помогут выяснить, что именно нужно подразумевать под философией анархизма.

Вы, конечно, не посетуете на меня, если я прежде всего возьму несколько простых примеров из области естествознания, – несколько не имею при этом в виду принять их за основу для наших общественных воззрений, да-

леко нет; я просто думаю, что они помогут мне выяснить некоторые отношения, которые легче понять на явлениях, принадлежащих к области точных наук, чем на примерах, почерпнутых исключительно из сложных фактов жизни человеческих обществ.

Что больше всего поражает нас в настоящее время в этих науках – это та глубокая перемена, которая происходит в последние годы во всем их способе понимания и истолкования природы.

Вы знаете, что было время, когда человек считал себя центром Вселенной. Солнце, луна, планеты и звезды казались ему вращающимися вокруг нашей планеты, а эта планета, на которой жил он сам, – центром творения. Сам же он являлся в своих собственных глазах высшим существом своей планеты, избранником творца. И Солнце, и Луна, и звезды существовали для него одного; на него было обращено все внимание Бога, который наблюдал за малейшими его поступками, останавливал для него движение Солнца, парил в облаках и посылал на поля и города дождь или грозу в награду за добродетели или в на-

казание за преступления жителей. В течение целых тысячелетий человек представлял себе Вселенную именно таким образом.

Но в XVI в., когда было доказано, что Земля не только не центр Вселенной, но не более как песчинка в солнечной системе, не более как шар, гораздо меньший по величине, чем многие другие планеты; что само Солнце – это громадное светило по сравнению с нашей Землей – есть не более как одна из тех бесчисленных звезд, которые мы видим светящимися на небе и составляющими своей массой Млечный Путь – в мироздании людей прошла, как вы знаете, огромная перемена. Каким ничтожным показался тогда человек в сравнении с этой бесконечностью, какими смешными показались его претензии!

Изменение космогонических взглядов отразилось на всей философии, на всех общественных и религиозных взглядах того времени. Лишь с той поры начинается то развитие естественных наук, которым так гордимся мы теперь. В настоящее время, однако, во всех отраслях науки происходит еще более глубокая и еще более существенная перемена, и анар-

хизм представляет собою, как вы увидите, не что иное, как одно из многочисленных проявлений этой эволюции, как одну из отраслей этой новой, нарождающейся философии.

Возьмите любое сочинение по астрономии конца прошлого или начала этого века. Само собою разумеется, что вы не встретите там утверждения, что наша маленькая планета занимает центр Вселенной, но зато вы найдете на каждом шагу представление о громадном светиле – Солнце, – управляющем посредством силы притяжения всем нашим планетным миром. От этого центрального светила исходит сила, направляющая движение его спутников и поддерживающая гармонию всей системы. Планеты рождаются из некоторой центральной массы, представляя собою, так сказать, не более как продукт ее почкования. И этой центральной массе, место которой заняло теперь наше лучезарное Солнце, они обязаны всем: ритмом своих движений, своими искусно распределенными орбитами, жизнью, оживляющей и украшающей их поверхность.

Если какие-нибудь причины стремятся на-

рушить их течение, заставить их уклониться от своих орбит, центральное светило восстанавливает порядок в системе, охраняя его и обеспечивая таким образом навеки ее существование.

И вот это-то мирозерцание исчезнет в свою очередь, как исчезло старое. Астроном, сосредоточивавший раньше все свое внимание на Солнце и крупных планетах, обращается теперь к изучению бесконечно малых, населяющих Вселенную. Он видит, что межпланетные и междузвездные пространства заполнены повсюду мелкими скоплениями вещества, – невидимыми и ничтожными, если их рассматривать в отдельности, но всемогущими по своей численности. Из этих скоплений одни довольно велики – как, например, тот болид, который еще не так давно распространил ужас в Испании; другие, наоборот, весят не более нескольких лотов и золотников, а вокруг них носятся еще более мелкие, почти микроскопические пылинки и газы, заполняющие собою все пространство.

И именно в этих пылинках, в этих бесконечно малых несущихся в пространстве по

всем направлениям с громадной скоростью, сталкивающихся, сливающихся и распадающихся повсюду и постоянно, именно в них ищет современный астроном объяснения, как происхождения нашей системы – Солнца, планет и их спутников, – так и движений, свойственных этим различным телам и гармонии во всей Солнечной системе. Еще один шаг – и само всемирное тяготение окажется не более как равнодействующей беспорядочных и бессвязных движений этих бесконечно малых, – колебаний атомов, происходящих по всевозможным направлениям.

Таким образом, центр силы, перенесенный раньше с Земли на Солнце, оказывается теперь раздробленным, рассеянным повсюду: он везде и вместе с тем нигде. Мы видим, вместе с астрономом, что Солнечные системы суть не более как продукт сложения бесконечно малых; что сила, которую рассматривали прежде как управляющую всей системой, есть, может быть, сама не более как равнодействующая столкновений этих бесконечно малых; что гармония звездных систем – гармония только потому, что она представляет

собою известное приспособление, известную равнодействующую этих бесчисленных движений, слагающихся, заполняющих и уравновешивающих друг друга.

Вся Вселенная принимает при этом новом мирозерцании иной вид. Представление о силе, управляющей миром, о предустановленном законе и предустановленной гармонии, которую отчасти предвидел Фурье и которая есть не что иное, как равнодействующая движений, бесчисленных скоплений вещества,двигающихся независимо один от другого и взаимно поддерживающих друг друга в равновесии.

И не в одной астрономии происходит такая перемена. То же самое мы видим в философии всех наук без исключения, как тех, которые занимаются природой, так и тех, которые имеют дело с человеком.

В физике исчезают отвлеченные представления о теплоте, магнетизме, электричестве. Когда в настоящее время физика говорит о нагретом или наэлектризованном теле, оно уже не представляется ему в виде безжизненной массы, к которой прилагается неведомая

сила. Она старается открыть, как в этом теле, так и в окружающем его пространстве, движения и колебания бесконечно малых атомов,двигающихся по всем направлениям, колеблющихся, живущих и производящих своими колебаниями, своими столкновениями, своей жизнью все явления теплоты, света, магнетизма или электричества.

В науках, изучающих живые существа, постепенно исчезает понятие о виде и его изменениях, и его место занимает понятие об индивидууме, особи. Ботаник и зоолог изучают индивидуума – его жизнь, его приспособление к среде. Перемены, вызываемые в отдельных особях сухостью или сыростью воздуха, теплом или холодом, обильем или недостатком пищи, большей или меньшей чувствительностью к влияниям окружающей среды, ведут к образованию видов. Изменение вида представляет теперь собою для биолога не что иное, как равнодействующую, как сумму изменений, происшедших в каждом индивидууме в отдельности. То, каков вид, зависит от того, каковы составляющие его индивидуумы, испытывающие на себе бесчисленные

влияния окружающей среды и реагирующие на эти влияния каждый по-своему.

Точно так же, когда физиолог говорит о жизни какого-нибудь растения или животного, он имеет в виду скорее некоторую агломерацию, состоящую из миллионов отдельных индивидуумов, чем единую и нераздельную особь. Он говорит о федерации пищеварительных органов, органов чувств, нервной системы и т. д., – органов, очень тесно связанных между собою, отражающих на себе хорошее или дурное состояние каждого из них, но тем не менее живущих каждый своей особой жизнью. В свою очередь, всякий орган, всякая его часть состоит из независимых клеток, соединяющихся друг с другом для борьбы с неблагоприятными для их существования условиями. Каждый индивидуум представляет собою целый мир федераций, включает в себе целый космос.

В этом мире физиолог находит независимые клетки крови, различных тканей, нервных центров; находит миллиарды белых телец – фагоцитов, направляющихся к тем частям тела, которые задеты микробами, для

борьбы с этими врагами. Мало того: в каждой микроскопической клетке он видит теперь целый мир независимых элементов, из которых каждый живет своей жизнью, стремится к своему благу и достигает его, группируясь и соединяясь с другими элементами. Каждый индивидуум, одним словом, представляет собою мир органов, каждый орган – целый мир клеток, каждая клетка – мир бесконечно малых, и в этом сложном мире благосостояние целого зависит вполне от размеров благосостояния, которыми пользуются мельчайшие микроскопические частицы организованного вещества. Целый переворот происходит таким образом в философии жизни.

Но особенно важны последствия этого переворота в области психологии.

Еще совсем недавно психолог говорил о человеке как о едином и нераздельном целом. Согласно религиозной традиции, он делил людей на добрых и злых, умных и глупых, эгоистов и альтруистов. Представление о душе, как целом, даже существовало еще у материалистов XVIII в.

Но что сказали бы в наше время ученые,

если бы психолог заговорил теперь о чем-нибудь подобном? Человек представляет собою теперь для психолога множество отдельных способностей, множество независимых стремлений, равных между собою, функционирующих независимо друг от друга, постоянно уравновешивающих друг друга, постоянно находящихся в противоречии между собою.

Взятый в целом, человек представляется современному психологу как вечно изменяющаяся равнодействующая всех этих разнообразных способностей, этих независимых стремлений мозговых клеток и нервных центров. Все они связаны между собою и влияют друг на друга, но каждый и каждая из них живет своею независимою жизнью, не подчиняясь никакому центральному органу, никакой душе.

Мне нет надобности входить в дальнейшие подробности: сказанного достаточно, чтобы показать, какое глубокое изменение происходит в настоящее время в области естественных наук. Изменение это заключается не в том, что они изучают теперь такие

подробности, которыми пренебрегали раньше. Далеко нет: факты остаются те же, но изменяется самый способ их понимания. Чтобы охарактеризовать в немногих словах это новое направление, мы можем сказать, что прежде наука занималась изучением крупных результатов и крупных сумм (математик сказал бы: интегралов), тогда как теперь она изучает главным образом бесконечно малые величины – т. е. тех индивидуумов, из которых составляются эти суммы и в которых ученый увидел наконец элементы самостоятельные, индивидуализированные, но в то же время тесно связанные между собою.

Что же касается до гармонии, которую человеческий ум находит в природе и которая есть в сущности не что иное, как проявление известного постоянства явлений, то, несомненно, современный ученый признает ее в настоящее время больше, чем когда бы то ни было, но он уже не стремится объяснить ее действием «законов», созданных по определенному плану, предустановленных какой-то разумною волею.

То, что называлось прежде «естественным

законом», представляется нам не более как улавливаемым нами отношением между известными явлениями; каждый такой «закон» получает теперь условную форму причинности, т. е. «если при таких-то условиях произойдет такое-то явление, то за ним последует другое, такое-то явление». Вне явлений нет закона; каждое явление управляется не законом, а тем явлением, которое ему предшествовало.

В том, что мы называем гармонией природы, не проявляется никакая предвзятая мысль; для ее установления достаточно было случайных столкновений и сочетаний. Одно явление, например, будет существовать в продолжение целых веков, потому что для установления той приспособленности к условиям, того равновесия, которое оно выражает, требовались века; другое явление просуществует лишь одно мгновение, потому что эта временная форма равновесия возникла мгновенно. Если планеты нашей солнечной системы не сталкиваются ежедневно и не разбиваются друг о друга, а существуют в продолжение миллионов веков, то это зависит от

того, что они представляют собою такую форму равновесия, на установление которой, как равнодействующей целых миллионов слепых сил, потребовались миллионы веков. Если материки не подвергаются ежегодно разрушению вследствие вулканических сотрясений, то причина этого в том, что тысячи веков понадобились им, чтобы воздвигнуться частица за частицей и принять настоящую свою форму. Напротив того, молния длится одно мгновение, потому что представляет собою минутное нарушение равновесия и внезапное перераспределение еще не уравновешенных сил.

Таким образом, гармония в природе является для нас временным равновесием, устанавливающимся между различными силами, – некоторым временным приспособлением, которое может существовать лишь при условии постоянного видоизменения, представляя собою в каждый данный момент равнодействующую всех противоположных сил. Стоит только одной из этих сил оказаться стесненной на время в своем действии, и гармония исчезнет. Способность к действию бу-

дет тогда постепенно накопляться в данной силе и рано или поздно должна будет проявиться, должна будет обнаружиться. Если другие силы будут ей противодействовать, она все-таки не исчезнет, а нарушит, в конце концов, равновесие и разрушит гармонию, чтобы найти новое равновесие, новую форму приспособления. Так бывает в вулканических извержениях, когда заключенная внутри сила пробивает наконец застывшую лаву, которая мешает выходу газов, расплавленной лавы и раскаленного пепла. Так бывает и в революциях.

Аналогичное изменение в методах мышления совершается в то же время и в науках, занимающихся человеком.

Мы видим, например, что история, бывшая когда-то историей царств, стремится сделаться историей народов и изучением личностей. Историк стремится узнать, как жили в данную эпоху члены той или другой нации, каковы были их верования, их средства существования, какой общественный идеал рисовался в их воображении и какими средствами они обладали для его достижения. Именно

действие всех этих сил, прежде оставлявшихся без внимания, даст ключ к истолкованию великих исторических явлений.

Точно так же ученый, занимающийся правом, уже не довольствуется изучением того или иного свода законов. Подобно этнологу, он стремится отыскать зарождение последовательного ряда учреждений, — стремится проследить их развитие в течение ряда веков, причем занимается не столько писанным законом, сколько местными обычаями, тем «обычным правом», в котором во все эпохи находило себе выражение созидательное творчество неизвестных народных масс. В этом направлении вырабатывается теперь совершенно новая отрасль науки, которая разрушит со временем все существующие понятия, внушаемые нам в школе, и объяснит историю таким же образом, как естественные науки объясняют природу.

Наконец, политическая экономия, бывшая в начале своего существования изучением богатства народов, становится теперь изучением богатства личностей. Она интересуется не столько тем, ведет ли данная нация крупную

внешнюю торговлю, сколько тем, есть ли достаточно хлеба в хижине крестьянина и рабочего? Она стучится во все двери – в дворцы и в трущобы, – спрашивая как у богатого, так и у бедного: «В какой степени удовлетворены ваши потребности в необходимом и в предметах роскоши?» И, убедившись, что у девяноста человек не удовлетворены даже самые настоятельные потребности, она ставит себе тот же вопрос, который поставил бы себе физиолог, изучающий какое-нибудь животное или растение, а именно: «Каким путем возможно удовлетворить потребностям всех с наименьшей тратой сил? Каким образом может общество обеспечить каждому, а следовательно, и всем, наибольшую сумму благосостояния и счастья?» В этом именно направлении происходит изменение экономической науки, которая так долго была простым перечислением явлений, истолкованных в интересах меньшинства богатых, а теперь стремится сделаться (или, вернее, вырабатывает нужные для этого элементы) наукой в настоящем смысле слова, т. е. физиологией человеческих обществ.

По мере того как в науке вырабатывается, таким образом, новая общая точка зрения, новая философия, мы видим, что и понятие об обществе становится совершенно иным, чем оно было до сих пор. Под именем анархизма возникает новый способ понимания прошедшей и настоящей жизни обществ и новый взгляд на их будущее, причем и то и другое проникнуто тем же духом, о котором мы говорили только что по поводу изучения природы. Анархизм является, таким образом, одной из составных частей нового мирозерцания, и вот почему анархист имеет так много точек соприкосновения с величайшими мыслителями и поэтами нашего времени.

В самом деле: по мере того как человеческий ум освобождается от понятий, внушенных ему меньшинством, стремящимся упрочить свое господство и состоящим из духовенства, войска, судебных властей и ученых, оплачиваемых из старания увековечить это господство, по мере того как он сбрасывает с себя путы, наложенные на него рабским прошлым, — вырабатывается новое понятие об обществе, в котором уже нет места такому

меньшинству. Перед нами рисуется уже общество, овладевающее всем общественным капиталом, накопленным трудом предыдущих поколений, и организующееся так, чтобы употребить этот капитал на пользу всех, не создавая вновь господствующего меньшинства. В это общество входит бесконечное разнообразие личных способностей, темпераментов и сил, оно никого не исключает из своей среды. Оно даже желает борьбы этих разнообразных сил, так как оно сознает, что эпохи, когда существовавшие разногласия обсуждались свободно и свободно боролись, когда никакая установленная власть не давила на одну из чашек весов, были всегда эпохами величайшего развития человеческого ума.

Признавая за всеми своими членами одинаковое фактическое право на все сокровища, накопленные прошлым, это общество не знает деления на эксплуатируемых и эксплуататоров, управляемых и управляющих, подчиненных и господствующих, а стремится установить в своей среде известное гармоническое соответствие – не посредством подчинения всех своих членов какой-нибудь вла-

сти, которая считалась бы представительницей всего общества, не попытками установить единообразие, а путем призыва людей к свободному развитию, к свободному почину, к свободной деятельности, к свободному объединению.

Такое общество непременно стремится к наиболее полному развитию личности вместе с наибольшим развитием добровольных союзов – во всех их формах, во всевозможных степенях, со всевозможными целями, – союзов, постоянно видоизменяющихся, носящих в самих себе элементы своей продолжительности и принимающих в каждый данный момент те формы, которые лучше всего соответствуют разнообразным стремлениям всех. Это общество отвергает всякую предустановленную форму, окаменевшую под видом закона; оно ищет гармонии в постоянно изменчивом равновесии между множеством разнообразных сил и влияний, из которых каждое следует своему пути и которые все вместе, именно благодаря этой возможности свободно проявляться и взаимно уравниваться, и служат лучшим залогом прогресса, давая людям

возможность проявлять всю свою энергию в этом направлении.

Такое представление об обществе и такой общественный идеал, несомненно, не новы. Изучая историю народных учреждений – родового строя, деревенской общины, первоначального ремесленного союза, или «гильдий», и даже средневекового городского народоправства в первые времена его существования, мы находим повсюду стремление народа к созданию обществ именно этого характера – стремление, которому, конечно, всегда препятствовало господствовавшее меньшинство. Все народные движения носят на себе более или менее этот отпечаток; так, у анабаптистов и у их предшественников мы находим ясное выражение этих самых идей, несмотря на религиозный способ выражения, свойственный тому времени. К несчастью, до конца прошлого века к этому идеалу примешивался всегда церковный элемент, и только теперь он освободился из религиозной оболочки и превратился в понятие об анархическом обществе, основанное на изучении общественных явлений.

Только теперь идеал такого общества, где каждым управляет исключительно его собственная воля (которая есть, несомненно, результат испытываемых каждым индивидуумом общественных влияний), только теперь этот идеал является одновременно в своей экономической, политической и нравственной форме, опираясь на необходимость коммунизма, который в силу чисто общественно-го характера нашего производства становится неизбежным для современных обществ.

В самом деле, мы очень хорошо знаем теперь, что, пока существует экономическое рабство, нечего толковать о свободе. Слова поэта:

Не говори мне о свободе:
Бедняк останется рабом! —

теперь уже проникли в умы рабочих масс, во всю литературу нашего времени; они подчиняют себе даже тех, кто живет чужой бедностью, лишая их той самоуверенности, с которой они заявляли прежде о своем праве на эксплуатацию других.

Что современная форма присвоения обще-

ственного капитала не должна более существовать – с этим согласны миллионы социалистов Старого и Нового Света. Даже сами капиталисты чувствуют, что эта форма умирает, и уже не решаются защищать ее с прежней смелостью. Вся их аргументация сводится уже, в конце концов, к тому, что мы не придумали еще ничего лучшего. Но ни отрицать губительных последствий существующих форм собственности, ни защищать свое право на нее они уже не решаются. Они пользуются этим правом, пока им это позволяют, но не стремятся уже основать его на каком-нибудь принципе.

И это вполне понятно.

Возьмите, например, Париж – город, представляющий собой творчество стольких веков, продукт гения целой нации, результат труда двадцати или тридцати поколений. Можно ли уверить жителей этого города, постоянно работающих для его украшения, для его оздоровления, для его прокормления, для доставления ему лучших произведений человеческого гения, для того, чтобы сделать из него центр мысли и искусства; можно ли уве-

ритель того, кто создает все это, что дворцы, украшающие улицы Парижа, принадлежат по справедливости тем, кто является в настоящее время их законными собственниками, в то время как вся ценность их создается нами всеми и без нас равнялась бы нулю.

Усилиями ловких воспитателей народа этот обман может еще поддерживаться в течение некоторого времени. Над ним могут не задумываться даже сами рабочие массы. Но как только меньшинство мыслящих людей подняло и поставило перед всеми этот вопрос, в ответе на него уже не может быть сомнения, и народный ум отвечает: «Конечно, если отдельные люди присвоили себе лично все эти богатства, то только ограбивши всех».

Точно так же можно ли убедить крестьянина в том, что та или другая земля, принадлежащая помещику, принадлежит ему по законному праву, когда этот крестьянин может рассказать историю каждого кусочка земли на двадцать верст в окружности? Можно ли, наконец, уверить его в том, что лучше, чтобы такая-то земля была под парком и усадьбой у такого-то помещика, тогда как кругом есть

столько крестьян, которые с радостью взяли бы ее пахать?

Возможно ли, наконец, заставить заводского рабочего или рудокопа поверить тому, что завод и копи принадлежат по истинной справедливости их теперешним хозяевам, тогда как и рабочий и рудокоп уже начинают понимать смысл всех этих громадных грабежей и захватов железных дорог и угольных копей и узнают понемногу, какими путями законного грабежа богатые господа забирают земли и заводы.

Да и верили ли, в сущности, когда-нибудь народные массы во все эти увертки экономистов, старавшихся не столько убедить рабочих, сколько уверить самих богачей в законности их захватов. Подавленные нуждой и не находя себе никакой поддержки в обеспеченных классах общества, крестьяне и рабочие просто предоставляли вещи их собственному течению, лишь от времени до времени заявляя о своих правах восстаниями. И если городские рабочие могли еще когда-то думать, что придет время, когда частное владение капиталом послужит, может быть, к общей

пользе, накапливая массы богатств и делясь ими со всеми, то теперь и это заблуждение исчезает, как многие другие. Рабочий начинает убеждаться, что он как был, так и остался обездоленным: что, для того чтобы вырвать у своих хозяев хоть бы малейшую частицу накопленных его усилиями богатств, ему придется прибегать либо к бунту, либо к стачке, т. е. голодать и рисковать тюрьмой, а не то и попасть под пули императорских, королевских или республиканских войск.

Вместе с тем проявляется все яснее и яснее еще и другой, более глубокий, недостаток существующего порядка. Он заключается в том, что при существовании частной собственности, когда все предметы, нужные для жизни и для производства, — земля, жилища, пищевые продукты, орудия труда, находятся в руках немногих, эти немногие постоянно мешают выращивать хлеб, строить дома, ткать и вообще — производить всего столько, сколько нужно, чтобы доставить достаток каждому. Рабочий смутно сознает, что наша техника, наши машины настолько могущественны, что могли бы доставить всем всего вволю, но что ка-

питалисты и государство мешают этому повсюду. Им не нужно, чтобы крестьяне и рабочие имели всего вдоволь: они боятся этого. Сытыми труднее справляться, чем с голодными.

Мы не только не производим хлеба, всякой пищи, всякого платья и прочего больше, чем нужно, чтобы всем хватало вдоволь; но мы далеко не производим того, что обязательно необходимо.

В современных государствах, когда крестьянин смотрит на помещичьи необработанные поля, на их усадьбы и сады, охраняемые судьями и урядниками, он отлично понимает это; недаром он думает о том, как хорошо было бы распахать эти пустыри и выращивать на них хлеб, которого не хватает по деревням.

Когда углекопу приходится сидеть три дня в неделю сложа руки, – а в Англии это делается постоянно, как только цены на каменный уголь начинают падать, – он думает о том, сколько угля он мог бы добыть и как хорошо было бы, если бы в каждой семье было бы, чем топить печь.

Точно так же, когда на заводе нет работы и

рабочему приходится слоняться без дела, и он встречает каменщиков, тоже слоняющихся без работы, сапожников, жалующихся на безработицу, и т. д. – он отлично понимает, что в обществе что-то неладно. Он знает, что столько народа живет в самых отчаянных трущобах, что ребятишки ходят босиком – и что все это нужно рабочему. Да только кто-то мешает людям все это строить и делать, и все для того, чтобы трущобу сдать за дорогую цену, а голодного рабочего загнать на фабрику за самое скудное жалованье.

Когда господа ученые пишут толстые книги о том, что слишком много вырастили хлеба и наткали миткалей, и объясняют именно этой причиной плохие времена на фабриках, они, в сущности, очень затруднились бы ответить, если бы мы их попросили назвать, чего это в Англии, во Франции в Германии или в России так уже много, что его уже и делать нечего. Сколько хлеба везут каждый год из России, а между тем известно, что если бы весь хлеб, выращенный в России, оставался в самой России – весь как есть, – то и тогда его было бы круглым счетом всего 10 пудов на ду-

шу в год, т. е. ровно столько, сколько нужно, чтобы никто не голодал. Леса, что ли, много, когда пол-России живет так тесно в избах, что по десять человек спят в одной комнате? Или домов слишком много в городах? Дворцов, точно, многовато, а квартир порядочных для рабочих – живет опять-таки по пяти и десяти человек в одной комнате. Или книг слишком много, когда целые миллионы людей живут, не видя за год ни одной книги... Одного только действительно производится слишком много – в тысячу раз больше, чем сколько их нужно, – это чиновников. Этих точно фабрикут слишком, слишком много; только об этом товаре что-то не пишут в ученых книгах. А между тем – чем не товар! Покупай кто хочет!

То, что ученые называют «перепроизводством», есть, в сущности, то, что производится всякого товара больше, чем могут купить рабочие, разоряемые хозяевами и государством. Так оно и быть должно при теперешнем устройстве, потому что – как было замечено еще Прудоном – рабочие не могут одновременно покупать на свою заработанную

плату то, что они производят, и в то же время доставлять обильную пищу всей армии тунгусов, которая сидит у них на шее.

По самой сущности современного экономического устройства рабочий никогда не сможет пользоваться теми благами, которые составляют продукт его труда; и число тех, которые живут за его счет, будет все увеличиваться. Чем развитее страна в промышленном отношении, тем больше это число, потому что европеец эксплуатирует также при этом множество азиатов, африканцев и т. д. Вместе с тем промышленность направляется, и неизбежно должна направляться, не на то, в чем чувствуется недостаток для удовлетворения потребностей всех, а на то, что в данную минуту может принести наиболее крупные барыши хозяевам. Избыток у богатых неизбежно строится на бедности рабочих, и это бедственное положение большинства необходимо для того, чтобы всегда были рабочие, готовые продать себя и работать, получая только часть того, что они способны наработать. Иначе капиталист и не мог бы богатеть. А ему только это и нужно.

Эти отличительные черты нашего экономического строя составляют самую сущность его. Без них он не мог бы существовать. Кто, в самом деле, стал бы продавать свою рабочую силу за цену меньшую, чем то, что она может выработать, если бы его не принуждал к тому страх голода?

Но эти-то существенные обязательные черты нашего строя и заключают в себе самое решительное его осуждение.

До тех пор, пока Англия и Франция являлись первыми в промышленности среди других народов, отсталых в смысле технического развития; пока они могли продавать свои бумажные и шерстяные ткани, свои шелка, свое железо, свои машины, а также целый ряд предметов роскоши по таким ценам, которые давали им возможность обогащаться за счет своих покупателей, – до тех пор можно было поддерживать в рабочем ложную надежду на то, что и ему достанется когда-нибудь более или менее крупная часть добычи. Но теперь эти условия исчезают. Народы, бывшие отсталыми тридцать лет тому назад, стали в свою очередь производить в крупных размерах бу-

мажные и шерстяные ткани, шелк, машины и предметы роскоши. В некоторых отраслях промышленности они обогнали даже англичан и французов и, не говоря уже о торговле в отдаленных странах, где они вступают в соперничество со своими старшими братьями, начинают уже соперничать с ними и на их собственных рынках. За последнее время Германия, Швейцария, Италия, Соединенные Штаты, Австрия, Россия и Япония сделались странами крупной промышленности. За ними идут Мексика, Индия, даже Сербия, что же будет, когда и китайцы начнут подражать японцам и также начнут наводнять всемирный рынок своими ситцами, шелками, железом и машинами?

Оттого промышленные кризисы, т. е. времена застоя, приходят все чаще и чаще и длятся дольше, а в некоторых отраслях производства становятся чуть не постоянными. Оттого также европейцам все более и более приходится воевать из-за рынков на Востоке и в Африке, и оттого также европейская война, т. е. драка европейцев из-за рынков, не переставая висит угрозой над головами всех евро-

пейских народов, разоряя их вооружениями. Если до сих пор эта война еще не разразилась, то это зависит, может быть, только от того, что крупным финансистам (которые торгуют деньгами) выгодно, чтобы государства лезли все дальше и дальше в долги. Но если только эти ростовщики увидят выгоду в войне, то они и натравят толпы людей друг на друга и заставят их убивать друг друга, лишь бы финансовые цари могли тем временем богатеть.

В современном экономическом строе все тесно связано, все тесно переплетается между собою, и все ведет к неизбежному падению окружающей нас промышленной и торговой системы. Ее дальнейшая жизнь – исключительно вопрос времени, и это время можно считать уже не веками, а годами. Но если это вопрос времени, то вместе с тем оно и вопрос нашей собственной энергии. Лентяи не создают историю: они пассивно терпят ее!

Вот почему во всех цивилизованных странах образуются такие значительные группы людей, энергически требующих возвращения обществу всех богатств, накопленных труда-

ми предыдущих поколений. Обобществление земли, угольных копей, заводов и фабрик, жилых домов, средств передвижения и т. д. стало общим боевым кличем этих партий, и преследование – излюбленное средство богатых и правящих классов – уже не может предотвратить торжество восставшего ума. И если миллионы рабочих еще не двинулись до сих пор и не отняли силою у хищников землю и заводы, то только потому, что они ждут удобной минуты – вроде той, которая представилась в 1848 г., – чтобы броситься на разрушение существующего строя, встречая повсюду поддержку со стороны международного движения.

Такой момент не замедлит представиться. С 1872 г., т. е. с того времени, как Международный Союз рабочих был разгромлен правительствами, – и даже в особенности с того времени, – идея международной связи между рабочими сделала громадные успехи – успехи, в которых даже самые сторонники Международного Союза иногда не отдают себе отчета. Связь установилась на деле, в мыслях, в чувствах, в постоянных международных сно-

шениях, в то время как плутократии – английская, французская, немецкая, русская – враждуют между собою и ежеминутно могут довести Европу до вооруженного столкновения. Несомненно одно: в тот день, когда во Франции снова будут провозглашены коммуны и начнется социальная революция, Франция снова встретит у народов всего мира, в том числе и у немецкого, итальянского и английского, ту симпатию, которой она пользовалась у народов Европы в 1848 и в 1793 гг. И если Германия, которая, кстати сказать, ближе к республиканской революции, чем это думают, выкинет знамя этой революции – к сожалению, якобинской – и бросится в движение со всем пылом, свойственным стране молодой и переживающей (как переживает теперь Германия) восходящий период своего развития, она встретит во Франции полное сочувствие и поддержку со стороны народа, который умеет любить смелых революционеров всех наций и ненавидит высокомерную плутократию. Нечего и говорить, что если даже эти две враждующие нации сойдутся по-братски в момент революции, то всякое рево-

люционное движение в Италии, Испании, Австрии или в России откликнется в сердцах рабочих всего мира.

Многие причины мешают до сих пор этому неизбежному революционному взрыву в Европе. До некоторой степени опасность войны не дает Франции вступать резко и определенно на революционный путь и отвлекает ее внимание, направляя его на ложно-патриотическую дорогу. Но есть еще, мне кажется, другая, более глубокая причина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Многочисленные признаки указывают нам на то, что во взглядах наших социалистов происходит в настоящую минуту глубокая перемена, схожая с той, которую я наметил вначале, говоря о науке вообще. И неопределенность воззрения самих социалистов насчет общественной организации, к которой следует стремиться, ослабляет до известной степени их энергию. При своем зарождении, в сороковых годах, социализм является в форме подначального коммунизма, в форме единой и нераздельной республики, диктатуры и правительственного якобинства, перенесенного на экономиче-

скую почву. Таков был идеал того времени. И социалист тех годов, был ли он христианин или свободомыслящий, одинаково готов был подчиниться всякому сильному правительству, даже империи, лишь бы только оно взялось за перестройку экономических отношений на пользу рабочих.

Но за последние пятьдесят лет в умах произошло глубокое изменение, особенно среди латинских народов и в Англии. Рабочие стали смотреть враждебно на правительственный и на церковный коммунизм, вследствие чего и появилось в Международном Союзе рабочих новое направление – коллективизм. Коллективизм обозначал вначале коллективную, т. е. общественную собственность орудий труда (не считая, однако, предметов, необходимых для жизни), и право каждой отдельной группы принимать для своих членов какой ей будет угодно способ распределения: коммунистический или индивидуальный. Владеем мы, стало быть, фабрикой, землей, железной дорогой и т. д. сообща и работаем сообща артелями; но каждая артель вольна по-своему распоряжаться тем, что она заработала:

либо устроиться общим хозяйством и жить сообща, либо делить свой заработок, как она сама рассудит лучше. Вот что тогда (в самом начале семидесятых годов) называлось коллективизмом и по сию пору называется в Испании среди анархистов. Книга Гильома «Общий взгляд на социальную организацию» содержит прекрасное изложение этой системы, как она понималась тогда и проповедовалась анархистами, в противность государственному коммунизму, за который стояли марксисты. Мало-помалу французские социал-демократы переделали, однако, коллективизм в нечто вроде сделки между коммунизмом и государственным капитализмом (государство – главный капиталист); так что в настоящее время коллективисты стремятся к общей собственности на все то, что служит для производства, но хотят в то же время, чтобы каждый получал вознаграждение за свой труд – смотря по тому, сколько часов он проработал, – в виде чеков или расписок, где напечатано: «пять, десять, 20 часов труда». На эти чеки можно будет покупать в общественных магазинах все товары, которые в свою оче-

редь будут тоже расцениваться по количеству часов, сколько потребно, чтобы выработать всякий товар. Так, например, если на то, чтобы вырастить сто четвертей ржи, нужно, скажем, проработать (средним числом) четыреста часов, то четверть ржи будет стоить 4 часа; пуд каменного угля обойдется, примерно, полчаса, а фунт мыла будет стоить, скажем, пять минут.

Если подумать хорошенько, то вы увидите, что коллективизм сводится, в сущности, к следующему:

частный (неполный) коммунизм по отношению к средствам производства и к воспитанию и в то же время конкуренция между личностями и группами из-за хлеба, жилищ и одежды;

индивидуализм по отношению к произведениям человеческого ума и произведениям искусства; и, наконец, как поправка неудобств этой системы – общественная помощь детям, больным и старикам.

Одним словом, мы видим здесь ту же борьбу за существование, лишь несколько смягченную благотворительностью, т. е. все то же

применение церковно-военного правила: «сначала изрань людей, а затем лечи их», и все тот же простор для полицейского сыска с целью узнать, нужно ли предоставить каждому лицо в борьбе за существование самому себе или же ему должна быть оказана государственная помощь.

Идея чеков, как вы знаете, не нова: ее применял еще Роберт Оуэн, а потом Прудон. Теперь она получила новое название – «научного социализма».

Нужно, однако, заметить, что эта теория плохо прививается к народным массам, которые точно предчувствуют все ее неудобства, чтобы не сказать всю ее неосуществимость.

Во-первых, время, употребленное на какой-нибудь труд, еще не дает мерил общественной полезности этого труда, и все теории ценности – от Адама Смита до Маркса, – пытавшиеся основаться только на стоимости производства, высчитанной в затраченном труде, не могли до сих пор разрешить вопроса о ценности. Раз только происходит обмен, ценность предмета становится сложной величиной, зависящей главным образом от того, в

какой степени она удовлетворяет потребностям не индивидуума, как прежде думали некоторые политико-экономы, а всего общества, взятого в целом.

Ценность есть явление общественное. Будучи результатом обмена, она имеет двойственный характер, представляя, с одной стороны, известное лишение, а с другой стороны, известное удовлетворение, причем и та и другая стороны должны рассматриваться не как индивидуальное, а как общественное явление.

Затем, наблюдая недостатки современного экономического строя, мы видим – и рабочие это отлично понимают, – что сущность его заключается в том, что рабочий поставлен в необходимость продавать свою рабочую силу. Не имея возможности прожить двух недель без работы, поставленный государством в невозможность воспользоваться своей силой и приложить ее к какому-нибудь полезному труду, не продавши ее барину, фабриканту или тому же государству, рабочий вынужден – силою, голодом – отказаться от тех выгод, которые мог бы принести ему его труд.

Он отдает хозяину львиную долю того, что он вырастит или сработает, и притом он приносит в жертву свою свободу и даже право высказывать свое мнение о полезности того, что он производит, и о способе производства.

Накопление капитала зависит, таким образом, не от его способности поглощать прибавочную стоимость (само понятие о прибавочной стоимости уже включает недодачу, т. е. эксплуатацию), а от того, что рабочий поставлен в необходимость продавать свою рабочую силу, зная очень хорошо, что он не получит всего того, что она произведет: что его интересы не будут соблюдены, что он станет по отношению к покупателю рабочей силы в положение низшее. Если бы этого не было, если бы миллионы обезземеленных и обездоленных, рабочих не были вынуждены закабальять себя на невыгодных условиях, капиталист никогда и не мог бы купить или нанять рабочую силу. Катковская партия[178] крепостников и московских фабрикантов только о том и хлопочет, как бы обезземелить крестьян и обратить миллионы населения (вдесятеро больше, чем их нужно на все фабрики)

в голодных и обездоленных батраков, которых можно закабалить за грош. Отсюда следует, что для перестройки существующего порядка нужно уничтожить саму его причину, т. е. самый факт продажи и купли рабочей силы, а не одни его последствия, т. е. капитализм.

Рабочие смутно понимают это; все чаще и чаще они говорят теперь, что если социальная революция не начнет с захвата всех средств жизни, т. е. с «распределения», как говорят экономисты, и не обеспечит каждому все необходимое для жизни, т. е. жилище, пищу и одежду, то это будет все равно как если бы ничего не было сделано. И мы знаем также, что при наших могущественных средствах производства такое обеспечение вполне возможно. Если же рабочий останется рабочим наемным, то он останется рабом того, кому вынужден будет продавать свою рабочую силу, — все равно, будет то частное лицо или государство.

Точно так же народный ум, т. е. сумма всех бесчисленных мнений, возникающих в головах людей, предвидит, что если роль хозяина

в покупке рабочей силы и в наблюдении за нею возьмет на себя государство, то результатом этого явится опять-таки самое отвратительное крепостничество. Человек из народа рассуждает не отвлеченностями, а прямо фактами повседневной жизни. Он чувствует поэтому, что то государство, о котором болтают в книгах, явится для него в форме несметных чиновников, взятых из числа его бывших товарищей по работе, а что это будут за люди — он слишком хорошо знает по опыту. Он знает, чем становятся отличные товарищи, раз они сделали начальством, и он стремится к такому общественному строю, в котором настоящее зло не было бы заменено новым, а совершенно уничтожено.

Вот почему коллективизм так-таки никогда и не мог увлечь народных масс, которые в конце концов приходят к коммунизму, но к коммунизму, все более и более освобождающемуся от церковной и якобинской окраски сороковых годов, т. е. к коммунизму свободному, анархическому.

Мало того, оглядываясь назад на все то, что мы пережили за последнюю четверть ве-

ка в европейском социалистическом движении, я положительно убежден, что современный социализм вынужден непременно сделать шаг вперед в направлении к свободному коммунизму и что, до тех пор пока он этого не сделает, та неопределенность в умах массы, о которой я только что говорил, будет задерживать дальнейшие успехи социалистической пропаганды.

Мне кажется, что силою вещей социалист вынужден признать прежде всего, что материальное обеспечение существования всех членов общества должно быть первым актом социальной революции. Но вместе с тем ему приходится сделать и еще один шаг, а именно признать, что такое обеспечение должно быть достигнуто не при помощи государства, а совершенно вне его, помимо его вмешательства.

Что общество, взявши в свои руки все накопленные богатства, может свободно обеспечить всем довольство, под условием четырех или пяти часов в день физического труда в области производства – в этом согласны все те, кто только думал об этом вопросе. Если бы

каждый человек привыкал с детства знать, откуда берется хлеб, который он ест, дом, в котором он живет, книга, по которой он учится, и т. д., и если бы каждый привыкал соединять умственный труд с трудом физическим, в какой бы то ни было отрасли производства, общество могло бы легко достигнуть этого, даже помимо расчета на упрощения в способах производства, которые принесет нам более или менее близкое будущее.

В самом деле, достаточно подумать только о том, какое невообразимое количество сил тратится в настоящую минуту задаром, чтобы представить себе, как много могло бы получить всякое образованное общество, как мало труда потребовалось бы для этого от каждого человека и какие грандиозные дела могло бы такое общество предпринимать – дела, о которых теперь не может быть даже и речи. К сожалению, метафизическая политическая экономия никогда не занималась тем вопросом, который должен был бы составлять всю ее сущность, т. е. вопросом об экономии сил.

В кругу общественных наук есть, конечно, место для науки политической экономии. Но

эта наука, когда ее начнут разрабатывать, будет совсем непохожа на теперешнюю. Она займет место физиологии общества. Физиология растений (физиология питания, размножения) изучает, какими приспособлениями пользуются растения, чтобы достигать наибольших результатов (сохранение особи и вида) при наименьшей затрате энергии; физиология общества то же сделает для общества и, изучив эти приспособления и сравнив их с их результатами, скажет: такие-то приспособления представляют наибольшую экономию энергии при наибольшей жизненности особи и вида, а такие-то безумную трату сил. Такие-то не экономны, но полезны тем-то. Сочинять же метафизические трилогии насчет развития общества и открывать законы, не подозревая даже условности всякого так называемого закона природы, – значит делать то, что делали геология и физиология, когда они еще не были науками. Оно, может быть, и нужно, только науки политической экономии еще не существует.

Относительно возможности для коммунистического общества быть богатым при на-

шей современной, могучей технике сомнения быть не может. Сомнение является только в вопросе о том, может ли существовать подобное общество без полного подчинения личности контролю государства и не требуется ли для достижения материального благосостояния, чтобы европейские общества принесли в жертву даже ту незначительную свободу, которую им удалось, ценою стольких жертв, завоевать в продолжение нашего века?

Одна часть социалистов утверждает, что этого результата можно достигнуть не иначе, как принеся свободу в жертву на алтарь государства. Другая же, к которой принадлежим мы, думает, наоборот, что возможно достигнуть коммунизма, т. е. владеть сообща всем нашим общественным наследием и производить сообща все богатства, — только путем уничтожения государства, завоевания полной свободы личности, добровольного соглашения и совершенно свободного соединения в союзы и в федерации союзов.

Этот вопрос стоит в настоящую минуту на первом плане, и на этот вопрос социализм должен дать тот или другой ответ немедлен-

но, если не хочет, чтобы все его усилия оказались бесплодными.

Рассмотрим же его со всем тем вниманием, которого он заслуживает.

Каждый социалист легко вспомнит, как много предрассудков жило в нем в то время, когда он впервые услышал или подумал сам, что уничтожение частной собственности на землю и капитал становится исторической необходимостью.

То же самое происходит в настоящее время с человеком, которому в первый раз приходится слышать, что уничтожение государства с его законами, со всей его системой управления, со всем его объединением точно так же становится исторической необходимостью, что уничтожение капитализма невозможно без разрушения государства.

Эта мысль, бесспорно, противна всем понятиям, привитым нам нашим воспитанием — воспитанием, которым (не мешает помнить) руководят в своих выгодах церковь и государство.

Мы так много учились и читали о необходимости власти, так запуганы и боимся самих

себя (христианство) и еще более того «неразумной толпы» (история), мы так много слышаны об ужасах бунтов, беспорядков «хаоса», «анархии», что мысль безвластия нас пугает с первого раза.

Но становится ли от этого мысль безвластия менее справедливой? И раз мы принесли уже в жертву своего освобождения столько предрассудков относительно хозяина, собственности, религии, – остановимся ли мы перед предрассудком государства?

Я не стану вдаваться в критику государства; это сделано было уже много раз. Точно так же я не стану рассматривать и его историческую роль и сошлюсь на другую мою работу («Государство и его роль в истории») – ограничусь несколькими общими замечаниями.

Прежде всего, в то время как человеческие общества существуют с самого начала появления на земле человека, государство представляет собою, напротив, форму общественной жизни, создавшуюся лишь очень недавно у наших европейских обществ. Человек существовал уже в течение целых тысячелетий, прежде чем образовались первые государ-

ства: Греция и Рим процветали уже целые века до появления македонской и римской империй, а для нас, современных европейцев, государства существуют, собственно говоря, только с XVI в. Именно тогда завершилось уничтожение свободных общин и создано то общество взаимного страхования между военной и судебной властью, землевладельцами и капиталистами, которое называется государством.

Лишь в шестнадцатом веке был нанесен решительный удар преобладавшим до того представлениям о городской и сельской независимости свободных союзов и организаций, свободной на всех ступенях федерации независимых групп, отправлявших все те обязанности, которые теперь государство захватило в свои руки. Лишь после поражения крестьянских, гуситского и анабаптистского движений и после покорения вольных городов союз между церковью и зарождающеюся королевской властью положил конец федеративной вольной организации. Между тем это устройство просуществовало с девятого по пятнадцатый век и дало тот замечательный

период свободных средневековых городов, создавших целую новую и могучую цивилизацию, характер которой так хорошо уловили Огюстен Тьерри и Сисмонди – историки, к сожалению, слишком мало читаемые в наше время.

Известно, каким образом это соглашение между дворянином, священником, купцом, судьей, солдатом и королем упрочило свое господство. Все свободные союзы, существовавшие в средневековой городской и деревенской общине, – все гильдии, все союзы ремесленников, мастеров и подмастерий, братства, подсоседства и т. д., – были уничтожены повсеместно: королями в Англии, Франции, Испании, Италии и Германии, московскими царями в России. Земли, принадлежавшие общинам, были отданы на разграбление; богатства, составлявшие собственность гильдий, были конфискованы; всякое свободное соглашение между людьми подвергалось безусловному и жестокому запрещению. Чтобы установить свое господство, чтобы получить возможность управлять потом лишь стадами, не имевшими между собою никакой прямой свя-

зи, Церковь и Государство не останавливались ни перед чем: убийство тайное, в одиночку и массовое, колесование, виселица, меч и огонь, пытка, выселение целых городов – все было пущено в ход. Вспомните о сотне с лишком тысяч крестьян, перебитых в Голландии, о другой сотне тысяч убитых на войне и в Швейцарии, о зверствах Ивана Грозного в Новгороде...

Только теперь, только в последние двадцать лет мы начинаем отвоевывать путем борьбы и революции некоторые крохи тех прав на вольные артели и всевозможные союзы, которыми пользовались средневековые ремесленники и крестьяне, даже крепостные.

Мы опять начинаем отвоевывать эти права, и, если вы взгляните в жизнь современных цивилизованных народов – книги не говорят об этом, но присмотритесь к жизни, – вы увидите, что господствующее стремление нашего времени есть стремление к образованию тысяч всевозможных союзов и обществ для удовлетворения самых разнообразных потребностей современного человека.

Вся Европа покрывается добровольными

союзами с целью изучения, обучения промышленности, торговли, науки, искусства и литературы, с целями эксплуатации и с целью ограждения от эксплуатации, с целью развлечения и серьезной работы, наслаждения и самопожертвования, – одним словом, для всего того, что составляет жизнь деятельного и мыслящего существа. Мы находим эти постоянно возникающие общества во всех уголках политической, экономической, художественной и умственной жизни Америки и Европы. Одни из них быстро исчезают, другие живут уже десятки лет, и все они стремятся, сохраняя независимость каждой группы, кружка, отделения или ветви, соединиться друг с другом, сплотиться, образовать между собою федерации в каждой стране и международные и охватить все существование цивилизованного человека сетью перекрещивающихся и переплетающихся нитей. Эти общества насчитываются уже десятками тысяч и охватывают миллионы людей, а между тем не прошло еще и пятидесяти лет с тех пор, как церковь и государство стали терпеть некоторые – только еще некоторые из них.

Повсюду эти общества захватывают то, что прежде считалось обязанностью государства, и стремятся заменить деятельность его объединенной, чиновничьей власти деятельностью добровольною. В Англии мы находим даже общества страхования от воровства, общества спасения на водах, общества добровольных защитников страны, общества для защиты берегов и т. д. без конца. Государство стремится, конечно, взять всякое такое общество под свою опеку и превратить его в орудие упрочения своей власти, и иногда это ему удается (Красный Крест), но первоначальная цель всех этих обществ – обходиться без государства. Не будь церкви и государства, свободные общества давно охватили бы область образования и воспитания, уже, конечно, давали бы лучшее образование, чем то ложное образование, которое дает – далеко не всем – государство. Впрочем, вольные общества уже начинают вторгаться и в эту область и уже оказывают в ней свое влияние, несмотря на все препятствия.

При виде того, как много делается в этом направлении, помимо государства и напере-

кор ему (так как оно старается сохранить за собою господство, завоеванное им в течение трех последних столетий); при виде того, как добровольные союзы захватывают понемногу все и останавливаются в своем развитии, только уступая силе государства, мы волею-неволею должны признать, что здесь проявляется могучее стремление и пробивается новая сила современного общества. И мы можем тогда с полным правом поставить следующий вопрос: «если через пять, десять, двадцать лет – все равно – восставшим рабочим удастся сломить силу названного общества взаимного страхования между собственниками, банкирами, священниками, судьями и солдатами; если народ станет на несколько месяцев хозяином своей судьбы и завладеет всеми созданными им и принадлежащими ему по праву богатствами, – то займется ли он снова восстановлением хищнического государства? Не попытается ли он, наоборот, создать организацию, идущую от простого к сложному, основанную на взаимном соглашении, соответственно разнообразным и постоянно меняющимся потребностям каждой от-

дельной местности, с целью обеспечить за собою пользование завоеванными богатствами и возможность жить и производить все то, что окажется необходимым для жизни? Иными словами, разрушив современную государственную организацию, чтобы совершить социальный переворот, что лучше: создавать ли вновь государство – вековое орудие угнетения народов – в обновленной форме, или же искать средств обойтись без него? Пойдет ли народ за господствующим стремлением века, или, наоборот, он пойдет против него, пытаясь вновь создать уничтоженную им же власть?»

Культурный человек, которого Фурье с презрением называл «цивилизованным», трепещет при мысли, что общество может остаться в один прекрасный день без судей, без жандармов и без тюремщиков.

Действительно ли, однако, так нужны нам эти господа, как говорят нам в книгах – книгах, написанных учеными, которые обыкновенно очень хорошо знают, что было написано до них в других таких же книгах, но совершенно не знают по большей части ни народа,

ни его ежедневной жизни.

Если мы можем безопасно ходить не только по улицам Парижа, где кишат полицейские, но и по деревенским дорогам, где лишь изредка встречаются прохожие, то чему обязаны мы этим: полиции или, скорее, отсутствию людей, желающих убить или ограбить прохожего? – не говорю, конечно, о людях, носящих при себе миллионы, – таких мало, – я имею в виду простого буржуа, который боится не за свой кошелек, наполненный несколькими дурно приобретенными червонцами, а за свою жизнь. Основательны ли его опасения?

Недавний опыт показал нам, что Джек-потрошитель совершал в Лондоне свои зверства буквально-таки под носом у полицейских, – а лондонская полиция самая деятельная в мире, – и прекратил он их только тогда, когда его начало преследовать само уайтчапельское население.

А наши ежедневные отношения с нашими согражданами? И неужели вы думаете, что противообщественные поступки в самом деле предотвращаются судьями, тюрьмами и жан-

дармами? Неужели вы не видите, что судья, т. е. человек, одержимый законническим помешательством и вследствие этого всегда жестокий, — что доносчик, шпион, тюремщик, палач полицейский (а без них как жить судье?) и все подозрительные личности, ютящиеся вокруг судов, в действительности представляют, каждый из них, центр разврата, распространяемого в обществе? Присмотритесь-ка к этой жизни судейской, прочитайте отчеты о процессах, пробегите объявления, ими полны газеты английских агентств для частного сыска, предлагающие за бесценок выслеживать поведение мужей и жен при помощи опытных сыщиц; постарайтесь, хотя бы по отрывкам, составить картину Скотланд-Ярда (английского Третьего отделения), Тайной Парижской полиции с ее помощницами на тротуарах и русского Третьего отделения; загляните за кулисы судов, посмотрите, что делается на задах торжественных каменных фасадов, и вы почувствуете глубочайшее отвращение. Разве тюрьма, убивающая в человеке всякую волю и всякую силу характера и заключающая в своих стенах больше пороков,

чем в каком бы то ни было другом пункте земного шара, не играла всегда роль высшей школы преступления, а зала суда – всякого суда – школы самой гнусной жестокости?

Нам возражают, что, когда мы требуем уничтожения государства и всех его органов, мы мечтаем об обществе, состоящем из людей лучших, чем те, которые существуют в действительности. Нет, ответим мы, тысячу раз нет! Мы требуем одного: чтобы эти гнусные государственные учреждения не делали людей худшими, чем они есть!

Известный немецкий юрист Иеринг[179] задумал однажды резюмировать свои научные труды в сочинении, в котором он намеревался разобрать средства, служащие к поддержанию общественной жизни. Сочинение это носит название «Цель в праве» (Der Ziel im Recht) и пользуется вполне заслуженной репутацией.

Он выработал план своего труда и разобрал с большим знанием два существующих принудительных средства: наемную плату и формы принуждения, помеченные в законе. В конце он оставил два параграфа, чтобы упо-

мянуть о двух непринудительных средствах, которым он, как и следовало юристу, не придавал особенного значения, а именно: чувству долга и чувству симпатии.

И что же? По мере того как он исследовал принудительные средства, он убеждался в их полной недостаточности, полной неспособности поддержать общественный строй. Он посвятил им целый том, и в результате исследования их значение сильно пошатнулось. Когда же он приступил к двум последним параграфам и принялся думать о непринудительных средствах общественной жизни, он увидел, что они имеют такое огромное, преобладающее значение, что вместо двух главок ему пришлось написать целый второй том, вдвое толще первого, об этих двух средствах: о добровольном самоограничении и о взаимной поддержке, причем он исчерпал только ничтожную часть предмета, так как говорил только о том, что вытекает из чувства личной симпатии, едва затронув вопрос о свободном соглашении для выполнения общественных отправлений.

С каждым из вас случится то же, что с

Иерингом, если вы серьезно подумаете об этом предмете, и, вместо того чтобы повторять формулы, законченные вами в школе, сами серьезно займитесь этим вопросом. Подобно Иерингу вы увидите, какое ничтожное значение имеет в обществе принуждение сравнительно с добровольным соглашением.

С другой стороны, если вы последуете уже старому совету, данному Бентамом, и подумаете о гибельных – прямых, а в особенности косвенных последствиях всякого законного принуждения, вы возненавидите, как Толстой и как мы, это употребление силы и придете к заключению, что в руках общества есть тысяча других, гораздо более действительных средств для предотвращения противообщественных поступков; если же оно теперь не прибегает к этим средствам, то только потому, что и его воспитание, руководимое церковью и государством, и его трусость и леность мысли мешают ясному пониманию этих вопросов. Если ребенок совершил какой-либо проступок, прощай все его наказывать: тогда, по крайней мере, не нужно никаких объяснений. А разве трудно казнить человека, осо-

бенно когда есть на то наемные палачи, – в Англии, всего по фунту, т. е. по 10 рублей за каждого повешенного? Чего лучше! Заплатить несколько сот рублей в год и не ломать дворянскую голову над причинами преступлений! А в Сибирь сослать или в Крест запереть – и того проще! Но не омерзительно ли это? Нам часто говорят, что мы, анархисты, живем в мире мечтаний и не видим современной действительности. На деле же выходит, что мы, может быть, слишком хорошо ее видим и знаем, а потому и стараемся прорубить топором просеку в окружающей нас чаще вековых предрассудков по вопросу о всякой власти «от Бога или от мира сего».

Мы далеко не живем в мире видений и не представляем себе людей лучшими, чем они есть на самом деле: наоборот, мы именно видим их такими, какие они есть, а потому и утверждаем, что власть портит даже самых лучших людей и что все эти теории «равновесия власти» и «контроля над правительством» не что иное, как ходячие формулы, придуманные теми, кто стоит у власти, для того, чтоб уверить верховный народ, будто

правит именно он. На деле же государством народ нигде не правит. Везде богатые и обученные управлению управляют бедными [180]. Именно в силу нашего знания людей мы и говорим правителям, которые думают, что без них люди загрызли бы друг друга: «Вы рассуждаете, как тот французский король, который, будучи принужден уехать за границу, восклицал: “Что станется без меня с моими несчастными подданными!”»

Конечно, если бы люди были такими высшими существами, какими изображают их утописты власти, если бы мы могли, закрывая глаза на действительность, жить, как они, в мире иллюзий на счет нравственной высоты тех, кого они считают призванными к управлению, тогда, может быть, и мы думали бы, как они, и верили бы, как они, в добродетели правителей.

В самом деле, что же было бы худого в рабстве, если бы рабовладельцы действительно были теми праведными архангелами, какими их изображали утописты рабства? Вы, может быть, помните, какими розовыми красками нам расписывали американских рабовла-

дельцев и крепостников-помещиков лет тридцать тому назад? Они ли не заботились отечески о своих рабах и крепостных! Без барина эти ленивые, беспечные, непредусмотрительные дети просто пропали бы с голоду! И к чему – говорили нам крепостники – станет барин обременять своих рабов непосильным трудом или истязать их под розгами! Ведь его прямая выгода – хорошо кормить своих рабов, хорошо с ними обращаться, заботиться об них, как о своих собственных детях! Уж как сладко нам певали это в нашем детстве всероссийские Скарятинны[181], американские газетчики и английские попы! А кроме того, ведь существовал «закон», каравший рабовладельца за малейшее уклонение от своих обязанностей! А между тем Дарвин, вернувшись из своего путешествия в Бразилию, так всю жизнь и был преследуем криками изувечиваемых рабов, которые он слышал в Бразилии, и рыданиями женщин, стонавших от боли в закованных в тиски руках. А нам, детям бывших помещиков, по сию пору краска бросается в лицо при одной мысли о том, что делали наши отцы.

Если бы господа, стоящие у власти, действительно были людьми, настолько умными и преданными общественному делу, как нам изображают их хвалители государства, — какую бы можно было создать великолепную утопию с правительством и хозяевами во главе! Хозяин был бы не тираном, а отцом своих рабочих! Завод был бы привлекательнейшим местопребыванием, и никогда бы целые населения рабочих не оказывались осужденными на физическое вырождение. Государство не отравляло бы своих рабочих, заставляя их делать спички с белым фосфором, когда его так легко заменить красным. Таких судей, которые осуждают на целые годы голода и лишения и на смерть от истощения ни в чем не повинных жен и детей приговариваемых ими людей, — таких зверей не существовало бы; прокуроры не стали бы требовать смертной казни для подсудимого ради того только, чтобы проявить свои ораторские таланты, и не нашлось бы ни тюремщиков, ни палачей для приведения в исполнение приговоров, которых судьи сами и не хотят исполнять! Да что тут говорить! У самого Плутарха не хватило

бы слов, чтобы расписать все добродетели депутатов того блаженного времени, депутатов, которым противен самый вид панамских чеков! Дисциплинарные батальоны стали бы рассадниками всяких добродетелей, а постоянные армии – одним удовольствием для граждан, так как ружья служили бы солдатам только для того, чтобы маршировать перед няньками и детьми с букетами цветов, надежными на штыки.

Какая прекрасная утопия, какая чудная святочная сказка создается в нашем воображении, как только мы предположим, что люди, стоящие у власти, представляют собою высший класс людей, которому чужды или почти чужды слабости простых смертных! Достаточно было заставить чиновников контролировать друг друга соответственно Табели о рангах и ограничить всего только двадцатью пятью номерами количество рапортов и отношений, которыми позволено будет канцеляриям обмениваться в том случае, если где-нибудь ветер сломает казенное дерево. (Теперь в объединенной Франции, чтобы продать казенное дерево, сломанное бурей, кан-

целярии обмениваются 53-мя номерами бумаги.) В случае надобности можно, кроме того, предоставить надзор за чиновниками простым смертным, которые в государственных утопиях отличаются в своих взаимных отношениях всевозможными пороками, но становятся олицетворением мудрости, как только им приходится выбирать себе правителей.

Вся наука государственного управления, созданная самими правителями, проникнута этой утопией. Но мы слишком хорошо знаем людей, чтобы предаваться подобным мечтам. Мы не прилагаем двух различных мерок, смотря по тому, идет ли речь об управителях или об управляемых; мы знаем, что мы сами несовершенны и что даже самые лучшие из нас быстро испортились бы, если бы попали во власть. Мы берем людей такими, каковы они есть, и вот почему мы ненавидим всякую власть человека над человеком и стараемся всеми силами, может быть, даже недостаточно – положить ей конец.

Но одного разрушения недостаточно. Нужно также уметь и создать. Народ всегда оказывался обманутым во всех революциях

именно потому, что недостаточно думал об этом созидании. Разрушив старое, он представлял всегда заботу о будущем буржуазии, которая имела перед ним то преимущество, что знала более или менее ясно, чего хотела, и таким образом восстанавливала власть снова в свою пользу.

Вот почему, стремясь к уничтожению власти во всех ее проявлениях, к уничтожению законов и механизма, служащего для того, чтобы заставить им подчиняться, отрицая всякую местничную организацию и проповедуя свободное соглашение, анархизм стремится вместе с тем к поддержанию и расширению того драгоценного ядра привычек общности, без которых не может существовать никакое человеческое, никакое животное общество. Только, вместо того чтобы ждать поддержки этих общественных привычек от власти нескольких человек, он ждет его от постоянной деятельности всех.

Коммунистические учреждения и привычки необходимы для общества не только как способ разрешения экономических затруднений, но также и для поддержания и развития

тех привычек общественности, которые сближают людей, создают между ними отношения, обращающие пользу каждого в пользу всех, учреждения, соединяющие людей, вместо того чтобы разъединять их.

Когда мы задаем себе вопрос, какими средствами поддерживается в человеческом или животном обществе известный нравственный уровень, мы находим всего три таких средства: преследование и наказание противообщественных поступков, нравственное воспитание и широкое применение взаимной поддержки в жизни. А так как эти три способа уже были испробованы, то мы можем судить о них на основании их результатов.

Что касается бессилия судебного наказания, то оно достаточно доказывается тем безобразным положением, в котором находится современное общество, и самую необходимость той революции, к которой мы стремимся и неизбежность которой мы все чувствуем. В области хозяйственной система принуждения привела нас к фабричной каторге; в области политической – к государству, т. е. к разрушению всех связей, существовавших

прежде между гражданами (якобинцы 1793 г. разорвали даже те связи, которым удалось устоять против королевской власти), с целью сделать из них бесформенную массу подданных, подчиненную во всех отношениях одной срединной власти. Государственные законы и наказание не только помогли создать все бедствия современного хозяйственного, политического и общественного строя, но вместе с тем обнаружили свою полную неспособность поднять нравственный уровень общества. Они не сумели даже удержать его на том уровне, на каком оно стояло. В самом деле, если бы какая-нибудь благодетельная фея вдруг развернула перед нашими глазами все те преступления, которые совершаются в цивилизованном обществе под прикрытием неизвестности, протекции высокопоставленных лиц и самого закона, общество содрогнулось бы. За крупные политические преступления, вроде наполеоновского переворота 2 декабря, или кровавой расправы с коммуной, или царских расправ в каторге и Шлиссельбурге, виновные никогда не несут наказания. Некрасов правду сказал: «Бичуют маленьких воришек»

для удовольствия больших». Мало того. Когда власть берет на себя задачу улучшать общественную нравственность «наказанием виновных», она лишь порождает ряд новых преступлений – в судах и тюрьмах. К принуждению люди прибегали в течение целого ряда веков и так безуспешно, что мы находимся теперь в положении, из которого не можем выйти иначе, как разрушив и уничтожив принудительные учреждения нашего прошлого.

Мы далеко не отрицаем значения второго из упомянутых средств: нравственного воспитания; особенно такого, которое бессознательно передается в обществе от одного к другому и вытекает из общего свода всех мыслей и мнений, высказываемых каждым из нас относительно событий ежедневной жизни. Но эта сила может влиять на общество только при одном условии: если ей не будет препятствовать другое, безнравственное, воспитание, вытекающее из существующих государственных учреждений.

В этом последнем случае ее влияние сводится к нулю или даже оказывается вредным.

Возьмите христианскую нравственность: какая другая нравственность могла бы иметь такое сильное влияние на умы, как христианская, говорившая от имени распятого Бога и действовавшая всею силою своей таинственности, всей поэзией мученичества, всем величием прощения палачам? А между тем влияние государственных учреждений оказалось сильнее христианской религии. Христианство было, в сущности, восстанием иудеев против императорского Рима, но на деле оно было покорено этим Римом, оно приняло его начала, его обычаи, его язык. Христианская церковь проникнулась началами римского государственного права и, вследствие этого, явилась в истории союзницей государства – самого отчаянного врага тех полукommунитарных учреждений, к которым взывало христианство в начале своего существования.

Можем ли мы предположить, хотя бы на минуту, что нравственное воспитание, устанавливаемое под покровительством министерских циркуляров, будет иметь ту творческую силу, которой не оказалось у христианства? И что может сделать воспитание, хотя

бы оно и стремилось сделать людей действительно общественными, если против него будет стоять другое воспитание, ежедневное, вытекающее из суммы всех противообщественных привычек и учреждений?

Остается третий элемент – само учреждение, действующее так, чтобы поступки, в которых проявляются чувства общности, вошли в привычку, сделались делом инстинкта. Эта сила, как показывает нам история, никогда не оказывалась беспомощною; никогда она не являлась обоюдоострым оружием. И если случалось, что она не достигала своей цели, то только тогда, когда хороший обычай, становясь понемногу неподвижным, окристаллизованным, обращался в какую-то неприкосновенную религию и поглощал личность, отнимая у нее всякую свободу действия и тем самым вынуждая ее бороться с тем, что становилось препятствием к дальнейшему развитию.

В самом деле, все то, что послужило в прошлом как элемент развития, прогресса или как орудие нравственного и умственного воспитания человечества, – все это вытекало из

приложений на практике начал взаимной поддержки и проявления таких привычек, которые признавали равенство между людьми, побуждали их самих соединяться друг с другом, спланировать для производства и потребления или же для общей защиты образовывать союзы и прибегать для решения возникавших между ними споров к посредникам, выбранным из своей собственной среды.

Всякий раз, когда эти учреждения, рождавшиеся как продукт народного творчества в те эпохи, когда народ завоевывал себе свободу, достигали в истории наибольшего развития – всякий раз и нравственный уровень общества, и его материальное благосостояние, и его свобода, и его умственный прогресс, и развитие личности – все поднималось. Всякий же раз, когда, наоборот, в силу ли иностранного завоевания, или в силу развития государственных предрассудков, люди все больше и больше делились на управителей и управляемых, как эксплуататоров и эксплуатируемых, – нравственный уровень общества понижался; вместо благосостояния большинства

являлась нажива некоторых, и общий дух века быстро мельчал.

Этому учит нас история, и именно из нее мы черпаем нашу веру в учреждения свободного коммунизма как в силу, которая способна поднять нравственный уровень общества, пониженный привычками государственности.

В настоящее время мы живем в городах рядом с другими людьми, даже не зная их. В дни выборов мы встречаемся друг с другом на собраниях, слушаем лживые обещания или нелепые речи кандидатов и возвращаемся к себе домой. Государство заведует всеми делами, имеющими общественный интерес; на нем лежит обязанность следить за тем, чтобы отдельные люди не нарушали интересов своих сограждан, и, в случае надобности, исправлять нанесенный им вред, наказывая виновных. На нем лежит забота о помощи голодающим, забота образования, защита от врагов и т. д., и т. д.

Ваш сосед может умереть с голоду или заколотить насмерть своих детей, – до вас это не касается: это дело полиции. Вы не знаете

своих соседей; вас ничто не связывает с ними, и все разъединяет, и, за неимением лучшего, вы просите у Всемогущего (прежде это был бог, а теперь государство), чтобы он не допускал противообщественные страсти до их крайних пределов.

В коммунистическом обществе дело неизбежно должно пойти иначе. Организацию коммунистического строя нельзя поручить какому-нибудь законодательному собранию – парламенту, городскому или мирскому совету. Оно должно быть делом всех, оно должно быть создано творческим умом самого народа; коммунизм нельзя навязать свыше. Без постоянной, ежедневной поддержки со стороны всех он не мог бы существовать; он задохнулся бы в атмосфере власти.

Вследствие этого коммунизм и не может существовать иначе, как создавая тысячи точек соприкосновения между людьми по поводу их общих дел. Он не может жить иначе, как созидая независимую местную жизнь для самых мелких единиц: для каждой улицы, для каждой кучки домов, для каждого квартала, для каждой общины и города. Он тогда

только и может достичь своей цели, если покроет общество целую сетью артелей и обществ, служащих для удовлетворения всевозможных потребностей: нужды довольства, роскоши, изучения, развлечений и т. д. А эти общества точно так же не могут оставаться чисто местными; они неизбежно будут стремиться к тому, чтобы стать всенародными и международными, как это происходит уже теперь с учеными обществами, с обществами велосипедистов, с обществами для спасения утопающих и пр.

И те общественные привычки, которые неизбежно вызовет к жизни коммунизм – хотя бы вначале даже неполный коммунизм, – окажутся несравненно сильнее для поддержания и развития существующего уже ядра общественных привычек, чем все возможные карательные меры.

Вот от какой формы жизни, от какого общественного строя мы ждем развития духа взаимного соглашения. Заметим кстати, что эти соображения служат также ответом тем, кто утверждает, что коммунизм и анархизм несовместимы. На деле они составляют необ-

ходимое дополнение друг для друга.

Полное развитие личности и ее личных особенностей может иметь место, по справедливому замечанию одного из наших товарищей, только тогда, когда первые, главные потребности человека в пище и жилье удовлетворены, когда его борьба за жизнь, против сил природы, упростилась, когда его время не поглощено тысячами мелких забот о поддержании своего существования. Тогда только ум, художественный вкус, изобретательность и вообще все способности человека могут развиваться свободно.

Коммунизм представляет собою, таким образом, лучшую основу для развития личности – не того индивидуализма, который толкает людей на борьбу друг с другом и который только и был нам до сих пор известен, – а того, который представляет собою полный расцвет всех способностей человека, высшее развитие всего, что в нем есть оригинального, наибольшую деятельность его ума, чувств и воли.

Таков наш идеал, и что нам за дело до этого, что во всей своей полноте он осуществит-

ся лишь в более или менее отдаленном будущем! Его частное осуществление мы можем начать сейчас же, среди нас самих; его идеи мы должны распространять как можно шире, не медля ни минуты, – и тогда мы увидим, как наши отдаленные стремления повлияют на каждый шаг вперед, который делает общество, как они отразятся на всех воззрениях относительно того, что следует делать сейчас же, как отнестись к каждому частному вопросу.

Наше дело – открыть прежде всего путем изучения современного общественного строя, его стремления, его направление, свойственные ему в данный момент развития, и указать эти стремления. Затем осуществить эти стремления в наших сношениях с нашими единомышленниками; и наконец, заняться уже теперь, и в особенности с наступлением революционного периода, разрушением учреждений и предрассудков, стесняющих развитие этих стремлений.

Это все, что мы можем сделать, как мирным, так и революционным путем. Но мы знаем, что, способствуя проявлению этих

стремлений, мы содействуем прогрессу, и что все, что идет против них, может только задержать прогресс.

Нам часто говорят о промежуточных ступенях, которые общество должно будет пройти, и нам предлагают бороться за достижение того, на что нам указывают, как на первый этапный пункт; впоследствии, говорят нам, можно выйти на истинную дорогу, после того как мы достигнем первого этапа.

Мне кажется, однако, что рассуждать таким образом – значит совершенно не понимать настоящего характера человеческого прогресса и пользоваться сравнением, взятым из военного дела и, в сущности, довольно неудачным. Человечество не представляет собою ни катящегося шара, ни даже марширующей колонны солдат. Оно есть такое целое, развитие которого состоит в развитии составляющих его миллионов; и если мы уже непременно хотим делать сравнения, то материал для таких сравнений надо брать, скорее, из законов развития живых существ, чем из законов движения неживых тел. В действительности, каждый шаг в развитии обще-

ства представляет собою равнодействующую умственных деятельностей всех составляющих его единиц, и он носит на себе отпечаток воли каждой из них. Каков бы ни был новый вид развития, который готовит нам ХХ в., он неизбежно будет носить на себе отпечаток тех идей безгосударственной свободы, которые уже начинают пробуждаться теперь. Глубина этого движения будет зависеть от числа умов, порвавших с государственными предубеждениями, от энергии, с которой они будут разрушать старые учреждения, от впечатления, которое они произведут на общество, от ясности, с которой общественный строй освободившегося общества будет обрисовываться в умах этой массы. Но мы можем сказать уже теперь, — например, относительно Франции, — что пробуждение идей безгосударственной свободы дало французскому обществу известный толчок и что будущая революция во Франции ни в каком случае уже не будет той якобинской, сосредоточенной (централизованной) революцией, какой она была бы, если бы произошла двадцать лет тому назад.

Раз анархические идеи не представляют

собой измышления какой-нибудь отдельной личности или группы, а вытекают из всего идейного движения нашего времени, мы можем быть уверены, что, каковы бы ни были результаты будущей революции, она уже не приведет нас ни к централизованному и диктаторскому коммунизму 40-х годов, ни к государственному коллективизму.

«Первый этапный пункт», наверное, не будет, следовательно, тем, что понимали под этим первым шагом всего каких-нибудь двадцать лет тому назад.

Я уже заметил, что, поскольку мы можем судить об этом на основании наших наблюдений, перед всей социалистической партией возникла в настоящее время громаднейшая задача: как согласовать ее общественный хозяйственный идеал с движением в сторону свободы личности, начинающимся в умах массы? Затем, в предыдущих революциях недоставало заботы о пробуждении духа народного почина. Теперь же люди начинают понимать, что без пробуждения именно этого почина – повсеместно, в каждом городе и деревушке, – нет никакой возможности совер-

шить громаднейший экономический переворот, который требуется совершить.

Отсутствие организаторского творческого почина в народных массах было в самом деле тем подводным камнем, о который разбились все прошлые революции. Очень сильный по своей сообразительности в нападении народ не проявлял почина и творческой мысли в деле построения нового здания. Народ дрался на баррикадах, брал дворцы, выгонял старых правителей, но дело новой постройки он предоставлял образованным классам, т. е. той же буржуазии. У буржуазии же был свой общественный идеал, она знала приблизительно, чего именно она хотела, знала, что можно будет извлечь, в ее собственных интересах, из общественной бури. И, как только революция ломала старые порядки, буржуазия бралась за постройку, в свою пользу.

В революции разрушение составляет только часть работы революционера. Ему приходится, кроме того, сейчас же строить вновь. И вот эта постройка может произойти либо по старым рецептам, заученным из книг и навязываемым народу всеми защитниками старо-

го, всеми неспособными додуматься до нового. Или же перестройка начнется на новых началах; т. е. в каждой деревне, в каждом городе начнется самостоятельная постройка социалистического общества под влиянием некоторых общих начал, усвоенных массой, которая будет искать их практического осуществления на месте, в сложных отношениях, свойственных каждой местности. Но для этого у народа должен быть свой идеал, для этого в его среде должны быть люди почина, инициативы[182].

А между тем именно эту инициативу рабочего и крестьянина сознательно или бессознательно душили все партии – в том числе и социалисты – ради партийной дисциплины. Все распоряжения исходили из центра, от комитетов, а местным органам оставалось только подчиняться, чтобы не нарушать единства организации. Целая система воспитания, целая ложная история, целая непонятная наука были выработаны с этой целью.

Вот почему тот, кто будет стремиться уничтожить этот устарелый и вредный прием, кто сумеет разбудить в личностях и в группах

дух почина, кому удастся положить эти принципы в основу своих поступков и своих отношений с другими людьми, кто поймет, что в разнообразии и даже в борьбе заключается жизнь и что единообразие есть смерть, тот потрудится не для будущих веков, а для ближайшей революции.

Еще несколько слов.

Мы не боимся «злоупотребления свободой». Только те, кто ничего не делают, не делают промахов. Что же касается людей, умеющих только повиноваться, то и они делают столько же промахов и ошибок, или даже больше, чем люди, которые ищут свой путь сами, стараясь действовать в том направлении, на которое их толкает склад их ума, в связи с воспитанием, которое им дало общество. Нет сомнения, что дурно понятая и в особенности дурно истолкованная идея свободы личности может повести – в особенности в среде, где понятие солидарности недостаточно вошло в учреждения, – к поступкам, возмущающим общественную совесть. Допустим же заранее, что это будет случаться. Но достаточная ли это причина для того, чтобы

отвергнуть вообще начала свободы? Достаточно ли это причина для того, чтобы согласиться с теми, кто восхваляет цензуру для предотвращения «злоупотреблений» освобожденной печати и гильотинирует людей передовых партий ради поддержания единообразия и дисциплины? В конце концов, как нам показал опыт 1793 года, – ведь это лучшее средство, чтобы приготовить торжество реакции.

Единственное, что мы можем сделать при виде противообщественных поступков, это отказаться от правила: «Каждый за себя, а государство за всех» и найти в себе достаточно смелости, чтобы выражать открыто наше мнение. Это, конечно, может повести к борьбе, но борьба и есть жизнь. Притом же такая борьба приведет и нас самих к более справедливой оценке большинства поступков, чем та, которую мы сделали бы под исключительным влиянием наших установленных понятий. Многие ходячие понятия нравственности тоже нуждаются в переоценке.

Когда нравственный уровень общества понизился до такой степени, до какой он пони-

зился у нас, тогда мы должны предвидеть заранее, что протест против такого общества будет принимать иногда такие формы, которые будут нас коробить; но этого еще недостаточно, чтобы заранее осудить всякий протест. Конечно, нас глубоко возмущают отрубленные головы, насаженные на пики в 1789 году, но не представляли ли они собою последствий виселиц старого королевского порядка и железных клеток, о которых нам говорил Виктор Гюго? Будем надеяться, что избиение тридцати пяти тысяч парижан в 1871 г. и осада Парижа Тьером не оставили слишком много жестокости в характере французского народа; будем надеяться, что разврат высших классов, обнаружившийся в недавних процессах, не окончательно разъял еще сердце нации. Да, будем надеяться на это, будем содействовать этому! Но если бы эти наши надежды нас обманули, то неужели вы, молодые социалисты, отвернетесь от восставшего народа только потому, что жестокость теперешних господствующих классов оставила в его уме некоторые следы? Что от грязи, царимой наверху, далеко разлетелись брызги во

все стороны?

Нет сомнения, что глубокий переворот, совершающийся в умах, не может оставаться исключительно в области мысли, а должен перейти в область действий. Как справедливо заметил слишком рано похищенный смертью молодой философ Марк Гюйо[183] (в одной из самых лучших книг [«Нравственность без принуждения и без санкции»], написанных за последние тридцать лет), между мыслью и делом нет резкой пропасти – по крайней мере для тех, кто не привык к современной софистике. Мысль есть уже начало дела.

Вот почему анархические идеи вызвали, во всех странах и во всевозможных формах, целый ряд действий протеста; сначала – протеста личного против капитала и государства, затем протеста коллективного, в виде стачек и рабочих бунтов, причем и тот и другой вид протеста готовят, как в умах, так и в жизни, восстание массовое, т. е. революцию. Социализм и анархизм в этом отношении лишь следовали за тем развитием «идей – сил» (мыслей, ведущих к делам), которое всегда наблюдается при приближении крупных

народных восстаний (...).

Примечания

1

Брегоны у кельтов – это судьи, вещатели права, хранители формул и довольно сложных обрядов. Брегоны были также поэтами и стояли во главе школ, в которых путем устной передачи изучалось право вместе с правилами поэтического творчества.

[^^^]

Якобинцы – участники Якобинского клуба, французского политического клуба эпохи Великой французской революции. Это было самое известное и влиятельное политическое движение революции, провозгласившее насилие приоритетным для достижения своих целей. Свое название Якобинский клуб получил от места проведения заседаний в доминиканском монастыре Святого Якова на улице Сен-Жак. Клуб был закрыт 11 ноября 1794 года. А начиная с XIX века термин «якобинцы» стал употребляться для обозначения радикальных политических течений.

[^^^]

Анабаптисты, или вновь крещенные – название участников радикального религиозного движения эпохи Реформации (XVI век) в основном в Германии, Швейцарии и Нидерландах, полученное ими от своих противников. Сами анабаптисты предпочитали называть себя «крещенцами», подчеркивая крещение как сознательный выбор. Основным признаком движения был призыв к повторному крещению в сознательном возрасте. Представители радикальной части анабаптистов (многие из которых придерживались коммунистической идеи общности имущества, а некоторые и общности женщин) приняли участие в Крестьянской войне 1524–1525 гг., образовали Мюнстерскую коммуну в 1534–1535 гг. и в конце концов были уничтожены.

[^^^]

4

Схоластика – это европейская средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского (католического) богословия и логики Аристотеля. Схоластика характеризуется соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-логическим проблемам. В повседневной жизни схостикой часто называют представления, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых опытом.

[^^^]

5

Метафизика – это раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового. Основные метафизические вопросы: Что есть причина причин? Каковы истоки истоков? Каковы начала начал?

[^^^]

6

Пьер-Симон де Лаплас (1749–1827) – французский математик, механик, физик и астроном, один из создателей теории вероятностей. Имя Лапласа внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни.

[^^^]

Иммануил Кант (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, человек, оказавший огромное влияние на историю современной западной философии. Написал ставший важнейшим и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов – «Критика чистого разума». Идеальный вдохновитель философской школы неокантианства.

[^^^]

Фрэнсис Гетчесон (1694–1747) – сын протестантского пастора в Северной Ирландии, профессор нравственной философии в университете Глазго.

[^^^]

Адам Смит (1723–1790) – шотландский экономист и философ, один из основоположников экономической теории как науки. Считается основателем классической политэкономии.

[^^^]

«Теория нравственных чувств» (The Theory of Moral Sentiments) – книга Адама Смита, опубликованная в 1759 году. При жизни автора эта книга выдержала шесть изданий, а первые переводы на иностранные языки (французский и немецкий) были осуществлены соответственно в 1764 и 1770 гг.

[^^^]

В своей книге «Изложение системы мира» Лаплас в популярной форме изложил содержание своего фундаментального «Трактата по небесной механике» и на основе закона всемирного тяготения объяснил все наблюдаемые движения планет и спутников солнечной системы. Книга вышла в Париже в 1795 году.

[^^^]

Поль-Анри Тири, барон д'Ольбах (фон Гольбах) (1723–1789) – французский философ немецкого происхождения, писатель, энциклопедист. Его основное и наиболее известное сочинение называется «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного». Оно вышло в свет в 1770 году. Книга представляет собой наиболее всестороннее обоснование материализма и атеизма той эпохи, и современники называли ее «Библией материализма».

[^^^]

Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794) – французский естествоиспытатель, основатель современной химии.

[^^^]

Пьер Бейль (1647–1706) – один из влиятельнейших французских мыслителей и философско-богословский критик.

[^^^]

Жан-Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье де Ламарк (1744–1829) – французский ученый-естествоиспытатель. Стал первым биологом, который попытался создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира.

[^^^]

Жирондисты – одна из политических партий в эпоху Великой Французской революции. Свое название партия получила от департамента Жиронда (с главным городом Бордо), избравшего в октябре 1791 года в Законодательное собрание депутатами местных адвокатов Верньо, Гюаде, Жансонне, Гранжнёва и молодого купца Дюко, кружок которых и был первоначальным ядром партии. Сторонники личной свободы, поклонники демократической политической теории Руссо, пламенные защитники революции, жирондисты отличались прекрасным красноречием, но не обнаружили ни организаторского таланта, ни партийной дисциплины. Вначале они были частью якобинского движения, боролись за конец монархии, но затем восстали против перерастания революции в анархию под влиянием парижской черни. После их поражения во Франции началась «эпоха террора».

Национальный Конвент (Convention nationale) – высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики во время Великой французской революции, действовавший с 21 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года. Это первая французская законодательная ассамблея, выбранная на основе всеобщего избирательного права.

[^^^]

Термидорианский переворот – государственный переворот, произошедший 27 июля 1794 года (9 термидора II года по республиканскому календарю) во Франции и ставший одним из ключевых событий Великой французской революции. Привел к аресту и казни Максимилиана Робеспьера и его сторонников. Положил конец «эпохе террора».

[^^^]

Уильям Годвин (1756–1836) – английский журналист, политический философ и романист, драматург, один из основателей либеральной политической философии, основатель философского анархизма. Он считал, что правительство является «необходимым злом», но что оно будет становиться все более ненужным по мере постепенного распространения знаний. Годвин считал, что люди должны терпеть правительство так мало, насколько это возможно, а сами – эволюционировать во взаимодействии друг с другом.

[^^^]

Гракх Бабёф (настоящее имя – Франсуа-Ноэль Бабёф) (1760–1797) – французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «во имя равенства» во время Директории.

[^^^]

Филиппо Джузеппе Мария Людовико Микеле Буонарроти (1761–1837) – итальянский и французский политический деятель и революционер.

[^^^]

Франсуа-Мари-Шарль Фурье (1772–1837) – французский философ и социолог, один из представителей утопического социализма, автор термина «феминизм».

[^^^]

Анри Сен-Симон (полное имя – Клод-Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон) (1760–1825) – французский философ, социолог, социальный реформатор, основатель школы утопического социализма.

[^^^]

Роберт Оуэн (1771–1858) – английский философ, педагог и социалист, один из первых социальных реформаторов XIX века.

[^^^]

Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865) – французский политик, публицист, экономист, философ и социолог. Был членом французского парламента и первым человеком, назвавшим себя анархистом. Считается одним из наиболее влиятельных теоретиков анархизма. Но Прудон, в отличие от других идеологов анархизма, не был последовательным противником государства. Он писал: «Анархия так же мало получает применения в человечестве, как беспорядок в мироздании». Он считал, что все формы правления хороши, если правительство действует в духе справедливости, а это возможно тогда, когда оно допускает самую широкую свободу, когда существует автономия и децентрализация.

[^^^]

Первый интернационал (официальное название – Международное товарищество трудящихся или Международное товарищество рабочих) – первая массовая международная организация рабочего класса, учрежденная 28 сентября 1864 года в Лондоне. Объединяла ячейки из 13 европейских стран и США. Организация прекратила свое существование в 1876 году после раскола, состоявшегося в 1872 году. После раскола образовался «Анархистский интернационал», что стало итогом внутренних интриг в Первом интернационале (из него были исключены лидеры антиавторитарного крыла М. А. Бакунин и Джеймс Гильом). После этого сторонники Бакунина собрались на конгресс в Сент-Имье (Швейцария), где и был создан «Анархистский (Антиавторитарный) интернационал». Его программа гласила, что «разрушение политической власти является первым долгом пролетариата», что «любая организация политической власти, якобы временной и революционной для этого разрушения, может быть толь-

ко еще одним обманом», и что «чтобы совершить социальную революцию, пролетарии всех стран должны установить, вне всякой буржуазной политики, солидарность революционного действия». После этого «Анархистский интернационал» просуществовал еще несколько лет, собрав четыре конгресса: в Женеве (1873), Брюсселе (1874), Берне (1876) и Вербье (1877), после чего прекратил свое существование, тем самым пережив на год марксистскую часть Первого интернационала, которые распустили свое объединение в июле 1876 года.

[^^^]

Петр Лаврович Лавров (1823–1900) – русский социолог, философ, публицист и революционер. Один из идеологов народничества.

[^^^]

Марк Сеген (1786–1875) – французский инженер и предприниматель, изобретатель тросовых висячих мостов и жаротрубного парового котла.

[^^^]

Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) – английский физик, внесший значительный вклад в становление термодинамики. Обосновал на опытах закон сохранения энергии. Установил закон, определяющий тепловое действие электрического тока. Вычислил скорость движения молекул газа и установил ее зависимость от температуры.

[^^^]

Имеется в виду Уильям Роберт Грове (Гроув) (1811–1896) – английский физик и химик. Изобрел гальванический элемент, названный его именем (элемент Грове). Его работа «О соотношении физических сил», явившаяся результатом курса, прочитанного им в 1843 году, способствовала распространению новых физических идей, приведших к формулированию закона сохранения энергии в наиболее общей его форме.

[^^^]

Джузеппе Гарибальди (1807–1882) – итальянский полководец, революционер и политический деятель. Национальный герой Италии.

[^^^]

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775–1854) – немецкий философ, представитель классической немецкой философии. Выдающийся представитель идеализма в новой философии.

[^^^]

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) – немецкий философ, один из творцов философии немецкого идеализма.

[^^^]

Огюстен Тьерри (1795–1856) – французский историк романтического направления, один из основателей французской историографии.

[^^^]

Жан-Шарль-Леонар Симонд де Сисмонди (1773–1842) – швейцарский экономист и историк, один из основоположников политической экономики.

[^^^]

Альфред Рассел Уоллес (1823–1913) – британский натуралист, путешественник, географ, биолог и антрополог.

[^^^]

Исидор-Мари-Огюст-Франсуа-Ксавье Конт
(1798–1857) – французский философ, родоначальник позитивизма. Основоположник социологии как самостоятельной науки.

[^^^]

Давид Рикардо (1772–1823) – английский экономист, классик политической экономики, последователь и одновременно оппонент Адама Смита.

[^^^]

Иеремия (Джеремии) Бентам (1748–1832) – английский философ-моралист и правовед, социолог, юрист, один из крупнейших теоретиков политического либерализма.

[^^^]

Карл Фохт (или Фогт) (1817–1895) – немецкий естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач (значительную часть карьеры работал в Швейцарии и во Франции). Известен также как философ, представитель вульгарного материализма.

[^^^]

Имеется в виду Джордж Генри Льюис (1817–1878) – британский философ, писатель, литературный и театральный критик.

[^^^]

Клод Бернар (1813–1878) – французский медик, исследователь процессов внутренней секреции, основоположник эндокринологии.

[^^^]

Якоб Молешотт (Молесхотт) (1822–1893) – итальянский физиолог и философ нидерландского происхождения, представитель вульгарного материализма.

[^^^]

Чарльз Лайель (Лайелл) (1797–1875) – основоположник современной геологии, один из самых выдающихся ученых XIX столетия. Убедил Дарвина опубликовать его знаменитую работу «Происхождение видов». Примкнул к учению Дарвина, отказавшись от многих воззрений, которыми руководствовался в течение всей своей научной деятельности.

[^^^]

Эжен Бюрнуф (1801–1852) – французский ученый-востоковед, сделавший значительный вклад в расшифровку древнеперсидской клинописи, крупнейший исследователь буддизма середины XIX века.

[^^^]

Анн-Робер-Жак Тюрго (1727–1781) – французский экономист, философ и государственный деятель. Вошел в историю как один из основоположников экономического либерализма.

[^^^]

Джон Стюарт Милль (1806–1873) – британский философ, социолог, экономист и политический деятель. Внес основополагающий вклад в философию либерализма. Отстаивал концепцию индивидуальной свободы в противоположность неограниченному государственному контролю.

[^^^]

Эмиль Литтре (1801–1881) – французский философ-позитивист, историк, филолог и лексикограф, наиболее энциклопедичный из всех французских учёных после Дидро. Составитель знаменитого «Словаря французского языка», более известного как «Словарь Литтре».

[^^^]

Жорж-Леопольд де Кювье (1769–1832) – французский естествоиспытатель, натуралист. Считается основателем сравнительной анатомии и палеонтологии.

[^^^]

Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон (1707–1788) – французский натуралист, биолог, математик, естествоиспытатель и писатель XVIII века. Высказал идею о единстве растительного и животного мира.

[^^^]

Жан-Батист-Пьер-Антуан де Моне, шевалье де Ламарк (1744–1829) – французский ученый-естествоиспытатель. Стал первым биологом, который попытался создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира, известную в наше время как одна из исторических эволюционных концепций, называемая «ламаркизм».

[^^^]

Рудольф Юлиус Эмануэль Клаузиус
(1822–1888) – немецкий физик, механик и математик.

[^^^]

Герман фон Гельмгольц (полное имя – Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц (1821–1894) – немецкий физик, врач, физиолог, психолог и акустик.

[^^^]

Густав Роберт Кирхгоф (1824–1887) – немецкий физик.

[^^^]

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) – русский естествоиспытатель, физиолог и просветитель. Создатель первой российской физиологической научной школы и естественно-научного материалистического направления в психологии.

[^^^]

Томас Генри Гексли (или Хаксли) (1825–1895) – английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Чарльза Дарвина (за свои яркие полемические выступления он получил прозвище «Бульдог Дарвина»).

[^^^]

Эрнст Генрих Филипп Август Геккель (1834–1919) – немецкий естествоиспытатель и философ. Автор термина «питекантроп», а также ему часто приписывается авторство термина «экология».

[^^^]

Сэр Генри Джеймс Самнер Мэн (Мэйн)
(1822–1888) – английский юрист, антрополог,
историк и социолог права.

[^^^]

Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог и общественный деятель, один из руководителей русского масонства.

[^^^]

Георг Людвиг фон Маурер (1790–1872) – немецкий государственный деятель, правовед, историк. Премьер-министр и глава министерств иностранных дел и юстиции Баварии (1847).

[^^^]

Николай Иванович Костомаров (1817–1885) – российский историк, публицист, писатель, педагог и общественный деятель. Автор многотомного издания «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».

[^^^]

Иван Дмитриевич Беляев (1810–1873) – профессор Московского университета по кафедре русского законодательства, историк.

[^^^]

Фридрих Леопольд Август Вейсман (1834–1914) – немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения. Стоя на позициях материализма, он отстаивал механистическое понимание жизненных явлений.

[^^^]

Майское восстание в Дрездене – восстание 3–9 мая 1849 года в Дрездене (столице Саксонии), ставшее одним из завершающих событий как Мартовской революции в Саксонии, так и революции 1848–1849 гг. в германских государствах в целом. Верховным руководителем восстания был Стефан Борн, в число его лидеров входил русский революционер М. А. Бакунин. К 9 мая восстание было подавлено саксонской армией при поддержке прусских сил, возглавляемых генералом Фридрихом фон Вальдерзее. Потери восставших составили, по разным данным, порядка от 190 до 250 человек убитыми и от 400 до 500 ранеными. Впоследствии многие выжившие участники восстания были приговорены судами к смертной казни или пожизненному заключению.

[^^^]

Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма. Главный труд его жизни – книга «Системы синтетической философии», которая должна была включать 10 томов.

[^^^]

Журнал «The Nineteenth Century» (Девятнадцатое столетие) начал выходить в Лондоне в марте 1877 года – как периодическое ежемесячное обозрение проблем науки, техники, культуры и политики. Он был рассчитан на высокообразованного читателя. Под таким названием журнал выходил до 1900 года. С 1901 по 1950 гг. издавался под названием «The N.C. and after» (Девятнадцатое столетие и после). Всего вышло 1049 номеров, которые сброшюрованы в 172 тома. Во времена сотрудничества Кропоткина издателем журнала был Джеймс Ноулз (James Knouls).

[^^^]

Смотри мою работу «Взаимопомощь как фактор эволюции». Относительно того, как Дарвин пришел к перемене своих взглядов на этот вопрос и стал все более и более допускать прямое воздействие среды на развитие новых видов, смотри мои статьи о естественном подборе и прямом воздействии в журнале «Nineteenth Century», июль, ноябрь и декабрь 1910 г. и март 1912 г. (*Прим. П. А. Кропоткина*)

[^^^]

Карл Федорович Кесслер (1815–1881) – русский зоолог, профессор и декан физико-математического факультета киевского Императорского университета Святого Владимира. Основатель Петербургского общества естествоиспытателей.

[^^^]

Жан-Мари-Антуан де Ланессан (1843–1919) – французский натуралист (естествоиспытатель), доктор медицинских наук и политик.

[^^^]

Людвиг Бюхнер (1824–1899) – немецкий врач, естествоиспытатель и философ, автор труда «Любовь и любовные отношения животного мира» (1881) и многих других.

[^^^]

Альфред Теннисон (1809–1892) – английский поэт, любимый поэт королевы Виктории, которая дала ему титул барона, сделавший его в 1884 году пэром Соединенного королевства.

[^^^]

Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ-материалист, один из основателей современной политической философии, теории общественного договора и теории государственного суверенитета.

[^^^]

Гегель считал, что мышление и бытие тождественны, а потому все в мире развивается по единым законам. В самой общей форме этот закон развития выглядит как триада «тезис-антитезис-синтезис». Эта триада означает, что любое явление в мире обязательно порождает свое противоречие. Если есть черное, то есть и белое. Если есть мужчина, то есть и женщина. Противоречия, естественно, вступают в отношения взаимодействия. Рано или поздно это взаимодействие порождает синтезис (от греч. *synthesis* – сближение, соединение), то есть некое новое явление, которое включило в себя черты и тезиса, и антитезиса. Синтезис сам становится новым тезисом и порождает новое противоречие и так до бесконечности.

[^^^]

Уильям Годвин считал, что общество делится на два класса – богатых и бедных. Последние составляют 98 % населения. Бедные создают весь доход, но сами они не получают почти ничего, и почти весь продукт их труда достается ничтожному меньшинству, которое в силу этого и является богатым. Причину социального неравенства и нищеты он видел в существовании частной собственности, которую предлагал уничтожить, – вместе с государством, покровительствующим богатым.

[^^^]

Луи-Жан-Жозеф Блан (1811–1882) – французский социалист, историк, журналист и политик, деятель революции 1848 года.

[^^^]

Это мнение было распространено даже среди французских республиканцев, во время Великой французской революции. Штаты Голландии – это неверный термин (не штаты, а провинции и не Голландии, а Нидерландов).

[^^^]

Лао-цзы – древнекитайский философ VI–V веков до н. э. В рамках современной науки историчность Лао-цзы подвергается сомнению, тем не менее в научной литературе он все равно определяется как основоположник даосизма. В основе даосизма лежит учение о «дао» – пути достижения гармонии. Дао – это начало всего, и основным его правилом является следование своей судьбе («поток жизни») без сопротивления, а иногда и просто плывя по течению. Главным постулатом даосизма является принцип равновесия и взаимосвязи мужского начала «ян» и женского начала «инь».

[^^^]

Аристипп – древнегреческий философ из Кирены (Северная Африка), ученик и друг Сократа.

[^^^]

Зенон Китийский – древнегреческий философ из Афин, основоположник стоической школы.

[^^^]

Марк Иероним (Марко Джироламо) Вида (1490–1566) – итальянский гуманист, поэт, епископ Альбы (с 1532 года).

[^^^]

Гуситы – чешское реформаторское религиозное движение, названное по имени Яна Гуса и принявшее в 1419 году революционные формы.

[^^^]

Франсуа Рабле (1494–1553) – французский писатель, редактор, врач. Один из величайших французских сатириков, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

[^^^]

Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон (1651–1715) – французский священнослужитель, писатель, педагог, богослов. Автор знаменитого романа «Приключения Телемака» (1695).

[^^^]

Пьер-Жозеф Прудон писал, что анархия подразумевает отсутствие суверена, господина, давая им обозначение в лице правительства. Анархия у Прудона была мерой свободы, признающей лишь власть закона или «необходимости».

[^^^]

Чеки труда – по-английски labour cheques, по-французски bans du travail – это чеки, или ассигнации, обозначающие один, два, три, десять и т. д. часов труда (с их подразделением на минуты), которые выдавались бы рабочему в уплату за его труд. Банк мог бы принимать их совершенно так же, как теперь принимаются чеки или денежные знаки (звонкая монета или ассигнации). (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Уильям Томпсон (1775–1833) – ирландский мыслитель, экономист, социолог и социальный реформатор. Его принято считать «первым ирландским социалистом» и предшественником Маркса.

[^^^]

Герберт Сомертон Фоксвелл (1849–1936) – английский экономист.

[^^^]

Стоимость человеческого труда является мериллом оценки стоимости товаров, как писал английский философ и социалист Роберт Оуэн. Его идеи подхватил американец Джошуа Уоррен. В 1826 году в городе Цинциннати он открыл магазин, в котором продавал товары за купоны, на которых указывалось время. Покупатель, владеющий каким-то ремеслом, предлагал в обмен на товары определенное количество времени, которое он был согласен потратить, оказывая свои услуги. Так возникла система обмена времени не на деньги, а на труд. Причем обмен происходил по себестоимости, без наценки, что привело к огромной популярности предприятия Уоррена.

[^^^]

Макс Штирнер (1806–1856) – немецкий философ, близкий к левым гегельянцам. Считается основателем философии индивидуалистического анархизма и предшественником нигилизма, экзистенциализма и постмодернизма. Он проповедовал право свободно распоряжаться собой, которое присуще любому человеку от рождения, рекомендовал образование «союзов эгоистов».

[^^^]

Джон Генри Маккей (1864–1933) – немецкий писатель шотландского происхождения, анархо-индивидуалист. Идеал политического устройства по Маккею – это безгосударственное общество мелких частных собственников, строящих отношения на основе свободного договора и свободных союзов. В основе экономических отношений анархического общества, считал Маккей, будут лежать принципы рыночной экономики («свободный и ничем не стесняемый обмен ценностей внутри и вовне»), предполагающий свободную, неограниченную конкуренцию и право частной собственности, основанное на захвате и личном труде индивидуума.

[^^^]

Виктор-Гийом Баш (1863–1944) – французский политик и профессор философии в Сорбонне, выходец из Венгрии.

[^^^]

Тред-юнион (от англ. trade – «профессия», «ремесло» и union – «объединение», «союз») – название профессиональных союзов в Великобритании и странах Британской империи.

[^^^]

Мютюэлизм (от фр. *mutuel* – «взаимный», «совместный») – это анархическое направление экономической теории и социальной и политической философии, восходящее к первой половине XIX века, в особенности к работам Пьера-Жозефа Прудона. Главным основанием свободы мютюэлисты считали право рабочего или группы рабочих распоряжаться землей и орудиями труда, необходимыми в процессе производства. Последователи Прудона не пользовались термином «анархизм», а предпочитали именовать себя мютюэлистами по названию тайной рабочей организации, действующей в Лионе в 1830-х гг., к которой принадлежал Прудон. В 1864 году группы мютюэлистов, соединившись с английскими трейд-юнионистами и европейскими социалистами, создали в Лондоне «Международное товарищество рабочих (Первый Интернационал)». Мютюэлисты первыми выступили в качестве оппозиции Карлу Марксу и его сторонникам, отстаивающим тактику политической борьбы, захвата государственной власти и

установления диктатуры пролетариата.

[^^^]

Арман Барбес (1809–1870) – французский левый политик и революционер.

[^^^]

Луи-Огюст Бланки (1805–1881) – участник политических обществ и заговоров. Провел в общей сложности почти 37 лет в тюремных заключениях. Идеолог левого революционного течения, названного в его честь бланкизмом (бланкизм – это левое революционное течение, отдающее приоритет заговорщической деятельности и террору против властей).

[^^^]

Виктор Консидеран (1808–1893) – французский философ и экономист, социалист-утопист, последователь Шарля Фурье, глава школы фурьеристов: выступал с идеей «примирения классов» путем создания ассоциации производителей. Стоял за привлечение рабочих к участию в доходах капиталистических предприятий.

[^^^]

Вильгельм Вейтлинг (1808–1871) – немецкий философ-утопист, один из теоретиков немецкого социализма (так называемого уравнительного коммунизма). Карл Маркс считал Вейтлинга одним из своих учителей в вопросах рабочего движения.

[^^^]

Интересно напомнить, что подобные же мысли, очень распространенные в то время, о государственном землепашестве при помощи «земледельческих армий» были восхваляемы в брошюре «Уничтожение пролетариата» Наполеоном III, который был тогда претендентом на пост президента республики. Ставши императором, он не прочь был применить те же мысли к орошению и облесению некоторых частей Франции, именно Солоньи. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Шарль-Константен Пеккёр (1801–1887) – французский экономист. Впервые употребил слово «коллективизм» в 40-х гг. и является первым представителем коллективизма. В своих главных трудах Пеккёр излагал основы наиболее справедливого, по его мнению, и наиболее выгодного для национального богатства общественного строя. Он требовал социализации (слово, им тоже впервые изобретенное) или обобществления лесов, путей сообщения, минеральных богатств и, в конце концов, всех производительных сил природы, орудий труда и кредита. Капитал, по его мнению, также должен сделаться общественным. Почти одновременно с Пеккёром, но независимо от него, к аналогичным выводам пришел Франсуа Видаль (1812–1872), который изложил свои идеи в книге «Жить работая!» (*Vivre en travaillant!*). Но Видаль не рассчитывал на чувство долга (в этом его существенное отличие от Пеккёра) и ожидал постепенного усиления государственной власти и, в конце концов, законодательного принуждения граждан

к труду.

[^^^]

Небольшое количество экземпляров Манифеста Консидерана (на который обратил внимание Черкезов как на источник «Коммунистического Манифеста») и книг Resqueur'a и Vidal'я одному из наших товарищей удалось разыскать на складе – в Москве! Замечательную книгу Buret о положении рабочего класса, очень широко использованную Энгельсом, как это тоже указал Черкезов, мне удалось достать также из Москвы; я купил в Париже экземпляр, некогда принадлежавший профессору Пешкову! (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

О том, насколько Энгельс и Маркс заимствовали у Пеккера в их «Коммунистическом Манифесте» в его построительной части, указал бельгийский профессор Андлер. См.: Шарль Андлер. Введение и Комментарий к Коммунистическому Манифесту, перев. с франц. под редакцией А. В. Киссина, Москва, 1906, изд. Петровской библиотеки в Москве. Там же, с. 43, указано на заимствования Коммунистического Манифеста у Бабефа. Немецкий коммунизм – прямой слепок с коммунизма Бабефа.
(Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Для общего ознакомления с взглядами Прудона лучше всего брошюра Джеймса Гильома, изданная бакунистами в Женеве в 1874 г., – «Анархия по Прудону». (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Этьен Кабе (1788–1856) – французский философ, публицист, глава коммунистической школы. Свое коммунистическое учение Кабе изложил в виде путевых записок английского лорда, посетившего фантастическую страну Икарию.

[^^^]

Из работы нашего друга Черкезова известно, что экономические положения, изложенные Марксом и Энгельсом в «Коммунистическом Манифесте», были ими взяты из Манифеста Консидерана, который носил название «Принципы социализма. Манифест демократии XIX в.» и был издан в 1848 г. Действительно, достаточно прочесть оба манифеста, чтобы убедиться, что не только экономические взгляды «Коммунистического Манифеста», но даже и форма были заимствованы Марксом и Энгельсом у Консидерана. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

В это время социал-демократы еще не выставили системы государственного коллективизма – многие среди них были еще коммунисты-государственники. И, по-видимому, был совершенно забыт смысл понятий «государственный капитализм» и «распределение соответственно часам труда»; смысл, который был придан слову «коллективизм» перед революцией 1848 г. и во время ее, сначала С. Пеккером в 1839 г. («Социальная экономия: интересы торговли, промышленности и земледелия, и цивилизации вообще под влиянием пара») и в особенности в 1842 г. («Новая теория социальной и политической экономии: этюды по организации обществ») и затем Ф. Видалем, секретарем рабочей Люксембургской Комиссии в его замечательной работе «Жить работая! Проекты, перспективы и средства социальных реформ», появившейся в Париже в конце июня 1848 г. (*Прим. П. А. Кропоткина*)

На самом деле Парижская коммуна (революционное правительство Парижа во время событий 1871 года) существовала 72 дня (с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской коммуны стояли объединенные в коалицию социалисты, неоякобинцы и анархисты.

[^^^]

Слово «коммуна» (commune) переводится с французского как «община». Это единица административно-территориального деления во Франции. Например, община жителей какого-то населенного пункта. В других странах французской коммуне соответствуют муниципалитеты, приходы и т. п.

[^^^]

Термин «анархия» имеет греческую основу и означает «безначалие», «безвластие», «неподвластность», «независимость». Это состояние общества без власти или руководящего органа. Это понятие может также относиться к обществу или группе людей, которые полностью отвергают любую иерархию.

[^^^]

Что вышло бы, например, из Положения 19 февраля (уничтожившего крепостное право), если бы на месте не находились люди, имевшие смелость при всякой грубости и насилии помещика давать ему подобающий ответ и способные заставить мировых посредников обуздывать господ крепостников? *(Прим. П. А. Кропоткина)*

[^^^]

Кант отталкивался от субъекта и его индивидуальной максимы, которая при достаточно высоком нравственном развитии субъекта может стать законом. И именно этот тезис провозглашали анархисты-индивидуалисты Стивен Пирл Эндрьюс (1812–1886), В. Грин, Лисандр Спунер (1808–1887), Бенджамин (Веньямин) Тэккер (1854–1900) и другие – развитие индивидуальной нравственности и ответственности перед обществом.

[^^^]

Я привожу здесь не выдуманное возражение, но заимствую его из недавней переписки с одним немецким доктором. Кант говорил, что нравственный закон сводится к следующей формуле: «Относись всегда к другим таким образом, чтобы правило твоего поведения могло стать всеобщим законом». Это, говорил он, и есть «категорический императив» – т. е. закон, врожденный у человека. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Жан-Мари Гюйо (1854–1888) – французский философ-спиритуалист и поэт – объяснял происхождение идеи нравственного долга тем, что сознание долга есть импульс избытка силы, которая требует себе деятельности и, встречаясь на пути с препятствиями, вступает с ними в борьбу.

[^^^]

Меновая ценность (стоимость) – это количественное соотношение, выражающее стоимость одного товара через стоимость другого. Например, на рынке можно приравнять друг к другу (цифры условные) 10 м хлопчатобумажной ткани и 25 кг мяса.

[^^^]

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский философ, историк, политик, основоположник эмпиризма и английского материализма.

[^^^]

Следующие выдержки из полученного мною письма от одного видного биолога, профессора в Бельгии, помогут мне объяснить лучше то, что было только что сказано: «По мере того, как я читаю дальше вашу работу “Поля, фабрики и мастерские”, – пишет мне профессор, – тем больше я проникаюсь убеждением, что изучение экономических и общественных вопросов отныне возможно только для тех, кто изучал естественные науки и кто проникся духом этих наук. Те, кто получил так называемое классическое образование, не способны более понимать современное движение идей и также не способны изучать множество других, специальных вопросов».

(Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Фридрих Кристоф Шлоссер (1776–1861) – немецкий историк, автор трудов «Всемирная история» и «История 18-го и 19-го столетий до падения Французской империи».

[^^^]

«Ничего живучего», следовало бы сказать. Но я оставляю эти страницы так, как они были написаны в 1912 году, восемь лет тому назад.
(Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

В большой стачке, вспыхнувшей в Сибири на великом сибирском пути сейчас же после японской войны, мы имеем поразительный пример того, что может дать коллективный ум масс, подтолкнутый событиями, если он работает над теми самыми вещами, которые нужно перестраивать. Известно, что весь личный состав этой огромной линии от Уральского хребта до Харбина, на протяжении свыше 6500 верст, забастовал в 1905 г. Стачечники заявили об этом главнокомандующему армией, старику Линевичу, прибавив, что они сделают все, чтобы быстро переправить войска на родину, если генерал будет уговариваться каждый день со стачечным комитетом о числе людей, лошадей, багажа, отправляемых в путь. Генерал Линевич принял это. И результатом этого было то, что в течение десяти недель, пока стачка продолжалась, возвращение войск на родину происходило с большим порядком, с меньшим количеством несчастных случаев и с гораздо большей быстротой, чем когда-либо раньше. Это было

настоящее народное движение, рабочие и солдаты, отбросив всякую дисциплину, работали вместе над этой громадной переправкой сотен тысяч людей. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Джеймс Гильом (также Гийом) (1844–1916) – британец, ведущий член анархистского крыла Первого Интернационала. Сыграл активную роль в основании Анархистского интернационала. Редактор ряда анархистских газет. Считается, что именно Гильом сыграл ключевую роль в обращении Кропоткина к анархизму.

[^^^]

Луи-Эжен Варлен (1839–1871) – французский революционер, деятель Парижской коммуны и Международного товарищества рабочих. Был сторонником М. А. Бакунина. Расстрелян 28 мая 1871 года.

[^^^]

Архия (от греч. архе – власть, главенство) – это часть сложных слов, обозначающих форму власти, правления (например, монархия).

[^^^]

Задельная плата – не годовая, а поденная, или поштучная, по мере выделки, успеха.

[^^^]

Поссибилисты – название одной из социалистических партий во Франции, основанной в 1882 году. Эта партия поставила принципом своей тактики добиваться «возможного» (*la politique des possibilités*), отсюда и ее название.

[^^^]

Поль-Луи-Мари Брусе (1844–1912) – французский социалист, один из идеологов социал-реформизма, врач по образованию.

[^^^]

Кроме того, они купили себе земли на берегу Тихого океана, провинции Канады, Британской Колумбии, где они организовали свою фруктовую колонию, чего страшно не хватало этим вегетарианцам в провинции Альберте, где ни яблони, ни груши, ни вишни не дают плодов, так как их цветы убиваются майскими морозами. *(Прим. П. А. Кропоткина)*

[^^^]

С тех пор как эти строки были написаны, я ездил в Америку. Там в Кембридже (около Бостона) устроено при университете кроме громадной, роскошной столовой для богатых студентов еще громадное, не менее художественное здание – очень дешевая столовая для более бедных студентов. А так как у многих студентов и тут нечем платить, то их охотно берут, чтобы прислуживать за столами в часы обеда, и студенты в Америке, как известно, очень охотно это делают. Они платят, таким образом, за свой стол не деньгами, а трудом по известному расчету. Нет никакой причины, почему при этих столовых не завести бы также свою ферму: Бостон оказывается большим производителем земледельческих и садовых продуктов – главный по денежному обороту садовый и огородный центр в штате Массачусетс. Впрочем, и об этом уже шла речь, и идея принята сочувственно. Школьные фермы, наверно, скоро привьются, теперь в Америке заведут ферму и при университете. *(Прим. П. А. Кропоткина)*

[^^^]

Николай Васильевич Чайковский (1850–1926) – русский революционер, «дедушка русской революции». С 1874 года, в эмиграции в США, увлекся идеями богочеловечества. Основал земледельческую коммуну «богочеловеков» в штате Канзас. Кропоткин стал анархистом с начала 70-х гг., и он был членом народнического кружка «чайковцев», получившего название по имени Н. В. Чайковского. Осенью 1873 года он составил для него программную «Записку», в которой идеалом будущего строя провозглашался «союз вольных коммун» без центральной государственной власти.

[^^^]

Меннонитство – одна из протестантских деноминаций, называемая по имени основателя, Менно Симонса (1496–1561), голландца по происхождению. Меннонитство возникло в 1530-е годы в ходе реформационного движения в Нидерландах. В основе вероучения меннонитов лежат идеи неприменения силы и непротивленчества: меннониты по своим религиозным убеждениям отказываются брать в руки оружие.

[^^^]

Джеймс Милль (1773–1836) – британский философ, историк и экономист, представитель классической школы политэкономии.

[^^^]

Когда Луи Блан противопоставил государство-хозяина государству-слуге, то Прудон ответил ему следующими словами, которые кажутся написанными вчера: «Луи Блан говорит, что государство было до сих пор хозяином и тираном граждан, но что отныне оно должно быть их слугою. Отношения переменялись: в этом заключается вся революция. Как будто защитники монархии во все времена не прикрывались такими же утверждениями, говоря, что королевская власть была слугою народа; что короли созданы для народов, а не народы для королей, и тому подобными рассказами, которые теперь народ отлично понял. Теперь мы знаем, что значит эта служба государства, эта преданность правительства свободе. Бонапарт разве не говорил, что он слуга революции? Какие услуги он оказал ей!.. Так и государство-слуга. Таков ответ Луи Блана на мой первый вопрос. Что же касается вопроса о том, как государство может стать действительно и на деле слугой, и как, будучи слугой, оно может продолжать быть еще госу-

дарством, Луи Блан не объясняет, он благоразумно хранит на этот счет молчание» («Разные статьи. Газетные статьи». Том III, с. 43. Смотри также дальше, с. 53, то место, где Прудон говорил: «То, что называют в политике властью, аналогично и равноценно тому, что в политической экономии называют собственностью; эти две идеи равны друг другу и тождественны; нападать на одну значит нападать на другую; одна непонятна без другой; если вы уничтожите одну, то нужно уничтожить и другую и обратно»). (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Илья Фомич Кочкарев – это один из ярких персонажей пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба». Он друг главного героя пьесы господина Подколесина. Он отличается тем, что не следит за своей речью и часто обзывает окружающих.

[^^^]

Чезаре Ломброзо (1835–1909) – итальянский психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике.

[^^^]

Более полное изложение этих взглядов можно найти в моей книге «Взаимная помощь».
(Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Инуиты – этническая группа народов Северной Америки, обитающая приблизительно на 1/3 северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Инуиты входят в более многочисленную группу коренных народов севера «эскимосы».

[^^^]

Под этим названием обыкновенно понимают уцелевшие памятники древнего права лангобардов, баварцев и т. д., к которым принадлежит и наша «Русская правда Ярослава». Ради краткости я пропускаю «неделеную семью», чрезвычайно распространенную бытовую форму, встречающуюся в Индии, составляющую основу жизни в Китае, а у нас встречающуюся среди «семейских раскольников» в Забайкалье. Она стоит между родом и сельской общиной. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Дени-Жан-Ашиль Люшер (1846–1908) – французский историк-медиевист и филолог.

[^^^]

Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт, прозаик, художник, издатель. Основатель движения «Искусства и ремесла».

[^^^]

Джон Ричард Грин (1837–1883) – британский историк, автор популярной «Краткой истории английского народа» (1874).

[^^^]

Василий Иванович Сергеевич (1832–1910) – русский историк права, профессор и ректор Санкт-Петербургского университета.

[^^^]

Новгородская земля составляла собой союз городов, подчиненных Великому Новгороду. А общинный быт у новгородцев был устроен следующим образом: каждая улица была самостоятельной и составляла общину, т. е. союз нескольких домов. У каждой улицы было свое уличанское вече, на котором выбирались уличанские старосты. Обидеть уличанина значило обидеть целую улицу.

[^^^]

В России мы знаем сотни таких договоров, которые заключались ежегодно между городами (их вечем) и князьями. (Прим. П. А. Кроткина)

[^^^]

Торольд Роджерс (1823–1890) – английский экономист, историк и либеральный политик.

[^^^]

Не Роджерс, а Роджер Бэкон (1214–1292) – английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец, профессор богословия в Оксфорде.

[^^^]

Генрих Лео (1799–1878) – немецкий историк и педагог.

[^^^]

Карло Джузеппе Ботта (1766–1837) – итальянский историк, поэт, писатель, музыкальный критик и политический деятель.

[^^^]

Джино Каппони (1792–1876) – маркиз, итальянский политический деятель, историк и литератор.

[^^^]

См. Костомарова: «Начало единой державы на Руси», особенно статью в «Вестнике Европы». Для издания в его «Материалах» Костомаров ослабил эту статью – вероятно, по требованию цензуры. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Тарпейская скала – отвесная скала в Древнем Риме, с южной стороны Капитолийского холма, с которой сбрасывали осужденных на смерть преступников. Согласно легенде, название скалы происходило от имени Луция Тарпея, которого сбросили оттуда за выступление против царя Ромула.

[^^^]

См.: Костомаров Н. И. Русские рационалисты двенадцатого века. (*Прим. П. А. Кропоткина*)

[^^^]

Жакерия – антифеодалное восстание французских крестьян в 1358 году, вызванное положением, в котором находилась Франция после начала Столетней войны. Это было крупнейшее в истории Франции крестьянское восстание. Непосредственным поводом к нему были разорения, которые произвел наваррский король Карл Жестокий в окрестностях Парижа. Восставшие крестьяне обратили сотни замков в развалины, избивали дворян и насиловали их жен и дочерей.

[^^^]

Имеется в виду Уолтер (Уот) Тайлер (1341–1381) – предводитель крупнейшего в средневековой Англии крестьянского восстания, которое произошло в 1381 году.

[^^^]

Мартин Лютер (1483–1546) – христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма – лютеранство.

[^^^]

Ганс Денк (1495–1527) – немецкий мистик-анабаптист.

[^^^]

Даллоз – это издательство, специализирующееся на юридических вопросах и являющееся основным юридическим издательством во Франции. Оно было основано Дезире Даллозом и его братом Арманом в 1845 году.

[^^^]

Альбер Бабо (1835–1914) – французский историк.

[^^^]

В каждой общине были семьи, происходившие от первых ее основателей и считавшиеся исконными общинниками. А рядом с ними были такие, которые только позже приселились к общине и назывались «присельщиками». Последние считались не подданными старшин, а вольноживущими, имеющими право в любое время оставить «хозяев» (если нет долгов).

[^^^]

157

Это соответствует 21 мая 1797 года.

[^^^]

Это произошло теперь и в России, где правительство разрешило захват общинных земель по закону 1906 г. и поощряло этот захват через своих чиновников. (*Прим. П. А. Кропоткина*)

[^^^]

Пьер-Сильвен Марешаль (1750–1803) – французский философ, писатель и политический деятель.

[^^^]

Фредерик Артур Сибом (1833–1912) – британский историк экономики.

[^^^]

Нюма Дени Фюстель де Куланж (1830–1889) – французский историк, автор классического труда «Древний город».

[^^^]

Имеется в виду Джеймс Уатт (1736–1819) – шотландский инженер, изобретатель и механик, который ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Его именем названа единица мощности – Ватт.

[^^^]

Даже и теперь, не далее как в 1903 г., при консервативном министерстве, право стачек снова было подорвано. Палата лордов, действуя как высшая судебная инстанция, постановила следующее: в случае стачки, если будет доказано, что рабочий союз, отговаривая – просто отговаривал через своих подчасков, без устрашения силою, – рабочих, собиравшихся заступить места забастовавших рабочих, то весь рабочий союз отвечает всею своею кассой за убытки, понесенные хозяевами. В известной Taff-Vale забастовке рабочий союз должен был уплатить хозяевам свыше 50 000 фунтов, т. е. более полумиллиона рублей. Второй такой же случай был поднят недавно, и рабочий союз кончил дело, признав себя должным 300 000 руб. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

В Англии, например, следы эти сохранялись до 1848 г. в виде принудительного труда детей; их отбирали по закону у бедных родителей, если последние были в Работном доме, и их перевозили на север работать на хлопчатобумажных фабриках. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696) – французская писательница, автор «Писем» – самого знаменитого в истории французской литературы произведения эпистолярного жанра.

[^^^]

Имеется в виду Эжен Сю (1804–1857) – французский писатель, основоположник уголовно-сенсационного жанра массовой литературы.

[^^^]

Имеется в виду Жорж Санд (настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, в замужестве – баронесса Дюдеван) (1804–1876) – французская писательница.

[^^^]

Никколо Макиавелли (1469–1527) – итальянский мыслитель, политический деятель, философ и писатель. Ключевым произведением Макиавелли считается «Государь», и он считается сторонником «сильной руки», однако его политические взгляды куда лучше отражают «История Флоренции» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», характеризующие Макиавелли как приверженца республиканских идей.

[^^^]

Оценивают различно суммы, получаемые Англией на те капиталы, которые она дала в долг другим народам. Известно только, что сумма свыше 100 млн фунтов стерлингов, т. е. 1000 млн золотых рублей, представляет доход англичан на деньги, которые они ссудили различным государствам и железнодорожным компаниям. Если к этому прибавить проценты, получаемые каждый год на те деньги, которые англичане ссудили иностранным городам, затем различным компаниям морского и речного судоходства (везде, особенно в Америке), на маяки, подводные кабели, телеграфы, банки в Азии, Африке, Америке и Австралии (эти доходы огромны), и, наконец, те суммы, которые были помещены в тысячи производств всех стран мира, то английские статистики приходят к минимальной цифре втрое большей только что названной. Между тем чистый доход, реализованный Англией на всем ее вывозе (менее полумиллиарда рублей), так мал по сравнению с доходом, получаемым от обрезания ножи-

цами купонов на акциях, что можно сказать, что главная промышленность Англии состоит в торговле капиталами. Она сделалась тем, чем была Голландия в начале XVII в., – именно главным ростовщиком мира. За ней следует Франция, потом Бельгия (пропорционально количеству ее населения). Действительно, согласно оценке Альфреда Неймарка [Альфред Неймарк (1848–1921) – французский экономист и статистик. – прим. С. Нечаева], Франция имеет от 26 до 30 млрд иностранных ценностей, что дает ежегодный доход от одного миллиарда до миллиарда с половиной, не говоря о ценностях, котируемых официально на парижской Бирже. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Генри Джордж (1839–1897) – американский экономист, публицист и политик. Его работа «Прогресс и бедность: исследование причины промышленных депрессий и возрастания потребностей с увеличением богатства» была впервые опубликована в 1879 году.

[^^^]

Франсуа-Пьер-Гийом Гизо (1787–1874) – французский историк, политический и государственный деятель, идеолог либерального консерватизма. Выражение «Обогащайтесь!» (Enrichissez-vous!) принадлежит ему. Будучи министром иностранных дел Франции, он сказал это в марте 1843 года, обращаясь в своем парламентском выступлении к французскому народу. Лозунг этот быстро обрел популярность и доньше считается символом правления короля Луи-Филиппа и девизом «laissez-faire» (позвольте делать) капитализма. Последний обозначает принцип невмешательства, экономическую доктрину, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным.

[^^^]

Генри Уильям Макрости (1865–1941) – английский экономист, ставший в 1940 году президентом Королевского статистического общества.

[^^^]

В Англию ввозят даже пищу для скота, хотя его разводят не очень много, а также мясо, сено, различные сорта муки, отруби. Что касается мяса, то английские крестьяне начали есть говядину и баранину лишь после того, как в 60-х годах начали ввозить мясо из Америки, а позднее из Австралии и Новой Зеландии. До этого мясо было недоступной роскошью для крестьян. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Герман Леви (1881–1949) – немецкий экономист, профессор университета в Гейдельберге.

[^^^]

Эти синдикаты, которые, например, включают в себя, сверх английских фабрикантов, более всего фабрикантов ниток, стекла, цемента и т. д. в протекционистских странах, мешают тому, чтобы иностранная конкуренция понижала цены в Англии. Некогда германские или русские фабриканты тех же товаров, продав известное количество этих товаров у себя дома по высокой цене (благодаря таможенному тарифу), могли посылать часто их в Англию, когда английские фабриканты этих товаров стоваривались между собой и образовывали синдикат для того, чтобы поднять на них цену. Теперь же, войдя в международный синдикат хозяев, большие германские и русские фабриканты обязываются больше не делать того и не мешать сбыту по приподнятым ценам. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Говоря об этом современном росте международных картелей, я позволю себе резюмировать здесь то, что Андре Моризэ рассказал нам в газете «Guerre Sociale» от 6 февраля 1912 г. о международном соглашении, существующем относительно поставки необходимого снаряжения для бронировки. Это соглашение включало в себя вначале десять участников – Круппа, Шнейдера, Максима, Карнеджи и т. д., которые были разделены на четыре группы: английскую, германскую, французскую и американскую. Эти десять участников условились между собой относительно дележа заказов, делаемых правительствами так, чтобы не составлять друг другу конкуренции. Тот из участников, которому предлагали какой-нибудь заказ, представлял известную, условленную уже цену, а другие участники картеля представляли цены, немного более высокие. Кроме того, был устроен pool, то есть особый фонд, составленный из взносов определенного количества процентов с каждого заказа и служащий для уравнивания прибылей

с различных заказов. Начиная с 1899 г. три новых больших компании были приняты в число участников картели, чтобы избежать конкуренции с их стороны. Понятна та огромная сила, которой обладает этот синдикат. Он не только дает средство для ограбления казны в государствах и для накопления колоссальных богатств, но он заинтересован в том, чтобы толкать все государства, большие и маленькие, к усилению вооружений. Вот почему мы видим теперь такую настоящую лихорадку в постройке дреднотов и сверхдреднотов. Банкиры, заинтересованные в этом синдикате, не желают ничего лучшего, как давать необходимые деньги государствам, каковы бы ни были их долги. Итак – «да здравствует государство!». (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Делэзи привел замечательный пример Сент-Обенского синдиката, появившегося еще при Людовике XV и сумевшего с тех пор всегда процветать, беря себе акционеров в высших правительственных сферах. Приобретая себе защитников и акционеров сначала при королевском дворе, потом среди императорской знати Наполеона I, затем среди высшей аристократии времен Реставрации и, наконец, в республиканской буржуазии и изменяя сферу эксплуатации согласно времени, этот синдикат процветает еще, под высоким покровительством легитимистов, бонапартистов и республиканцев, соединившихся для эксплуатации. Форма государства меняется, но так как сущность его остается та же, то монополия и тресты всегда остаются в нем, и эксплуатация бедных в пользу богатых продолжается. *(Прим. П. А. Кропоткина)*

[^^^]

Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – русский публицист, издатель, влиятельный сторонник консервативно-охранительных взглядов. Редактор газеты «Московские ведомости», основоположник русской политической журналистики. В своих изданиях обеспечивал идеологическую поддержку контрреформам Александра III.

[^^^]

Рудольф фон Иеринг (1818–1892) – немецкий правовед.

[^^^]

Если в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах да еще в Швейцарии народ имеет кое-какое влияние на государственные дела, то только потому, что в этих странах во всякой деревушке, во всякой мастерской, а тем более в больших городах есть люди, которые «когтем и зубом» готовы стоять за свои человеческие личные права и не позволят ни себя, ни свои права втоптать в грязь. Когда недавно (в 1886 г.) в Лондоне опять заговорили, что надо бы не пускать манифестацию голодных рабочих в Гайд-парк, то вся печать завопила: «А забыли небось 1878 год (года наверное не помню), когда полицейские преградили толпе дорогу в парк? Что они тогда наделали? Разломали железную решетку и ее пиками полицейских перебили. С нашим народом нельзя шутить. Наша “чернь” весь Лондон способна разнести». И разнесли бы. Могу прибавить, что правительство отлично это знало в 1886 г. Свободу, какая бы она ни была, надо завоевывать, а не ждать ее от «высочайше дарованных» конституций. (Прим. П. А. Кропот-

кина)

[^^^]

Скарятины (в старину Скорятины) – известный русский дворянский род. Представитель этого рода В. Д. Скарятин (1825–1900) был писателем и публицистом, редактором газет «Русский листок» и «Весть».

[^^^]

Возьмите, например, Парижскую коммуну 1871 года. Не ученые, но руководители народа, даже не вожаки Международного Союза рабочих шепнули парижскому народу, что надо провозгласить коммуну; что в независимом городе, объявившем, что он не намерен ждать, пока вся Франция дойдет до идей радикальной, социалистической (или, по крайней мере, равенственной) республики, надо начать водворять такую республику. Эта идея жила в Париже, в народе, с 1793 года; ее развивал в 1848 году Прудон; она гнездилась, полусознанная – получувство и полумысль, – в умах парижских рабочих. И они даже сюрпризом для большинства вожаков провозгласили коммуну. Они объявили, что им нет дела до Франции – государства; что они у себя, в своем любимом Париже, намерены начать нечто новое: выступить на новый смутно-социалистический путь точно так же, как в 1793 году в каждом городе, в каждой деревне Восточной Франции местный Робеспьер и местный Марат выступали на новый, нефео-

дальний путь: выгоняли старых чиновников, вооружались, отнимали общинные земли назад, жгли уставные грамоты и т. д. И, не дожидаясь никого, парижские блузники, рабочие, организовывали военную защиту города, организовывали почту (на диво английским корреспондентам) и начали (только под конец, к несчастью) организовывать общинное кормление. Если бы в эту пору у парижского народа, кроме идей равенства и идей коммуны, было бы также и смутное сознание, что дома должны быть отобраны у теперешних хозяев коммуной, что коммуне, т. е. блузникам, надо организовать кормление всего народа, а также производство всего, что нужно для этого, – тогда коммуна, быть может, и не погибла бы: вместо 35 000 защитников она, вероятно, имела бы втрое больше; и тогда Тьер с Бисмарком, по всей вероятности, не справились бы с нею. Но этих мыслей у рабочих в то время еще не было, а от буржуа, даже от ярых революционеров из среднего сословия, их, конечно, нечего было ждать. Таким образом, Парижская коммуна указала нам одно: социальная революция должна начаться

местно; она может быть сделана только народным почином – не сверху, а снизу. А как ее сделать, хоть бы и в одном городе? С чего начать? Нам выпадает на долю обдумать это. Наш ответ в общих чертах таков: начинать с кормления всех, с устройства всех в порядочном жилье; говоря учено, с распределения. Производство же должно устроиться согласно надобностям распределения. (Прим. П. А. Кропоткина)

[^^^]

Жан-Мари Гюйо умер в возрасте 33 лет от туберкулеза.

[^^^]